



# СОГЛАСИЕ

ЛЕВ ГУМИЛЕВ — ДМИТРИЙ БАЛАШОВ  
В КАКОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ?

---

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ  
НЕИЗВЕСТНЫЙ ДНЕВНИК

---

АНАТОЛИЙ ГЕНАТУЛИН  
ЗАГОН. ПОВЕСТЬ

---

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ  
ПОРТРЕТ БЕЗ СХОДСТВА. СТИХИ

---

НОВОЕ О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

---

---

1' 1990

---

---

Президент Советского фонда милосердия и здоровья  
А.Н.ЯКОВЛЕВ

**СОВЕТ  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА  
“МИЛОСЕРДИЕ”**

*ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ,  
А.М.АДАМОВИЧ, Г.П.АЛФЕРЕНКО,  
В.С.АЛХИМОВ, В.М.БОРИСОВ,  
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ, Ф.М.БУРЛАЦКИЙ,  
Ю.М.БУЦКО, Е.М.БЫЧКОВ, Б.Л.ВАСИЛЬЕВ,  
А.Ю.ГЕРМАН, А.А.ГОЛИК, Г.М.ГУСЕВ,  
А.А.ИЛЬИН, Г.А.КОНОВАЛОВ, Л.П.КРАВЧЕНКО,  
В.Н.КРУПИН, Г.И.МАТЕВОСЯН, А.Н.МЕДВЕДЕВ,  
В.В.МЕНЬШИКОВ, В.В.МИХАЛЬСКИЙ,  
Б.А.МОЖАЕВ, С.А.МУБАРЯКОВ, В.Н.МУДРАК,  
Б.И.ОЛЕЙНИК, О.М.ПОПЦОВ, Г.В.ПРЯХИН,  
А.А.РЖЕШЕВСКИЙ, Ю.М.РОСТ, Ю.С.РЫТХЭУ,  
А.Н.САМАРЦЕВ, Ю.Б.СОЛОМОНОВ, В.Т.СПИВАКОВ,  
Н.К.СТАРШИНОВ, Г.Ф.СУХОРУЧЕНКОВА,  
Н.И.ТРАВКИН, С.Н.ФЕДОРОВ,  
Ю.Д.ЧЕРНИЧЕНКО, Б.А.ЧИЧИБАБИН,  
С.И.ЧУПРИНИН, И.И.ШКЛЯРЕВСКИЙ,  
С.В.ЯМЩИКОВ*



---

---

# СОГЛАСИЕ

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

---

**№1. ДЕКАБРЬ 1990 ГОДА.**

**МОСКВА. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС "МИЛОСЕРДИЕ"**

---

**В НОМЕРЕ:**

---

**ПУБЛИЦИСТИКА**

*Лев Гумилев - Дмитрий Балашов*  
**В КАКОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ?**

**3**

---

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

*Константин Ваншенкин*  
**МАЛЬЧИКИ С ТОЙ ПОДЛОДКИ... Стихи.**

**20**

---

*Анатолий Генатулин*  
**ЗАГОН. Повесть.**

**22**

---

*Татьяна Смертина*  
**ТРАВНИК. Стихи.**

**80**

---

*Джордж Оруэлл*  
**ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ.**

**83**

---

*Борис Слуцкий*  
**ЧТО ОТ НАС ОСТАНЕТСЯ? ДОМА... Стихи.**

**126**

---

*Иван Шмелев*  
**СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ. Эпосея.**

**131**

---

*Георгий Иванов*  
ПОРТРЕТ БЕЗ СХОДСТВА. Стихи.  
**182**

---

*Владимир Крупин*  
КРЕСТ И ПРОПАСТЬ. Рассказ.  
**195**

---

*Валентин Берестов*  
ВЕСЕННИЙ ЗОВ. Стихи.  
**197**

---

## **СЛОВО И ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.**

*Вячеслав В. Иванов*  
ПЕРЕВЕРНУТОЕ НЕБО. Из книги о Пастернаке.  
**199**

---

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

*Евгений Канчуков*  
ПОСТИЖЕНИЕ МЕТОДА ИЛИ, ОПЫТ НОВОЙ АНТИУТОПИИ  
**213**

---

## **У КНИЖНОЙ ПОЛКИ**

*Н. Старцева.* ДУША — ЗАПОВЕДНИК СВОБОДЫ.  
**222**

---

*Н. Выставкина.* "КАК МЕДЛИТЕЛЕН В ПОЛЕ АПРЕЛЬ..."  
**223**

---

Подписано к печати 31.10.90г.  
Формат 70x100 1/16/. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.  
Физ. печ. л. 14. Тираж 50 000 экз. Заказ № 642. Цена 1 руб. + 20 коп.  
Московская типография №4 Госкомпечати СССР,  
129041, Москва, Большая Переяславская ул., 46.

### **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.  
Телефоны: главный редактор — 235-15-36,  
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,  
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Художник М. Б. Патрушева  
Корректоры Кокорина Е. А., Попова Ю. Е.

### Лев Гумилев — Дмитрий Балашов: В КАКОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ?

*Лев Гумилев — основатель новой науки — этнологии, получившей признание во всем мире. Она исследует влияние природных процессов на историю развития человеческих цивилизаций. Журналистка Людмила Антипова записала беседу ученого с писателем Дмитрием Балашовым, автором повестей и романов о Московской Руси. Нынешний всеобщий интерес к истории обусловлен нашим желанием понять день сегодняшней. Как мы шли к нему и что нас ждет в будущем? — об этом и говорят ученый и писатель.*

**Л.Антипова:** Лев Николаевич, из предисловия к вашей книге "Этногенез и биосфера Земли", написанной 15 лет назад и изданной в 1989-м, я с удивлением узнала, что в нашей стране у вас нет последователей и учеников. Дмитрий Михайлович Балашов, однако, считает себя вашим учеником и именно в этом качестве намерен участвовать в настоящем разговоре...

**Л.Гумилев:** И таких людей еще пять или шесть, которые, по крайней мере, мне известны. Что же касается моих последователей — я абсолютно убежден, — их у меня порядка нескольких десятков человек. Имеется у меня аспирант, имеются у меня доктора наук, которые, я уверен, меня понимают и разделяют основные положения моей теории. И имеется академия наук, представитель которой, академик Трухановский, объяснил мне, почему меня там ненавидят.

**Л.А.:**?

**Л.Г.:** Три причины. Причина первая. Вы пишете, сказал он, оригинальные вещи, но это не страшно, все равно мимо нас вы не пройдете, нам же их и принесете. Хуже другое: вы доказываете ваши тезисы так убедительно, что с ними невозможно спорить, и это непереносимо. И, наконец, третье: оказывается, что мы все пишем наукообразным языком, считая, что это и есть наука, а вы свои научные суждения излагаете простым человеческим языком, и вас много читают. Кто же это может вынести?!

**Л.А.:** Ваши читатели. Спросите библиотекарей — ваши книги давно уже пользуются популярностью и спрос на них стремительно растет. И сугубо научное и псевдобожаримое название — не помеха для необученного древнегреческому и латыни нынешнего читателя. "Этногенез и биосфера Земли" в Ленинке парасхват — я сама видела на столах у консультантов листки с крупно написанными шифрами этой книги, — настолько часто ее спрашивают читатели.

**Л.Г.:** Выходит, академик прав!

**Л.А.:** Тем более, что последняя книга Льва Гумилева и названа просто и ясно: "Древняя Русь и Великая Степь". Правда, я не уверена, что она дойдет до

заинтересованного читателя — сужу по смехотворно малым тиражам предыдущих ваших книг (мне уже приходилось писать об этом в "ЛГ"). Вот и ваша монография "Этногенез и биосфера Земли" — практически раритет с момента выхода — 11 тысяч книг... Сколько же экземпляров книги "Древняя Русь и Великая Степь" сошло с типографских машин?

Л.Г.: К сожалению, пятьдесят тысяч. Книгу издавали в темпе, темп был спешный и поэтому забыли поместить указатель. Я составил его и вовремя подал. Но, вместо того, чтобы поместить указатель, сняли фамилию моего редактора Андрея Геннадьевича Шеварина. Он два года работал со мной вот за этим самым столом, задавал мне самые интимные, самые ехидные вопросы, мы с ним подружились. И решили выпить водки, когда книга выйдет. Но она вышла без указателя... и водка осталась невыпитой.

Л.А.: Остается надеяться, что когда-то за этим же столом вы раскроете новое издание "Древней Руси и Великой Степи" с компасом-путеводителем по этим исчезнувшим пространствам истории. Впрочем, уже не исчезнувшим, потому что существует и эта книга, и ваш ученик Дмитрий Михайлович Балашов...

Л.Г.: ...более известный, чем я...

Л.А.: ...воссоздающий в своих книгах историю уже Московской Руси, художественный образ ее на прочной канве надежных научных данных.

На природу вашего творческого союза писателей и историков в одном лице поможет пролить свет небольшая цитата из последнего романа Дмитрия Балашова "Отречение": "И потому — муравьиная ежечасная работа тех, кто творит и сохраняет память народа, кто не дает угаснуть традициям веков, безмерно важна. Без нее умирают народы и в пыль обращаются мощные, некогда гордые громады государств".

Как было в жизни, Дмитрий Михайлович — как свела вас судьба с Львом Николаевичем?

Д.Балашов: Все решил интерес к работам Льва Николаевича Гумилева. Сам я по специальности фольклорист. То есть, изучая, скажем, народную песню, я имею дело со множественностью — вариантами песни, записями ее. Эту множественность, чтобы изучить, надо "разложить спектрально", с учетом времени и места, где появился вариант песни или баллады. Таким образом, возникает необходимость в каком-то инструменте и, в свою очередь, невольно ставится вопрос об общих законах развития культуры. А этих законов нет.

Есть высказывание Маркса в предисловии к "К критике политической экономии", быть может, самое гениальное — у него — о том, что никакой связи между прогрессом экономики и развитием культуры нет и быть не может.

Л.А.: Лев Николаевич, вы придерживаетесь того же мнения?

Л.Г.: Я вполне уважаю Маркса — за это и аналогичные высказывания.

Д.Б.: Так вот, этой связи действительно нет (хотя мы все эти десятилетия упорно пытаемся ее найти, залезая в вульгарный социологизм). Но это и не значит, что историю культуры можно представить просто как цепь фактов. Существует процесс. Значит, должны быть и законы, отражающие его развитие, не так ли?. С чем он связан? Если считать, скажем, искусство фольклора общим выражением народных духовных представлений, то связь напрямую должна быть с каким-то общественно-духовным развитием наций, по терминологии Льва Николаевича — этносов.

Л.А.: То есть, как ученый, вы были готовы к восприятию главных положений учения Льва Гумилева?

Д.Б.: Я сразу увидел в нем великолепную возможность для построения, наконец, истории народной культуры (да и культуры вообще) как процесса осмысленного, со своими законами, связанного с разными стадиями в развитии

этноса. Фольклористу проще простого было принять постулат гумилевской теории — этнос не состояние, а процесс, интуитивно я понял это.

А чтобы понять суть явления, связать и обобщить уйму научного материала и сформулировать теорию этногенеза, что и сделал Лев Николаевич, нужна была гениальность.

Моего же таланта (допустим, я им обладаю) хватило, чтобы убедиться в правильности собственных смутных и полусмутных представлений, которые я бы за всю жизнь не свел воедино, в такую вот теорию, путем гениального обобщения... Точнее, эти представления получили основание.

Вот тогда я и решил встретиться с Львом Николаевичем.

Л.А.: Неблизкий путь для встречи двух людей, живущих в одном городе, ведь вы оба — питерцы...

Д.Б.: У нас в России, между прочим, очень принята этакая масляно-хамская манера: идти знакомиться с гением, а потом в прихожей тихо спрашивать — скажите, а что он написал? Я поступил наоборот. Пошел в библиотеку, выписал все вышедшие из печати труды Льва Николаевича и внимательно их изучил. Потом отправился по Ленинграду искать автора. Прошел по всем учреждениям, где он работал, наслушался всяких околичных и чаще недружелюбных высказываний о нем и его трудах...

Л.А.: От кого же?

Д.Б.: От научных сотрудников, от коллег, так сказать... А потом сам пришел домой к Льву Николаевичу. Пожалуй, это единственный случай, когда я сам шел на встречу, меня просто привело, без всяких там гамлетовских вопросов.

Л.А.: И как вас встретил будущий Учитель?

Д.Б.: Достаточно недоверчиво. Было это... даже не помню, когда именно...

Л.Г.: Семьдесят второй, по-моему, год.

Д.Б.: Наверное, да... Я тогда уже написал "Марфу-Посадницу". И там я очень свирепо разобрался во всех социальных аспектах жизни древнего Новгорода. И поставил точку, — понял, что не это главное, что это нужно просто учитывать и переходить к более общим категориям.

## СТРАСТИ, КЛАССЫ И ИДЕАЛЫ

Так, категория этноса, патриотизма есть категория более высокая, чем категория классовой принадлежности. Последнюю можно сменить, — этническую принадлежность сменить нельзя.

Л.А.: А как насчет тезиса о том, что история есть история постоянной борьбы классов?

Д.Б.: Это выдумка, хотя трения межклассовые существуют всегда и в некоторые эпохи обостряются — когда класс перестает исполнять свое назначение в обществе. Ну, а любой класс, даже самые роскошные рабочие — если им сказать, что они могут на завод не ходить, а зарплату получать будут — сопыются и деградируют в ближайшие годы.

Л.А.: А не обратятся ли они к творчеству, не создадут ли шедевры искусства, литературы?..

Д.Б.: Голубые мечты интеллигентов XIX века! Не к литературе и искусству они обратятся, а к водке и игре в домино. Вот.

Л.А.: Вы заговорили о дворянах, — а они-то обратились к другому...

Д.Б.: Дворяне обратились к тому же самому, и не столько к шампанскому, по расхожему представлению, сколько к той же водке, что интересно. Затем они травили зайцев на крестьянских полях, еще не убранных, ездили в Париж, бегали за крестьянскими девками...

Л.Г.: ...а девки визжали и были очень довольны. Поэтому со временем образовалось большое количество носителей пассионарности среди крестьян и детей крестьян, которые по социальному положению числились просто подлым сословием, но хотели выйти из него и занять ведущее место, потому что законы природы и социальные законы никак не соответствуют одни другим.

Л.А.: Корень слова "пассионарность" латинский и означает "страсть". Лев Николаевич, для читателей, не знакомых с вашей теорией, изложенной в книге "Этногенез и биосфера Земли", позвольте привести выдержку из нее — ведь сам термин введен в научный обиход именно вами.

"...Пассионарность — это биологический признак; а первоначальный толчок, нарушающий энергию покоя, — это появление поколения, включающего некоторое количество пассионарных особей. Они самим фактом своего существования нарушают привычную обстановку, потому что не могут жить повседневными заботами, без увлекующей их цели". (Л.Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989, с. 272.)

Поясните на конкретных исторических примерах вашу мысль, Лев Николаевич.

Л.Г.: Возьмите, пожалуйста, такого человека, как граф Строганов. У него был сын, министр, довольно толковый, но ничем особо не проявившийся, и другой сын, сводный брат министра, фамилия которого по женской линии Воронихин. Посмотрите на Казанский собор — весьма наглядно...

Д.Б.: Я бы добавил несколько минорную ноту. Дело в том, что упадок пассионарности, обозначившийся в XIX веке, коснулся верха так же, как и низа, и значительное число помещиков передавали известным биологическим путем уже не пассионарность, а собственное отсутствие оной тем же крестьянам. То есть, они плодили субпассионариев — особей, пассионарный импульс которых меньше инстинкта самосохранения. В итоге же военное служилое сословие, которое прежде спасало Россию от многочисленных бед, в считанные годы выродилось: с треском проиграло Крымскую войну, которую очень трудно было проиграть. Это не мое частное мнение. Стоит почитать статьи Энгельса о Крымской войне, где он предсказывал неотвратимую победу русского оружия. И по-моему, его нелюбовь к русским сильно подогревалась потом тем, что мы не оправдали тогда его ожиданий...

А потом, буквально через несколько лет, в 1861 году дворянско-помещичье сословие, как не выполняющее своего назначения, было, так сказать, ликвидировано как класс. В ближайшее время они сумели прокутить и спустить те имущества, которые им были оставлены.

Л.А.: Но вот началась эпоха революций, и?..

Д.Б.: Много было разговоров в эту самую эпоху о барях и так далее, но, простите, от реального конца русского барства до семнадцатого года прошло уже, собственно, два поколения. Дворян сменили разночинцы, пришедшие к фактической власти, выходцы, кстати, и из тех же крепостных крестьян. А из того дворянства, что осталось, так сказать "на плаву", — о, это были люди совершенно уже другого плана, это были труженики, свирепо умеющие работать. Очень поучительны мемуары математика и кораблестроителя Крылова, прожившего свыше 90 лет (он умер около 1943 года), для понимания психологии дворян-пассионариев, в частности, подобных Столыпину. Ведь он сознательно шел на то, чтобы разрушить последние остатки, скажем, дворянской спеси: он знал, что как помещик он потеряет на реформе, за которую ратовал. Но, как дворянин, он считал нужным, чтобы рядом с ним жил культурный, богатый, развитый, так сказать, крестьянин. Реформы Столыпина должны были привести к уравнению крестьянства в правах со всеми прочими сословиями. Ведь вот к чему шло развитие истории русской, развитие России, подорванное и не



состоявшееся, к великому сожалению. То есть, мы действительно переходили в какое-то новое состояние...

**Л.А.:** Лев Николаевич, вы полностью согласны со всеми суждениями Дмитрия Михайловича?

**Л.Г.:** Да, конечно, я полностью согласен со всем, что он говорит, хотя он говорит о частностях. Я могу сказать об общем. У всех народов, какие мы знаем, — от шумеров, Ассирии, Египта, Рима и включая современные народы, наблюдается один и тот же процесс: возникает некий толчок... Я говорю "некий" не потому, что я не знаю его природы. Но этот толчок чисто биологический, мутация, которая создает некоторое количество людей, способных отдавать свою жизнь ради общего дела, — пассионариев.

Это первая фаза, это фаза подъема, когда количество таких людей увеличивается. Тогда создается общественный императив, гласящий: будь тем, кем ты должен быть! Если ты оказался волею судьбы крестьянином — паши землю. Если ты оказался рыцарем — отдавай свою жизнь на полях сражений. Если же ты оказался герцогом — умеи водить войска. Если ты оказался королем, — управляй страной!

Если же человек не соответствует своему назначению, то короля убивают, герцога лишают надела, рыцаря выгоняют с позором и с плетьюми, раз он оказался трусом, а не героем. Крестьянин... Ну, с этим умеют управляться. Его заставляют обрабатывать землю и выдавать тот необходимый продукт, чтобы прокормить тех, кто этих крестьян защищает, и тех, кто наведит среди них порядок, потому что без порядка жить нельзя.

Но потом уже количество этой внутренней энергии, энергии живого вещества биосферы (нехимической по своей природе) увеличивается. Возникает новый императив: будь самим собой — будь не только рыцарем, но будь Ромуальдом! Будь не только схоластом, но — Абельяром! Будь не только художником, но Джотто или Микельанджело...

И вот люди начинают уже ставить свои подписи под картинами, люди требуют, чтобы им составляли биографии, люди требуют, чтобы их благодарили за совершенные ими подвиги — иначе отказываются совершать подвиги! Они делают только необходимое.

Феодал в средние века работал сорок дней в году, остальное время он был свободен. Так вот он и говорил королю — я тебе сорок дней отработал, и все, и больше от меня не требуй. А если ты хочешь, чтобы я еще и победы тебе одерживал, награждай меня. Не деньгами — куда ему деньги, у него все есть. А что же тогда нужно феодалу? Ему нужны почести!

... Вот один уровень пассионарности.

Но есть еще и другая, более высокая степень пассионарности — когда человек ничего не требует для себя, а работает только на свой идеал.

**Л.А.:** Нужно напомнить читателю, что толкование многих приевшихся слуху и глазу терминов у вас часто не совпадает с общепринятым...

**Л.Г.:** Да, под идеалом я понимаю далекий прогноз, и ничего болес. Так вот, человек, наделенный высшей степенью пассионарности, устремлен и действует, осуществляя далекий прогноз, ничего не требуя для себя. Такие, как Жанна д'Арк — лотарингская пастушка, немочка, плохо говорящая по-французски, отдаст свою жизнь за величие Франции. Ян Гус выступает за величие Церкви и гибнет на костре, зажженном ее служителями-холоуями, так как все хотели брать взятки и пользоваться всякими благами, не неся никакой ответственности...

А высшая степень пассионарности, которой может обладать человек — это быть самим собой, неповторимой личностью, полностью отдающей себя

своему делу, как, например, Исаак Ньютон посвятил свою жизнь науке — все остальное ему было просто неинтересно.

Но потом пассионарность начинает снижаться, начинается диссипация, рассеяние энергии, присущей системе в момент создания, и тогда начинается постепенный возврат к предыдущим, пройденным фазам.

Л.А.: И что же тогда происходит с людьми, как меняются их жизненные цели?

Л.Г.: А с людьми происходит вот что. Они становятся всего-лишь... простыми генералами, желающими карьеры и более ничего. Потом — художниками, желающими только заработка. Еще ниже — чиновниками правительства, сначала добросовестными и грамотными, а потом заблатованными и безграмотными. Эта фаза развития человеческой общности называется надлом, брейкдаун по-английски.

Л.А.: И этот надлом с неизбежностью охватывает всех буквально?

Л.Г.: Нет, уцелевает какая-то толпка здоровой части населения, ранее занимающаяся просто земледелием, ремеслом, торговлей, военным делом даже, — но в качестве наемников. Так вот, они вылезают из своих повседневных дел и говорят: нет, такого безобразия, в которое привели нашу страну, терпеть больше нельзя, мы устали от великих, от тех, которые претендуют на величие, а сами ничего не стоят и не могут. Давайте выберем себе идеал, — и выбирают. В Риме был выбран Цезарь, к примеру. Но в качестве идеала может быть выбрана не только личность. Так, в Англии был избран идеал джентльмена, идеал святого — в Византии, богатыря — в Монголии, мыслителя — в Китае.

Л.А.: А в России?

Л.Г.: Вас не устроил рассказ Дмитрия Михайловича или хочется, непременно хочется, устроить столкновение мнений?

Л.А.: Нет, но все же...

Л.Г.: Да нет же, ваш вопрос и логичен, и неизбежен, но я рассматриваю историю человечества как непрерывный и взаимосвязанный процесс, и к России я тоже подойду, обещаю, Людмила Ивановна.

Так, через определенное время наступает момент в истории, когда идеал, к которому надо стремиться, становится или недостижимым, или даже нежелательным, а на смену ему приходит идеал массы, активной массы — это наступает фаза обскурации. Этот идеал массы очень простой: будь таким, как мы, не выпендривайся, не старайся быть выше других. А уж если ты, на свою беду, оказался талантлив — скрывай свой талант. Вот в Риме, в среде легионеров, убивали своих командиров за то, что те заставляли подчиненных соблюдать дисциплину и смело сражаться. Сражаться-то они умели, эти легионеры. Но они не хотели, чтобы ими командовали и ими руководили. Они считали, что каждый может быть императором, или проконсулом, или центурионом — любой. Вот Луций, вот Публий — почему бы и не он? Хороший парень, вчера с нами так крепко выпил, — давай изберем его...

И в результате — депопуляция, сокращение населения, уменьшение резистентности системы. Внутри нее воцаряется полный беспорядок. Так как разумно вести хозяйство становится попросту невозможным, прибегают к конфискациям. Богатых людей начинают обвинять в том, что они являются врагами народа, их казнят, имущество конфискуют, пропивают и ночью берутся за следующих.

Л.А.: Ваш древнеримский пример вызывает в памяти уроки французской революции, которые не помешали возникновению новых уроков семнадцатого года. Неужели за долгий путь своего исторического развития человечество так и не научится "проскакивать" или предвидеть эту фазу? Неужели без нее не обойтись — ну хоть когда-нибудь?

Л.Г.: Эта фаза в развитии человеческого сообщества так же необходима, как фаза старости у человека. Представьте: спортсмен, который совершал туристские походы, прыгал, бегал, умел биться боксом и давать нокауты своим мощным противникам, становится дряхлым старичком, который еле ходит с палочкой и хочет только одного — чтобы его кто-то угостил, накормил, и он лег бы...

Но такая структура даже психологически неустойчива, она не может долго существовать и распадается на составные части, причем уцелевают только те, кто не принимал участия в историческом процессе! — те, кто жил в гомеостазе, в равновесии с природой. И если в это время происходит новый пассионарный толчок, то все начинается сначала: так после этрусков пошел Рим, после Рима и Эллады пошла Византия, после Византии — Османская Турция... и так далее. И таких толчков в ближайшем историческом времени известно 17.

Л.А.: Собственно, на них, этих пассионарных толчках, и основана вся ваша концепция этногенеза...

## А БЫЛО ЛИ ИГО НА РУСИ?

Л.Г.: А вот теперь, на фоне общей картины, я и отвечу на ваш вопрос — о русских и о России, исходя из положений моей теории.

Древние славяне возникли в то же самое время, от того же толчка, что и христианские общины в Малой Азии и Сирии, — то есть, во II веке новой эры. Через тысячу лет они распались на разные этносы: чехи, поляки, сербы, болгары (которые больше воевали друг с другом, чем с любыми противниками). Кстати, это же касалось и Древней Руси, которая к XII-XIII веку развалилась на составные княжества, относившиеся друг к другу уже не на субэтническом и даже не на этническом, а на суперэтническом уровне.

Л.А.: Поясните свой тезис, Лев Николаевич.

Л.Г.: Эти княжества помнили еще, что у них общие предки, но это не имело для них ни малейшего значения, и они воевали друг с другом.

Д.Б.: И еще как! Новгородцы — с суздальцами, скажем...

Л.Г.: И очень жестоко. Судите сами — на одной только битве при Липице тех же новгородцев с суздальцами, о которых упомянул Дмитрий Михайлович, было убито девять с лишним тысяч людей — столько не потеряли во время войн с монголами!

Такая же резня шла и между другими княжествами!

Л.А.: Выходит, нашествие монголов не единственная причина упадка Древней Руси?

Л.Г.: Я не устану повторять и в своих работах доказал: то, что приписывается монголам, — это миф. Монголы пришли в страну, которая уже не могла сопротивляться и которую они и не собирались завоевывать. Она им была не нужна совершенно! Они просто прошли через нее стратегическим маршем для того, чтобы расправиться с половцами.

Л.А.: Что же спасло Русь?

Л.Г.: То, что страна эта, находясь на краю гибели, вдруг испытала новый пассионарный толчок. Доказательство — примерно в одно время родились такие люди, как Александр Ярославич Невский, Миндовг, великий князь литовский, Осман, турецкий султан, которые подняли значение своих стран и народов, спасли себя от завоеваний иноземцами, сумели найти союзников и силы в своих народах, в отдельных группах, заметьте...

Так, на Руси такой отдельной группой были бояре. Боярин — аристократ незаконного происхождения. Но на него можно было положиться, тогда как положиться на народную массу было совершенно нельзя: они убегали, прятались

и ждали, когда противники уйдут, разгромив основные столицы, как это было с Угличем, например.

Л.А.: И нападающим никто не оказал сопротивления?

Л.Г.: Углич не сопротивлялся татарам. Все население попряталось в лесу, за исключением купцов, которым жалко было бросать свое имущество и которые заключили соглашение с татарами о выплате небольшой контрибуции лошаадьми и продуктами в обмен на пайдзу — охранную грамоту от татар. Так уцелел Углич, и не он один, уцелела Кострома, Тверь, Ярославль — все города по Волге уцелели именно потому, что они заключили мир с татарами и монголами. Какое там к черту завоевание! Какое там к черту иго — не было его!

Л.А.: Но союз Александра Невского с Батыем вряд ли был заключен от хорошей жизни...

Л.Г.: Александр Невский действительно заключил союз с Батыем, а затем с его братом Берке только тогда, когда немцы начали наступление на Прибалтику, а затем на Псков и Новгород. Союз этот был военно-политический — чтобы бороться против нажима с Запада (дранг нах остен) и остановить наступление тех немцев, которые стремились превратить остатки древних русичей в крепостное сословие. В итоге — там, где князья просили помощи у татар, там выросла великая держава Россия. Там, где они согласились на подчинение Западу — в Галиции, например, — там они превратились в крепостных мужиков и ни на что уже способны не были.

Л.А.: Но ведь не в "тлетворном влиянии Запада" причина, а в более глубинных, надидеологических законах возникновения, развития и упадка этносов. Итак, согласно вашей теории, к XIII веку Русь, спустя 10 веков, испытывает новый пассионарный толчок, что отражается на ее конкретном историческом развитии в это время. Возникает вопрос о природе толчков.

## ДЫХАНИЕ КОСМОСА И ПЕРЕСТРОЙКА XIY ВЕКА

Л.Г.: Откуда берутся эти толчки? Вопрос вопросов, на который мне удалось ответить при помощи астрофизиков. Это было на втором космо-антропоэкологическом конгрессе. Председательствовал академик Казначеев. На философской секции я свое выступление начинаю с ответа на вопрос, возникший у присутствующих: где в моих работах исторический материализм? Отвечаю: нету! А диалектическим материализмом заниматься можно или нет? Они тут сразу замолчали, одурев, а потом еле-еле так, нехотя говорят: можно... Тогда я сказал: то, о чем я буду говорить, относится к материализму диалектическому. И изложил им свою теорию.

Но откуда толчки? Вопрос точный. Пока я собирался с мыслями, слово взял академик Чечельницкий, астрофизик, и сказал следующее: "Вокруг Земли не вакуум, не пустота, а поток плазмы, заряженный, который обтекает Землю и постоянно на нее влияет". Так. А потом другой астрофизик, Бутузов, добавил: "Это известный нам поток плазмы — солнечный ветер. Он идет до орбиты Плутона и там встречается со звездным ветром. Эти два потока, идущие навстречу друг другу, обязательно создадут вихри — возникает турбулентность".

К сказанному признанными специалистами мне осталось только добавить несколько слов. Профессор Ермолаев, географ, в своих работах показал, что одиннадцать оболочек Земли надежно защищают ее поверхность от космических воздействий. В ночное же время ионосфера утоньшается, и поэтому проникновение частиц от столкновения солнечного и звездного ветров становится возможным вплоть до земной поверхности. То есть, наличие влияния на биосферу — влияние космических частиц, образующихся при особо сильных столкновениях потоков, что вызывает мутации.

Л.А.: Как-то все сходится, Лев Николаевич...

Л.Г.: А я тогда на конгрессе так и сказал — вот видите, вся наука на моей стороне!

Итак, мутация — это смещение, толчок, а диссипация — это рассеяние энергии. Вот из этого и состоит весь процесс этногенеза, — от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери энергии пассионарности.

Л.А.: Дмитрий Михайлович, а если наложить теорию Льва Гумилева на историю России?

Д.Б.: Видите ли, я действительно применяю теорию Льва Николаевича к истории России, но хотел бы избежать обвинений в том, что я в нее попросту верую. При исследовании баллады (старинной, русской народной) у меня возник среди прочих вопрос — определить время сложения этого жанра. Мой вывод — это XIII, XIV, XV века, точнее — XIV-XV. При этом я обратил внимание на такие вот "совпадения": в работах Д.С.Лихачева наглядно показан значительный перелом, перестройка культуры в эти же исторические отрезки времени. В трудах С.Б.Веселовского, в частности, в работе "Село и деревня" речь шла об особенностях строения хозяйства Московской Руси — и тут внимание привлекают те же самые XIV-XV века: решительный поворот в системе хозяйствования к последующему типу, знакомому нам по более позднему времени. А, будучи в археологических экспедициях, я убедился, что все навыки изготовления изделий вручную слагались опять же в это самое время. Более того (для меня это чрезвычайно убедительный пример), именно к XIV-XV веку восходят все виды бревенчатых рубок (до 50!), которые были известны русским плотникам. На этот же промежуток времени приходится формирование всех видов обработки металла, известных нашим кузнецам, и так далее, и так далее...

Вот такая у меня создалась картина — какие-то особые это были века. Поэтому много позднее, когда я узнал о гумилевской теории и познакомился с ней, для меня пассионарный толчок стал недостающим звеном в цепи рассуждений, основным тезисом, что ли, набор доказательств которого мною был уже самостоятельно добыт — для той отрасли науки, которой я занимался.

Л.А.: Вы имеете в виду фольклористику...

Д.Б.: Да, но и потом, занявшись историей (сначала новгородской, затем Московской Руси), я тоже искал это вот самое начало активности исторической не по Гумилеву, а, так сказать, самостоятельно. Мне было интересно — когда же московское княжество стало складываться. Князь Даниил приезжает в Москву в семьдесят пятом году тринадцатого века, в малюсенькое княжество, и за четверть века он делает его очень сильным. Настолько, что его сыновья (сперва Юрий, затем Иван Калита) уже могут спорить за власть с ведущим княжеством Волго-Окского междуречья — с Тверью! И захватить эту власть... Вот откуда я начал, а затем моя работа стала не столько даже следованием теории Гумилева, сколько ее самостоятельной проверкой, что ли.

Л.А.: Проверкой на историческом материале, добытом вами самостоятельно?

Д.Б.: В частности, я увидел, что психология людей XIV-XV веков заметно отличалась от нынешней своей действенностью. Если люди приходили к какой-то мысли, то они не сидели и не рассуждали по этому поводу, а тут же стремились эту мысль претворить в дело.

Л.А.: Изменение психологии запечатлелось исторически?

Д.Б.: Произошел переход от общества, которое могло только плакать, стонать и разбегаться при подходе сильного врага, к обществу, которое вдруг охрабрело и вдруг объединилось. Попробуйте просто читать летописи как перечни поступков: ну, ссорятся князья друг с другом, кто-то на кого-то доносит, и

вроде бы все это продолжается и кажется уже неизменным. Но если при чтении вникнуть в суть позиций сторон, убедитесь, что вечная борьба эта неожиданно приобрела совершенно иной характер.

Вдруг прямые потомки издавна враждующих родов стали вести борьбу не за лучший кусок, а за то, кто объединит Волго-Окское Междуречье, чтобы возглавить сильное и активное государство с наступательной политикой. И бешеная борьба Твери с Москвой шла вовсе не из-за местных интересов. Эта была именно борьба за Великий Стол (так я и назвал свою вторую книгу по истории Московской Руси).

Князь Михаил Тверской поставил перед собой задачу: создать сильное объединенное государство, удержать Новгород в своей орбите, сплотить княжества низовские и так далее. Он справился с этой задачей, но заплатил за это жизнью.

Прямой его противник, Иван Калита, продолжал ту же самую политику. И тоже нашел свой путь: исподтишка, с помощью купли ярлыков — сводил все в единый кулак, объединял.

Муравьиная по упорству и трудности шла работа по приращению все новых и новых областей к Московскому княжеству. А какая развернулась борьба с Литвой, которая была на величайшем подъеме и потом уж никогда не повторила достигнутых в это время успехов! (Потому что Литва, приняв католичество, оттолкнула от себя православное население — а оно составляло 4/5, если не 9/10 великого княжества Литовского). Это было при Ольгерде, потом началось развал. И так, я начал цикл своих романов с начала пассионарного подъема, создавшего Московскую Русь. Получалась картина объединения страны, все более крутого подъема, который в конце XIV века увенчался созданием единства.

Л.А.: Так что исходные данные для создания ваших хроник укладываются в график, описывающий и ход истечения пассионарной энергии этноса?

Д.Б.: Пожалуй. И этот процесс, или, как вы выразились, ход истечения энергии, завершился Куликовым полем. Не владее теорией этногенеза, понять истинное значение Куликова поля просто невозможно. Выигрыш политический, строго говоря, уже не был и нужен: к моменту сражения на Куликовом поле Москва уже выиграла борьбу за главенство среди княжеств. Но произошел качественный скачок, превративший победу на Куликовом поле из политической в победу духовную...

Л.Г.: На Куликово поле вышли жители разных княжеств, а вернулись оттуда жителями единого московского русского государства.

Д.Б.: Последующие события показали правильность такой оценки этого великого события в русской истории — ведь мало что в военном отношении изменила Куликовская битва. Уже через два года Тохтамыш разгромил страну, взял Москву... Но уже произошел тот самый идеологический сплав... фазовый переход... означавший формирование русского этноса.

И я железно убежден: в истории каждого этноса происходит обязательный трагический надлом с невероятной внутринациональной грызней, резней, убийствами, а повод все находят свой.

Во Франции гугеноты с католиками резались, в Германии это называлось крестьянской войной, хотя это была война буквально всех против всех: горожане, крестьяне, рыцари резали друг друга. И в результате — истребление половины населения тогдашней Германии.

В Византии весь этногенез был замешан на христианстве. Началось иконоборчество: власть вдруг обрушилась на иконопочитание, основу, собственно говоря, духовной жизни Византии, а народ был против. В итоге 180 лет продолжалась внутриэтническая резня, в ходе которой империя теряла все новые области, захватываемые арабами, но византийцам было не до того...

Л.А.: Ну а московский этногенез?

Д.Б.: Отсчитайте шесть веков.

Л.А.: Отсчитали...

Д.Б.: Да, и все события нашего века с их горестными последствиями, с сотней миллионов людей, которых мы истребили сами, лучших людей нашей нации, — это вовсе не выражение каких-то особенных каторжных свойств русского народа как такового — так ведь многие стараются представить, — а это естественное, неизбежное следствие того самого надлома, накопления внутри этноса огромного количества шлака — субпассионариев, которые во все века не мыслят ни о чем — им лишь бы урвать кусок...

## ЛЕНТЯИ И ИХ ЖЕРТВЫ

Л.А.: Вы полагаете, причина надлома коренится в психологии субпассионариев?

Д.Б.: Весь ужас этой психологии заключается в том, что субпассионарий, оставаясь внешне человеком с человеческими потребностями, теряет главное, органическое, выше сознания человеческое свойство — желание работать, а с ним вместе он теряет и историзм мышления.

Потому что движение времени — это условная категория. Оно существует для нас в силу изменения окружающего мира, и в значительной мере — изменения сооруженного нами, так сказать, искусственного мира. Люди строят дом, садят урожай, который осенью надо убрать... Субпассионарий же абсолютно не знает летом, что наступит зима. Замечательно показано в романе "Как закалялась сталь" — такой человеческий индивидуум способен задуматься о том, что для города нужны дрова, только в декабре, поскольку наступают страшные морозы. И героически возводится железная дорога, подвозятся дрова — что требовалось сделать еще весной этого самого года. И причем обязательно весной — революция не революция, а ведь осень наступит в строго определенные сроки, и зима тоже...

Л.А.: Отсутствие чувства реальности?

Д.Б.: Отсутствие чувства исторического движения. Кстати, субпассионарий может совершенно спокойно расстрелять какого-то купца, а потом наивно ожидать, что налоги с этого купца будут поступать. Субпассионарий отбирает корову у богатея и отдает бедняку, не задумываясь о том, что корову нужно кормить (значит, заблаговременно накопить сена), доить, поить, чистить навоз. У него какое-то дикарское представление, что корова сама собой доится и ставит сама на стол кринку молока.

Субпассионарий полагает, что можно захватить завод, развалить все хозяйство, прогнать администрацию и по-прежнему получать зарплату. Ему не дано понять, что завод — лишь груда металлолома, приносящая миллионные доходы только при грамотном руководстве.

Все это ему недоступно. Вот почему знаменитый лозунг "от каждого по способностям, каждому по потребностям" — чрезвычайно понравился именно субпассионариям...

Л.Г.: А кто будет определять потребности? Начальство. И способности — тоже начальство!

Д.Б.: Вот так и возникла система, при которой чем больше и лучше человек работает, тем меньше он получает, и наоборот. Взять хотя бы нынешнюю систему прогрессивного налогообложения. В переводе на человеческий язык это означает: с людей, которые работают лучше, мы берем как бы штраф за то, что они хорошо трудятся — в пользу тех, кто работает мало и плохо. Обыватель, спокойный человек, все это видит и понимает, что нет ему никакого

смысла вкалывать, — в результате трудовые усилия упадают, но об этом не думают ни работники министерств, ни наши мафии (возможно, это одно и то же).

Вот сейчас ткнулись мы в экономические беды — а ничего удивительно-го нет, произошел вполне понятный и закономерный процесс — прямое следствие надлома и торжества психологии субпассионариев.

Л.А.: Но ведь в любом обществе они всегда были и будут?

Д.Б.: Как сказать... В начале этнического развития, в том же моем XIV веке они никому особенно не нужны. Во-первых, за такого мужика ленивого никакая баба замуж не пойдет, и никто ее не выдаст за него...

Л.А.: А сейчас они стали всем нужны, и любая пойдет?

Д.Б.: Да, сейчас они стали героями общества! И этот вот совершенно бездельный никчемный человек стал нравиться женщинам! И они рожают от них, и множат число столь же бездельных людей!

Л.А.: Что же произошло, Дмитрий Михайлович?

Д.Б.: Субпассионарии, видимо, рождаются все время. Механизм второго явления я могу только предполагать — возможно, это какая-то генетическая реакция, отброс к предыдущим обезьянопредкам. Во всяком случае, в эпохи подъема в жизни этноса эти люди никого не устраивают — они могут быть скорее всего прислугой — подай, принеси... Но прислуга обычно не имеет семьи, точнее, у нее нет такой возможности плодиться. Потом, при благополучном государственном развитии, их начинают вдруг жалеть, любить, нежить и холить...

Сколько слез русская литература XIX века пролила над бедным мужиком и как она активно не любила мужика богатого...

Л.А.: Хрестоматийный пример — тургеневские герои Хорь и Калиныч — все же трудно мне так вот нетрадиционно взглянуть на отношение к ним И.С.Тургенева...

Д.Б.: Тургенев очень ведь хотел быть объективным. Но Калиныч у него, согласитесь, как-то симпатичнее.

Я думаю вот так: тот барин, который перестал работать и медленно либо скоро спускал свое имение, — ему были симпатичны мужики того же плана, что и он сам.

Л.Г.: Потомки европеизированных "онегинных" окончили дни в чеховских "вишневых садах", уступив место в жизни другим субэтносам — то есть этнической системе, являющейся элементом структуры этноса.

Д.Б.: Так вот, мужик деятельный начал со скупки поместий, потом начал строить фабрики, заводы, а потом стал и меценатом. Это он создал и Третьяковскую галерею, и русскую оперу, и множество церквей. То есть, накопленные капиталы эти люди двинули на развитие культуры, и очень быстро, заметьте, очень быстро...

Л.А.: Вы хотите сказать — слишком быстро? Потому их потом и уничтожили?

Д.Б.: Не потому.

Л.Г.: Нет, они включились в уже существующую систему — на равных. Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские — это были аристократы такие же, какими в свое время были купцы Строгановы, которые стали графами. Они просто включились в систему и усилили ее.

Л.А.: Лев Николаевич, в рассуждениях Дмитрия Михайловича для меня возникла некая неясность в посылах. На годы революции в России пришелся момент "освобождения от шлака" — как вдруг надлом такой после столь обнадеживающих тенденций конца XIX века?



Л.Г.: Надлом шел весь XIX век, и все ниже и ниже, и 30-е годы XX века с этой мясорубкой — это низшая точка надлома. Когда нация теряет жизнеспособность, она себя уничтожает.

Л.А.: Как долго для живущего единожды на Земле длится период исторического лихолетья... Историки, писатели, мыслители, учителя наши — скажите, неужели нет никакой надежды для России?

### "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ", ЕСЛИ...

Д.Б.: Сейчас-то как раз и появилась не только надежда, но и реальная возможность для России после прохождения низших стадий надлома выйти на плавно взбирающуюся вверх линию "золотой осени" этноса — времени расцвета наук, культуры, ремесел, искусств, устройства быта — тот период, который многие страны прошли, и который был и на Руси много веков назад. Срок пришел.

Л.А.: Хотелось бы услышать от вас и какой-то очень простой и понятный всем читателям аргумент в защиту тезиса, который хочется принять и без доказательств...

Д.Б.: Сейчас желания людей — создание довольства какого-то, спокойная, размеренная жизнь, дом с садом и огородом, занятие делом без конфликта с душой и совестью, не так ли?

Л.Г.: Может показаться экстравагантным аспект, в котором одной из движущих сил развития человечества являются страсти и побуждения, но начало этому типу исследований положили Ч.Дарвин и Ф.Энгельс.

Д.Б.: Конфликт между желаемым и существующим — обычная вещь. Но ужас нашего времени вот в чем состоит — закрученный субпассионариями маховик уничтожения продолжает работать. Как его остановить, да еще с учетом инерции — она-то работает и при этногенезе — вот в чем дело! Теоретически для остановки маховика нужна пассионарность, которой явно сейчас не хватает, хотя намечена явственная тенденция к ее росту. Я не знаю сколько в стране осталось пассионариев, но знаю, что нужно сделать практически: дать землю, реальный хозрасчет и систему контрактации, а не твердых государственных планов, — без всяких там идеологических ужимок и кривляний. Найдутся ли в стране силы, способные так повернуть дело, как требуют этого не только закономерности этнического и исторического развития, но и простой здравый смысл, присущий любому труженику — не мне судить, не знаю.

Знаю, как катастрофично состояние земли — ведь чтобы она нас кормила, о ней заботиться надо неустанно, азбучная истина! И нечего в вопрос о земле социальные категории пихать!

Это как с языком, — в сталинские времена дискуссия была, что такое язык — базис или надстройка. И Сталин вдруг, открыв уста, сказал единственно верную вещь — не базис и не надстройка, это средство общения — язык, без всяких там социальных категорий. Так вот, обработка земли требует (без всякой идеологической шелухи) соблюдения всего лишь 4-х условий, действующих уже на протяжении 8-10 тысяч лет истории земледелия на Земле: наличия труженика, квалификации этого труженика, орудий труда и собственности на землю, которая может оформляться по-разному. Но при любой форме — это должна быть наследственная неотторжимая система владения землей, при которой человек-труженик отправляет ее сыну, внуку, правнуку...

Это первое, ну а затем все остальное. Хватит ли той, угасающей по меркам столетий, пассионарности — войдем в состояние "золотой осени", если останется маховик уничтожения, и в общем-то, превратимся в то, чем была Франция, скажем, XIX века, или какова она сейчас — такое спокойное, благопо-

лучное, не очень сильное государство, совершенно не агрессивное. Таким образом, нам будет подарено еще несколько веков существования, не говоря уж о том, что на 6-й части суши, и в скором времени, вполне можно ожидать нового пассионарного толчка, который затронул Россию в последний раз в конце XIII века.

Л.А.: И как это отразится на судьбе страны?

Д.Б.: Будет новый виток цивилизации, который продолжит нашу культуру так же, как культура Московской Руси продолжила культуру Киевской. Хотя это совершенно другая культура, но родственная по языку, по этническому составу, и можно ее считать продолжением культуры Киевской Руси.

Л.А.: Говоря о культурных корнях и традициях, нельзя обойти молчаливым роль христианства в формировании русского этноса и русской государственности.

Ваше слово, Лев Николаевич.

## ПОД СЕНЬЮ РУССКОГО КРЕСТА

Л.Г.: Образование современной России — явление новое, и оно не является продолжением Киевской Руси, как прекрасно показал Дмитрий Михайлович. Для того, чтобы создать новое, — нового ребенка, — как известно, нужны по крайней мере два человека — мужчина и женщина, то есть необходима какая-то смесь. Это относится не только к этногенезу, но и к вопросам духовной культуры.

На Руси XII-XIII века было три типа духовной культуры: папизм — как на западе — когда духовная власть считалась выше светской, и светская получала от духовной просвещение, и за это должна была духовную власть облуживать и охранять.

Был и цезарепапизм, как в Византии, когда духовная и светская власть были на равных. Патриарх Константинопольский был подданным базилевса, то есть императора, а император был прихожанином Святой Софии — духовным подданным патриарха через своего духовника. Это второй вариант духовной власти, который нам перенесли на Русь и который в общем-то довольно плохо прижился, потому что первые три века после крещения Руси на земле нашей царило двоеверие. Мы верили в леших, домовых и водяных так же, как верили в святых. Божью Мать и Иисуса Христа. Это была довольно смешанная система и очень поэтому неустойчивая.

Но была и третья часть духовной культуры. Некогда, в пятом веке, когда после известных великих соборов еретики принуждены были покидать родную территорию византийской империи и уходить на восток, в Персию и даже дальше, до Китая, то несториане и отчасти монофиситы вынуждены были эмигрировать. А там они развернули невероятную деятельность и очень многих кочевников (предков монголов, предков современных тюрков) окрестили. Христианство в XIII веке — это равноправная религия Восточной Азии наряду с буддизмом, исламом, боном (тибетской религией).

Разница между этими тремя типами духовной жизни была очень большая. Если на Западе папа был сам государем, если на Востоке, в Константинополе патриарх подчинялся государю и пользовался его помощью, то восточным христианам нечего было рассчитывать на чью-либо помощь.

Китайские императоры — Сыны Неба — не любили христианство и не покровительствовали ему. Патриарх Несторианский жил в Багдаде, у багдадского халифа, мусульманина, который его терпел, но и особого уважения не испытывал. Пришлось патриарху опираться на свою паству, на прихожан, которые в католической церкви вообще не допускались к изучению священного пи-

сания, поскольку латынь они не знали, а в греческой церкви были тоже под строгим надзором духовенства.

Но именно они оказались поддержкой для духовной власти. В результате монголы, которые приходили на Русь, имели в своих рядах от половины до двух третей христиан. И лишь только в 1313 году узурпатор, хан Узбек, принял ислам как государственную религию и заявил, что все, кто откажется принять ислам, будут казнены.

Тот, кто не пожелал менять свою совесть на жизнь, вынужден был бежать, чтобы сохранить и то, и другое. А куда бежать? Как монголов их убили бы везде за пределами империи. Как христиан их убили бы в самой Монголии или в самой Золотой Орде.

Они бежали на Русь. Тут их принимали. И с удовольствием. Единственное ограничение, которое им твердо ставилось: чтобы язычник был крещен или крестился тотчас же — иначе поп не венчал. И масса христиан и язычников, которые готовы были принять православие (только бы не ислам!) — они бежали на Русь.

И вот здесь-то и началось то смешение татарщины со славянством, которое мы называем подлым словом "иго".

Л.А.: Но, Лев Николаевич, чтобы на триста лет (как минимум) задержаться в истории и географии чужой страны, нужна была победа пришельцев!

Л.Г.: Да, победа была одержана, — но не монгольскими бунчуками, которые за полтора года прошли всю Россию и ушли, не оставив следов, и не тогда, когда Александр Невский договорился о союзе с Ордой для того, чтобы отвлечь немецких рыцарей и согласился даже для этого платить "выход", который мы называем "дань". Выход — это был налог, который шел за военную помощь татар.

А кто же, вообще-то говоря, отатарил славянку? Женихи и невесты. Невест брали в Орде, женихи сами приезжали в Ростов (больше всего именно в Ростов) и там крестились и те, и другие.

И не бунчук монгольский, а натальный крест сделал бывшую славянскую и уже вырождающуюся в силу пассионарного спада страну новой страной, русско-татарской с православным исповеданием.

Но дело в том, что при спаде пассионарности различия между княжествами возрастали. Все больше и больше становились непохожи новгородцы на суздальцев, суздальцы — на смолян и рязанцев, москвичи тоже составили особую группу. Что же могло их объединить?

И оказалось, что объединяла их только православная церковь — явление духовное. Митрополит Петр, его преемник митрополит Феогност, грек, но очень применившийся к русским условиям, и, наконец, митрополит Алексей, сын боярина, при помощи Сергия Радонежского, простого монаха, но тоже сына боярина — вот они создали на Руси теократию и именно в ней — идеократию.

Л.А.: И это сыграло, возможно, решающую роль в формировании русского этноса, сохранившегося и в нынешнее время?

Л.Г.: Да, всех русских скрепляло православие как духовная ценность вплоть до XV века, когда объединение наступило (на северо-востоке оно уже оформилось и политически), и до XVIII века, когда была присоединена юго-западная Русь, находившаяся 400 лет под властью Польши.

Именно эта духовная ценность сохранила цельность российского этноса, не давая ему распасться на части. И, более того, вовлекла в состав этой новой цельности огромное количество инородцев.

Л.А.: Почему?

Л.Г.: Потому что любой мордвин, зырянин, мерянин, татарин, — приняв крещение, становился русским. Возьмите список русских фамилий у Баскакова Николая Александровича. Какие фамилии ордынского происхождения там увидите — Кутузов, Суворов, Тютчев, Шереметев и так далее.

То есть, мы видим, что здесь, на базе этнического синтеза, при взаимной комплиментарности...

Л.А.: Чего-то вроде чувства симпатии, расположенности...

Л.Г.: ...Которое дала людям очень веротерпимая православная церковь, — удалось создать тот монолит, который мы называем великой Россией.

## ШРАМЫ И РАНЫ РОССИИ

Д.Б.: Система эта, при которой церковь взяла в свои руки идеологическое руководство страной, продержалась сравнительно недолго. Но она позволила создать государство, утвердить принципы свободного единения, связала общество идеологически, скрепив его морально-этическими нормами христианства, оказалась очень устойчивой как против натиска мусульман с юга, так и против западной католической экспансии.

При этом поскольку христианство не утверждало племенной исключительности русичей, система эта оказалась годной для создания на взаимотерпимых принципах многонационального государства — Великой России, или Великороссии. Но с ростом самодержавия и бюрократического аппарата эта идеальная, так сказать, форма русской государственности стала нарушаться, и произошло это задолго до Октября. Сила стала заменять убеждения — таковы "силовые" никоновские реформы, вызвавшие раскол и ослабление церкви. Грозный с его опричниной был гигантским непредусмотренным эксцессом власти. Петр I совершил непоправимое — разорвал нацию надвое, противопоставив дворянство народу. Он же установил на Руси рабство, ввел порку и продажу людей, увеличил налоги в 6,5 раз, а численность нации при нем сократилась на одну пятую! Я уж не говорю о том, что именно с его августейшего правления началась экологическая катастрофа плодородного слоя российских земель — вырубка лесов вкупе с введением отвального плуга вызвала быстрое обезструктуривание почвенного слоя в центральной России и размывы его оврагами, и так далее. Негативные итоги правления Екатерины Великой: не были решены вопросы крестьянского землепользования и грамотной экологии, культурное противостояние классов только углублялось. В результате наступил общий кризис, закономерно приведший к революциям.

Резко оздоровили было ситуацию столыпинские реформы, а осуществление Декрета о земле 1918 года подняло наше сельское хозяйство к ведущему мировому уровню. Но вторичное закрепощение крестьянства — так называемая коллективизация 30-х годов — погубило не только исконную систему земледелия, но и саму землю окончательно.

Л.А.: Так что же, выходит, Дмитрий Михайлович, прогноз "золотой осени" для России, предусмотренный не только гумилевским учением, но и всем ходом исторического развития, летит вдребезги от столкновения с нерешенным до сих пор окончательно вопросом о земле, или... все-таки есть "или".

Д.Б.: Реально вот что нужно сделать, чтобы вырुлить к "золотой осени". (Я коснусь только проблем экологического выживания России). Надо уберечь оставшиеся воды, болота, леса, но этого мало. Нужно окружить лесными кордонами наши поля, как это сделал Докучаев в Каменной степи, засадить лесом гигантские обезлесенные территории русского Севера. Ликвидировать мелиорацию в ее современном виде и (без Минводхоза!) спустить все равнинные моря и разгородить Волгу. Закрыть атомные станции и химические предприятия,

устроив гласный суд над виновниками погубления природы из всех ведомств. Это экологический минимум.

Тогда, надеюсь, со временем произойдет восстановление национальной культуры и народной нравственности в ее традиционных формах. Только тут без помощи церкви нам никак не обойтись. Церковь надо скорее освободить от тех египетских гонений, политических и экономических, коим она подвергалась ранее. И школы должны быть другими, и учебники... — чтобы уцелеть, чтобы прийти к спокойной, сытой и культурной цивилизации, которую заслужил наш великий народ, необходимы огромные усилия и сознательная, национальная работа всего общества. И нужна любовь. Любовь к своему народу, к своей земле, к истине и справедливости. И необходимо при этом, ежели мы хотим сохранить наше государство в целостности, иметь уважение к иным народам нашей многонациональной Родины и к их традиционному способу жизни.

Л.А.: Лев Николаевич, а нам, ныне живущим и еле успевающим не то что осмыслить, а хоть как-то фиксировать сознанием саму историю, которую, как фильм в рапиде, лихорадочно прокручивает вместе с нами небывалое время... Какой далекий прогноз вы предложите, надеяться на будущее — на новый пассионарный толчок, который вот-вот (вы как-то обмолвились) или уже происходит?

Л.Г.: У меня нет еще всех точных данных насчет нового толчка, пока некоторые предположения. А чтобы выжить всем — по крайней мере, нужно дать жить и работать тем пассионариям, которые у нас еще сохранились.

Простите — вот я мог бы гораздо больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 лет под запретом в печати. То есть, 28 лет у меня вылетели на ветер! Кто это сделал? Это сделали не власти. Нет, власти к этому отношения не имели. Это сделали, что называется, научные коллеги. Так вот, этих, которые сидят в университетах, в институтах научных, в издательствах — вот их как-то надо подвести к тому, чтобы делали дело.

Мой умный отец основал "Цех поэтов". Цех — это ремесленная организация. Вот мы с Дмитрием Михайловичем, вы, Людмила Ивановна, — мы ремесленники. Мы делаем дело, каждый свое. И поэтому мы, упаси Боже, не интеллигенты, которые в свое время не доучились и "болеют за народ", как сформулировал Боборыкин это расхожее ныне слово в шестидесятых годах прошлого века, а ремесленники. А за народ болеть не стоит, да никто за него и не боится.

Самое главное — никакому народу это не надо. Не будь ты моим благодетелем, не дури мне мозги! — это лагерный тезис. Кстати, в лагере каждый четко знал, к какому народу кто принадлежит — без анкет и никто не путался. Как человек ведет себя в быту — вот и все. Нет народов плохих или хороших — они разные. Но у каждого есть момент рождения, развития и умирания, — как у любого живого организма.

Л.А.: Лев Николаевич, а почему первыми всегда погибают лучшие?

Л.Г.: Погибают все. Но потеря лучших заметна. А гибнут они потому, что сами же, обладая большим уровнем пассионарности, жертвуют собой ради того, что они называют идеалом, — то есть, далекого прогноза. Они гибнут ради будущего. И только благодаря тому, что они отдают себя как жертву на гибель, и возможно будущее.

---

---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

Константин Ваншенкин

### МАЛЬЧИКИ С ТОЙ ПОДЛОДКИ...

Мальчики с той подлодки.  
Хмурые моряки.  
Жесткие подбородки,  
Острые кадыки.

Но уже свет проплешин  
Видите, замерев.  
Каждый еще увешан  
Знаками ВМФ.

\* \* \*

Женская голова  
В папильотках.  
А внизу-то: раз-два!.. —  
Строй в пилотках.

Впрочем, ждет лишь одно.  
Слышь, пехота?  
Вскинуть взор на окно  
Неохота.

Но вверху-то сто лет  
Вьется локон.  
И войкам вослед —  
Взгляд из окон.

\* \* \*

Боже, как она растет,  
И в особенности летом!  
Сил негаданный расход  
Обязателен при этом.

Говорит о пустяке:  
Мол, короча стала юбка.  
Высоко на косяке  
Будет новая зарубка.

Сверху птичьего голоса.  
Все размеренно и просто...  
Даже русая коса  
Отстает при темпе роста.

\* \* \*

## ПЛАЧ О ГРУЗИНСКОМ ФУТБОЛЕ

Много лет назад  
Пожелал начаться  
Тот чемпионат,  
Где блистал Пайчадзе.

Всех не перечесть  
Из прошедшей были.  
Мужество и честь  
Свойственны им были.

Нет, не громких слов  
Ждали от тбилисца,  
А ушат голов  
Должен был пролиться.

Групповой портрет  
С отсветом утраты.  
Каждый здесь — атлет,  
Все почти — усыаты.

Молод и умен,  
Был он полон светом,  
И каскад имен  
Низвергался следом.

За красивый гол  
Сколько их ни тискай, —  
Где тот склон и дол,  
И футбол грузинский?..

\* \* \*

Сколько пили с Яном  
В разные года,  
Не видал я пьяным  
Яна никогда, —  
От вина, положим,  
И не от вина.

Ведь любым проходим  
Жизнь его видна —  
Чукчам ли, рижанам...  
Где б он ни бывал,  
Общим обожаньем  
Били наповал.

Улыбалась Ялта,  
Скрытно взор скосив:  
— Посмотрите, Ян-то  
Как у нас красив!..

И сквозь все сквозь это  
Шел он налегке.  
Ну, а то, что спето —  
Слышно вдалеке.

# Анатолий Генатулин

## ЗАГОН

### Повесть

*Жизнь наша едина в своем развитии. Меняются эпохи, а человек живет. На смену короткому вихрю хрущевской оттепели, потянуло промозглостью надвигающейся мерзлоты, на страну опускались сумерки безвременья, бронзовел новый культ — шли семидесятые.*

*Еще и в долине не было слова "застой", но уже явственной делалось тревожное ощущение неблагополучия в жизни и душах людей. Народ, живущий в бедности и безнадеге, искал забвения в водке и, еще не утративший до конца ироническое отношение к власти предрержащим, тешил себя хлесткими анекдотами о дорогом генсеке. Захмелевшая было от шальных ветров быстротечной свободы эпохи Хрущева интеллигенция либо благоразумно замолчала, либо отводила душу в вольнолюбивых словоизлияниях на малогабаритных кухнях в ночном табачном дыму. Взбунтовались только великие сыны народа, как Солженицын и академик Сахаров. Солженицына под улюлюканье холуев и стукачей исключили из Союза писателей, до чутких ушей задумавшихся сквозь газетный клеветнический вой доносилось пророческое слово Сахарова. Немногочисленную непокорную часть интеллигенции окрестили непонятным народу, но ругательно звучащим словом "диссидент", и кое-кого из них загнали за колючую проволоку мордовских лагерей. В ржавых тисках идеологической цензуры стоном стонали литература и искусство. И вся наша жизнь стала казаться глухим загоном, из которого не было выхода. Еще десять лет застоя и немоты предстояло до теплых ветров непредсказуемого апреля 1985 года.*

*Об этом времени, о немилосердных семидесятых, и изломанных, сломанных в те годы судьбах моя повесть.*

...Шли семидесятые, мне перевалило за сорок, была осень и начинался еще один отопительный сезон в моей жизни

С тех пор, как я, уволенный с завода и вновь принятый в номерное предприятие в тех же заводских корпусах, стал кочегарить в котельной, построенной предприятием вместе с тремя домами (сначала уголь шуровал, потом перешли на газ), с тех пор стал мерять время отопительными сезонами. Начиная с осени этот сезон — начиналась и моя как бы нормальная, упорядоченная жизнь. Знал график работы — сутки попотел и трое гуляй, и, главное, было время читать и писать. А потом, когда дома подключили к районной котельной, а нашу котельную вместе с домами передали жэку (передали и меня) и в насосной оборудовали центральный тепловой пункт, ЦТП, и я стал дежурным слесарем, тогда сделалось еще легче. А вот с завершением отопительного сезона — это в первых числах мая обычно, а если весна холодная, с 9-го мая — у меня как бы почва уходила из-под ног, меня переводили на другую случайную работу, обычно в бригаду ремонтников, ремонтировали бойлеры, меняли или чистили латунные трубы в обогревателях, набивали сальники и промывали отопительную систему.

Отопление домов начиналось с первого октября.

Утром, надев свою промасленную рабочую робу, с приятным предвкушением начала привычной, удобной для меня работы я пошел в котельную.



Котельная, длинное полуподвальное строение с сильно запыленными окнами и высокой кирпичной трубой, пряталась в глубине двора за тополями, липами, оставшимися от давно снесенных окраинных деревянных домиков и укромных дворов. Котельную облепили со всех сторон самодельные гаражи, собранные из бросовой ржавой жести и старых досок, и голубятни. Летом возле котельной было тенисто, затаенно, там днем меж гаражей в диких кустах и бурьяне лазили мальчишки, томясь от давно забытых нами, взрослыми, ощущений и желаний. Туда заглядывали бродячие собаки и там, в бурьяне под кустами, отсыпались пьянчужки. После полудня к голубятням стекались парни и мужики из соседних домов, смотрели, как братья Сапоговы гоняют голубей, горячо шумели о вчерашнем футболе, большинство болело за "Спартак", или слушали очередное вранье Сергея Ивановича Колесина, охотника, рыболова, который, постоянно к вечеру хмельной, в своем жестяном гараже возился с общарпанным "Москвичом". А по ночам возле котельной густел разбойничий мрак и казалось, что там таится кто-то опасный. Котельная видна была из моего окна на пятом этаже, туда вел от дома 17 узкий заулочек между гаражами и изгородью площадки детсада.

Там были уже, забились в бытовку на втором этаже слесари-сантехники, обслуживающие двадцать обогреваемых нами домов, и мои сменщики Овчинников и Фуфаева. Не было только Чуркиной. Наверное, уволилась. Накурили, хоть топор вешай. Слесари расселись на старом продавленном диване, который приволок я со свалки возле мусорного контейнера, под диваном были спрятаны мои гаечные ключи и салыниковая набивка. Телефон был на месте, слава богу, не сперли летом, как в прошлом году. Разговаривали пополам с привычными матюками, вставляя в косноязычие почти через каждое слово "бля, бля", говорили о том о сем, житье-бытье, незапоминающемся. Я тоже говорил что-то и матерился из солидарности, хотя не любил мат. Я, окончивший литинститут, прочитавший сотню книг, не чувствовал себя белой вороной среди этих рабочих ребят, я сам был одним из них, работягой, может, даже хуже их, в том смысле, что неважно знал сантехнику, и сноровки у меня не было. Но всегда помнил, что есть во мне нечто такое, некая живинка и дар божий, что ли, что отличает меня от них, хотя осознание своего отличия носил тайно в себе, не выказывая перед ними.

Все с утра были трезвы.

Пришел Шубин Николай Иванович, наш техник-смотритель — по мнению многих ни уха ни рыла в сантехнике. Начальник жэка Мигунов, видно, был с ним на ножах. Как-то, в прошлом году, Шубин в подпитии откровенничал со мной: "Вот гад, орет на меня. Проходимец, жулик! Ничего, мы еще посмотрим!.."

Шубин был коренаст, с расплывчатым лицом без признаков мужской растительности. Говорили, что у него совсем не растет борода, но он делал вид, что чисто бреется по утрам, и любил поговорить о бритвах, о покупке лезвий. "Терпеть не могу эту электрическую жужжалку. Лезвий хороших нет, "Нева" мою щетину не берет, увидишь где-нибудь хорошее лезвие, купи и на мою долю".

Шубин привел какую-то кралю, не столько красивую, сколько цветущую, пышную, грудастую.

— Толя, — Шубин обратился ко мне, — вот Галя будет подменным, с этим делом она не знакома, покажешь ей, объяснишь что к чему.

Я подумал с досадой, что опять дали необученную, опять, как в прошлом году, мне придется пыхтеть за нее, вернее, за всех. Овчинников редко бывает трезв, Фуфаева до сих пор не знает, в какую сторону крутятся маховики задви-

жек, так что мне одному приходится следить за всем этим хозяйством, а ведь мне платят те же 75 р., теперь еще вот она.

— Ну как, все в сборе? — спросил Шубин звонким бабьим голосом. — Значит, так, запускаем пробное отопление. В Сокольническом районе топят уже как неделю, а мы из-за ремонта теплотрассы запоздали. Люди мерзнут, жалобы, звонки.

— А это у нас всегда так. Летом чешемся, а как осень — ремонт, — сказал слесарь Костя.

— О тепловом узле вспомнили, когда подключаем отопление, — не промолчал и я. — Там же все сгнило, заржавело, нужен капитальный ремонт, я же говорил вам весной.

— Я тебе что сказал: запускаем отопление, а ты мне о ремонте! — повысил голос Шубин, свирепо глянув на меня дымными глазами, и тут же улыбнулся, вернее, осклабился, показав зубы из белого металла; он ко мне относился несколько настроенно, зная, видно, что я все же окончил литинститут, писатель в некотором роде; обругать грубым словом, как, например, какую-нибудь дворничиху за плохую уборку участка, не смел, да повода я не давал, но голос иногда повышал и при этом тут же изображал улыбку; крик и улыбка — дескать, я на тебя ору, но не принимай за обиду, я же уважаю тебя. — До зимы еще целый месяц, вот и подремонтируешь, чего еще тебе делать.

— Там же регулятор расхода барахлит... грязевик надо вычистить... сальник на головной задвижке на соплях держится, сорвет неровен час, ошпарит кого-нибудь... пускатель не держится, палкой подпираем, — не унимался я.

— Этот сезон как-нибудь. В следующем году обязательно отремонтируем. А насчет пускателя — обращайся к Зубу. Ладно, поговорили? Давай, приступай!

Мы пошли вниз. Шесть кубовидных котлов в полумраке стояли холодные и сиротливые. Возле крайнего от входа котла лежала моя шуровка. Давно ли, пытаюсь поддержать огонь в трех из них, я потел целые сутки, и рубашка на мне от пота делалась просаленной вонючей коркой. Вошли в насосную, переоборудованную в центральный тепловой узел, ЦТП. В нос шибануло знакомой, почти уже родственной тухлинкой сырого подвала. Я нащупал у двери выключатель, зажегся свет. Вот они мои трубы, задвижки, манометры, термометры и два мотора. Возле пускателей еще с прошлого года лежит та самая палка. Мое рабочее место, вот здесь я зарабатываю свой кусок хлеба, ничего больше делать не умею, на завод к станку уже не вернусь, надо писать. Может, годам к пятидесяти издам книжку и выйду в писатели, может, буду прозябать здесь до самой пенсии...

Михайлыч из дома 19 и Костя занялись заглушками. Пока они разболтывали, я решил подойти к электрику Зубу и просить его, чтобы отремонтировал пускатель.

Свой закуток сбоку лестницы, ведущей вниз, Зуб соорудил из досок, фанеры года три назад. Поставил столик, притащил откуда-то старый диван с клопами и стал днеть и ночевать в котельной. Он плохо жил с женой или даже уже развелся. Не пьяница был, я ни разу не видел его пьяным, но приходила жена, худенькая забитая баба, приводила дочку и жаловалась, что Коля из своей полочки очень мало дает для прожития, иной раз ни копейки не даст. У Зуба денежки водились, он много халтурил, но по-крупному играл в карты. По вечерам в котельную к Зубу со всей округи собирались картежники с вороватыми глазами, трезвые, но возбужденные. Однажды я заглянул в закуток и ахнул, увидев на столе большую кучу смятых купюр. Зимой, когда очень холодно, картежники перебирались в квартиру вдовца Колесина, охотника, рыбакова и вруна. Знал о них и наш участковый лейтенант Васильев, захаживал даже к

ним, но уходил всегда с миром. Поговаривали, что Васильев берет у картежников "на лапу".

Зуб по ночам водил в свой закуток женщин. Сейчас к нему бегала Симка из дома 18, молодая, замужняя, красивая. Когда работала в вечерней смене, возвращаясь поздно с работы, проходила мимо своего дома и прямо в котельную, потом, удовлетворившись ласками Зуба, шмыг в свой подъезд, и под бочок к законному мужу. Так и надо ему — надо встречать жену.

Поднялся по ступенькам и дернул дверь закутка. Зуб клонился над столом, заваленным разными железками, электрическими пробками, мотками изолированных проводов и инструментов, кажется, чинил большую настольную лампу на мраморной подставке — халтурил. Лицо у него было красиво как-то не по-русски (говорил, что по матери он феодосийский грек), его обильные темно-русые волосы курчавились, как завитые. Он глянул на меня холодными, будто выточенными из серого металла глазами и, как будто, тут же забыв о моем присутствии, продолжал копаться в лампе.

— Привет! — поздоровался я.

— Чего тебе? — неприветливо произнес, не глядя на меня.

— Коля, отремонтируй пускатель, а? Сколько можно палкой подпирать.

Коля не удостоил ответом меня сразу, не потому или не только потому, что глубоко презирал меня (за что?), а была у него такая манера разговаривать: обратившись к нему по какому-нибудь поводу, он молчит минуту-две, то ли лень ему рот раскрыть, языком пошевелить, то ли подыскивает слово поглубже, поядовитее.

— Коля, — я снова к нему дружественно, мягко, — ну что будем делать с этим пускателем?

Помолчал и, скривив едкую ухмылку:

— Не знаю, что будем делать.

— Надо же отремонтировать.

— Вот и ремонтируй, — и помолчав, — пускатель этот давно надо выкрутить и выбросить, понял?

— Поставь тогда новый.

— Я тебе его рожу? — конечно, он сказал грубее, как не пишут в книгах. — Мне начальство пускатель этот не дает.

— А ты требуй.

— Тебе надо, ты и требуй.

— Я Шубину говорил, а он: скажи Зубу, он отремонтирует.

— Слушай, иди-ка ты на..! И закрой дверь с той стороны!

Странно, я даже не обиделся. Закрыл дверь закутка и вернулся в насосную. Испытывал даже некоторое облегчение после разговора с Зубом — успокоил свою совесть, чтобы не корить себя в случае, если мотор сгорит, что я ничего не делал. Да вообще, если на то пошло, мне больше всех, что ли надо?

Сняв заглушки и открыв задвижку обратной трубы, слесари разошлись по своим домам, чтобы выпустить воздух из воздухоборников. Мы, дежурные ЦТП, договорились, как будем дежурить (я заступаю сегодня, меня сменит Фуфаева, Фуфаеву Овчинников, Овчинникова новенькая), они ушли домой, в котельной остался я один.

Система заполнялась медленно — двадцать домов все же. К обеду стрелка манометра на прямой трубе поднялась до отметки четыре атмосферы. Пришел Костя и сказал, что его двадцатый дом, самый отдаленный, готов, то есть воздух вышел и система заполнена обратной холодной водой. Пришли слесари дядя Вася, Михайлыч, Васьков, не было только Немцева. Покурили, потрепались, подождали Шубина и, не дождавшись, спустились в насосную, открыли головную задвижку, запустили мотор, подставив под магнитный пускатель палку, и

я медленно стал крутить маховик задвижки на насосе. Застучал регулятор расхода, задрожали и стали на отметке пять атмосфер стрелки на манометрах. И горячая вода, идущая по теплотрассе из ТЭЦ, смешиваясь с обратной, холодной до температуры 70 градусов, пошла по батареям в дома. Начался отопительный сезон. Слесари посидели еще немного в бытовке и, убедившись, что все в порядке, разошлись по своим подвалам, где у них были мастерские. Потом пришел Шубин со своей дерматиновой папкой и спросил радостным бабьим голосом:

— Ну как, все в порядке?!

— У меня все, вроде, не знаю, как там в домах.

— Замотался, даже не побрился сегодня. — Шубин потрогал рукой щеку, гладкую, как у женщины, пухлую и желтоватую.

— Николай Иванович, что, опять я покоя не буду знать из-за этой новенькой. Ведь она ни хрена не смыслил в этом ЦТП, каждую минуту ко мне будет бегать, как эта Чуркина. Откуда ее раскопали?

— Это Мигунов оформил ее сюда. Его родственница. Поселил ее в пустующей служебной квартире в доме двадцать, как работающую в системе РЖУ, потом пропишет ее постоянно, и квартира — ее. Понял? Я живу, понимаешь, в коммуналке, десять лет очередник, у меня больной сын, а эта цаца пришла и тут же получила. Вот что делается, а! — объяснил мне Шубин. — Ты подвались к ней. Будет ломаться — пошли подальше, не помогай ей. — Шубин гнусенько осклабился.

— Что вы, Николай Иванович, это не в моем характере.

— Ну да, — не поверил он.

В это самое время в бытовку влетела злобно возбужденная женщина с багровым от прилива гневной крови лицом, я ее знал, жила в том же корпусе, что и я, на пятом этаже второго подъезда, влетела и заголосила с порога:

— Что же это вы делаете, а?! Залили мне всю комнату... весной только ремонт делала... и опять потоп устроили... когда же это кончится, а?!

— Не кричите вы. Из какого дома? — громко осадил ее Шубин.

— Из семнадцатого, из какого еще, двадцать восьмая квартира! — кричала женщина.

— Батарея, что ли, потекла?

— Какая батарея? Говорю же, с потолка хлещет!

— Может, воздухоборник? — сообразил я.

— Пойдем посмотрим.

Мы заспешили к первому корпусу. Поднялись на пятый этаж, вошли в квартиру и сунулись в маленькую, в 15 квадратных метров, как и у меня, комнату; потолок весь был в темно-серых разводах влаги, по стене, откуда был отодвинут диван, сильно текло, на диване прыгал двух-трехлетний мальчик и восторженно кричал:

— Мама, дождик, дождик!

— Это из воздухоборника, — сказал я. — Где же Немцев?

— Этот слесарь, что ли? Он же пьяный ходил. Набрали алкашей! — сказала женщина и, судорожно кривя губы, заплакала.

— Составим акт и отремонтируем, — сказал Шубин.

— Дождешься от вас!..

Мы вышли на лестничную площадку. Люк на чердак был открыт. Я вскарабкался наверх, в чердачную тьму, я знал, где воздухоборник и прямо шагнул туда. Из воздухоборника хлестала вода. Открыл Немцев кран, ведро подставил и ушел, а когда воздух вышел из системы, не закрыл, вода заполнила ведро, пошла через край и залила чердак, и просочилась в комнату. Я перекрыл кран, воду из ведра вылил в чердачное оконце и спустился вниз.

— Ну чего там? — интересовался Шубин.

— Я же сказал: воздухосборник. Открыл кран и забыл. Пьяный, наверное, валяется.

Мы спустились на улицу и вошли в подвал второго корпуса, где была мастерская Немцева. Немцев, мертвецки пьяный, растянулся на верстаке и спал, сладко посапывая, среди обрезков труб, болтов, гаек, испорченных кранов и прочей железяки.

— Вставай, алкаш несчастный! — толкнул я его.

Он что-то промывчал, но глаза не открыл. Я вдруг озлобился и ударил его, ударил еще, бил по лицу, по голове; его тонкое, беззащитное лицо актера, осталось безучастным.

— Ты что, ты что?! — опешил Шубин, взглядывая на меня осуждающе и зло. — Ты что позволяешь себе?!

— Его, скотину, убить мало!

— Ладно, не трожь его. А прогрессивку он у меня х.. получит!

Мы вышли из подвала.

— Николай Иваныч, — я обратился к Шубину, уже спокойно и даже с чувством раскаяния, что бил пьяного человека, уже жалея Немцева задним числом, но слишком уж сильно было во мне возмущение, да, вообще, я насмотрелся на этих алкашей и стал ненавидеть их. — Николай Иваныч, вот если бы это я так, вы с меня бы шкуру спустили, а ему хоть бы хрен по деревне.

— Да, с тебя спустил бы, — Шубин нехорошо ослабился, в его дымных глазах блеснуло что-то жесткое, холодное, будто всегдашний серый дым рассеялся и выглянула холодная синева. — Он больной, конченный человек, а ты же нормальный, здоровый. Да еще писатель.

— Бросьте вы, какой я писатель...

— Пишете же... — Шубин показал металл во рту.

— Это к моей работе не относится... Я бы, будь начальником, таких, как Немцев, выгнал бы взащей.

— Ну, выгоним — куда он пойдет? Человек же он. Кушать ему надо. Его выгоним — другой такой придет.

Когда дошли до угла первого корпуса, Шубин сказал:

— Ну ладно, я пойду. Если спросит кто, я в райкоме.

И зашагал по улице со своей черной дерматиновой папкой под мышкой.

Я вернулся в котельную, спутился в ЦТП. Крутился мой насос, мой кормилец, гнал горячую воду по системе, обогревая сотни квартир, и сотни людей жили-поживали в своих теплых гнездах, не зная, вернее, не думая о том, откуда в зимние холода идет в их батарейки тепло, и не ведая, что сидит где-то там в захудалой котельной некий Гайнуллин Толя, литератор-неудачник и, очень возможно, в будущем известный писатель. Гудел, завывал мотор, постукивал регулятор расхода; когда в дома идет слишком много тепла, я могу прижать головную задвижку и покрутить против часовой стрелки регулирующий винт, а если сильный мороз и северный ветер, и в моей собственной комнате, выходящей окнами на северо-запад, температура (у меня был градусник) всего 16 градусов, я крутил регулирующий винт на регуляторе расхода по часовой стрелке; иногда, жалея жильцов, особенно тех домов, которые дальше от ЦТП, я, нарушая режим и рискуя схлопотать неприятности, открывал задвижку, регулятор и гнал в дома больше тепла.

Поднялся в бытовку. Там у меня, кроме трухлявого дивана, стоял еще и колченогий канцелярский стол, давно списанный или тоже подобранный на свалке. На столе — телефон, черный, послевоенных времен, с толстым матерчатым шнуром. В прошлом году был новый, белый, но кто-то залез в форточку и унес. Посидел в одиночестве, прислушиваясь к гулу мотора, постукиванию ре-

гулятора, по этим привычным звукам, идущим сквозь вздрагивающий пол бытовки, я мог без ошибки определить, не спускаясь вниз, как работает ЦТП. Потом сходил домой, шупал батареек: мертвый чугун ожил, от него шли по комнате волны тепла, и на градуснике красная ниточка уже приближалась к отметке 18. Затем сбегал в столовку, спешно проглотил какое-то мутное хлебово, пережаренную до угольной черноты котлетку, запил невкусным компотом и вернулся в котельную. Крутился мой насос, гнал горячую воду по трубам, гудел, завывал мотор, словно напевал в полную грудь умиротворяющую песню, которая настраивала мою душу на ощущение налаженности, надежности и даже комфортности жизни, и радостно екало сердце от мысли, что вот теперь-то я каждый день смогу писать, продолжать писать давно начатую повесть о войне, и от предчувствия слова, это же понимать надо, сердце опахивало тревожным дуновением счастья...

У меня была пишущая машинка, допотопный "Рейнметалл", тяжеленный, неуклюжий, но прочный и выносливый станок для печатания скучных канцелярских бумаг. Мне его дал Саша Голубятов (он купил себе новую машинку): "На, печатай свои великие произведения, когда издашь книгу, получишь "гонорарий", купишь себе портативную, а эту выбросишь". Я научился печатать двумя пальцами, и теперь, чертыхаясь, матерясь иногда из-за опечаток и ошибок, выдалбливал из глыбы памяти о прожитой жизни свои гениальные рассказы и повести.

Вечером, когда уже никто не должен был заглядывать в котельную (Зуб не в счет, он там в своем закутке или его там нет), разве что Шубин, который мог в любое время суток нагряться — на месте ли дежурный: "Ну как, все в порядке? Ну, я пошел, смотри тут", вечером я сходил домой, поужинал чем бог послал и, захватив папку с бумагой и копиркой, пишущую машинку, початую пачку чаю, вернулся в бытовку; достал из шкафа для одежды валявшуюся еще с прошлого года электроплитку, помятый алюминиевый чайник, поставил кипятить воду и со сладостным предчувствием приближения слова заложил в машинку чистый лист писчей бумаги.

Вскипел чайник, я высыпал в кипяток полпачки чаю и, прихлебывая из стакана черное, как чифирь, пойло, приступил к работе. Писал я так. Сначала набрасывал на бумаге простым карандашом, циркал, мял, корежил фразу, рубил лишние или слабые слова, переписывал, затем перестукивал на машинке, а когда работа шла, случался какой-то прорыв в тот мир, в который я либо возвращался памятью, извлекая из-под нагромождений забытых и уже мертвых дней, месяцев, лет отпечатки человеческих лиц, обрывки голосов, слов, судороги давно отгремевшей жизни, либо воображение, фантазия рождали картины, движения никогда не существовавших, но очень похожих на воспоминания событий, лица, голоса и дорисовывали как некую реальность, мне оставалось лишь передать, перенести на бумагу видимую в воображении жизнь; чем четче, выпуклее я видел краски, блики, тени, движущиеся где-то в извилинах мозга, чем внятнее были звуки, голоса, речь, песни, вопли, тем точнее делались слова, и мне начинало казаться, что их мне диктует, напечатывает некто умнее и талантливее меня, тогда я шпарил прямо на машинку, и не было мне трудно (не знаю, почему писание рассказов считают трудом), напротив, писание казалось неким развлечением, отдыхом от жизни, удовольствием, наслаждением, и иногда думалось, что если напечатаясь и получу гонорар, наверное, будет казаться, что мне дали его ни за что.

Писал я о войне. К рассказам и повестям о войне я пришел не сразу. Ни до литинститута, ни в первые годы учебы я ничего о войне не писал и не думал, что буду писать. В те годы писались и читались какие-то бойкие книги, в

которых были штабы, генералы, лихие разведчики, мельтешащие в легкой романтической дымке, если и случались солдаты, они были герои, неунывающие, неумирающие, идущие в бой, веселя друг друга шутками-прибаутками, и обязательно среди них выделялся шутник, балагур-хохол откуда-нибудь с Полтавщины. Такой войны, таких солдат-героев я не знал, я помнил бессонные марши, отупляющую усталость, холод, голод, жажду, яростную матерщину командиров, постоянный тошнотворный страх, трупный запах и серную вонь разорвавшейся рядом с каской мины, вид крови и вывалившихся из порванного живота внутренностей, стоны умирающих, зуд на невымытом месяцами обовшивевшем теле; моя война была простая, грубая, страшная, бессюжетная, бессобытийная. Она была неинтересна для книг и никому не нужна...

В литинституте я прочитал "На западном фронте без перемен" Ремарка. Своим ходом я не дошел бы до этой книги и вовсе не знал бы о ее существовании, но начитанные ребята из нашего курса подталкивали, подгоняли меня, мол, прочти. Вот этим и, может, полезен был мне литинститут, сунул меня мордой, как щенка в молоко, в мир хорошей литературы. "На западном фронте без перемен" ошеломил меня. Книга о рядовом окопном солдате, пехтуре, о каком-то немецком парнишке Пауле, вчерашнем школьнике. Это же почти про меня, про нас, о нашем фронтовом житье-бытье, о наших страхах, надеждах, влечениях. Все это правда. Вот так бы надо писать о войне... Но о нашей войне, о победителях, так писать нельзя. Ведь этот Ремарк — писатель буржуазный или, может, мелкобуржуазный, он пишет о войне бессмысленной, не нужной никому, кроме тех, кто ее развязал, он пишет о солдатах побежденной армии, о потерянном поколении (прочитал об этом в предисловии), так писать о войне — это же пацифизм, так писать о нас, о солдатах, освободивших мир от фашизма, разве допустимо?

Потом прочитал повести Василя Быкова, Константина Воробьева и — обалдел, узнав в них пронзительную правду переднего края, ближнего боя. Сам ведь я знал только ближний бой. Значит, сообразил я, можно писать и об этом, писать всю правду, увиденную глазами восемнадцатилетнего рядового солдата.

И написал рассказ о войне, об атаке. Руководитель нашего семинара Валерия Герасимова, прочитав рассказ, сказала, что если я буду писать такие рассказы, никогда не стану писателем. Я возразил, что, мол, все это чистая правда. Она ответила, что литература выше правды. Я не понял, а переспросить постеснялся.

И вот как раз в это время критики подняли злобный хай о военных повестях Быкова и Бакланова — о Воробьеве почему-то молчали, как будто повести "Убиты под Москвой" вовсе не было. Нет масштабности видения войны... идейно-эстетические просчеты... окопная правда... кочка зрения... дегероизация... не войны, а рефлектирующие хлюпки... буржуазный пацифизм... ремаркизм и так далее, и так далее.

Но я продолжал писать свои солдатские рассказы и повести. Я понял, что по-настоящему стали получаться у меня, так мне казалось, именно мои солдатские рассказы. И зная, что все равно возвращут, но где-то в глубине, в тайниках сознания рассчитывая на внезапное везение, на чудо, я носил свои опусы по журналам. Через месяц-два мне их возвращали с разгромными рецензиями. Чего только я не читал в этих рецензиях о своих писаниях. Особенно часто обвиняли меня в ремаркизме. Про себя я даже гордился, что сравнивают меня с Ремарком и находят во мне что-то от Ремарка.

Получив очередной разгромный отказ, я несколько дней ходил как в воду опущенный, потом проходило, появлялась какая-то веселая злость, и я снова посылал или приносил свой рассказ в редакцию. Так я за все эти годы не напечатал ни одной строчки, но продолжал писать свою окопную, кровавую солдат-

скую правду. И теперь вот сидел в котельной и писал повесть о том, как мы — я уже был в кавалерии после госпиталя — шли с боями по Германии, как окружили Кенигсберг, вышли к Балтике и, обойдя Берлин, ринулись к Эльбе. Писал, казалось, напропалую, всю правду, но всю ли?.. Я часто натыкался на такую правду, которая пугала меня самого, того редактора, который сидел во мне. Но этого, внутреннего, я как-то еще осилю, уговорю, а тот редактор, который сидит там в редакции, за столом — как быть с ним? Ведь думая, что меня все равно не пустят в литературу, никогда не напечатают, я немного лукавил, я знал в глубине души, в той ее подпольной, тайной даже иногда для самого себя половине, что все равно понесу, понесу, казалось, без никакой надежды, но тут тоже лукавство — надежда, вернее, надежда-мечта все же была во мне. Ну, допустим, я даже прошел этого редактора, очаровал своим талантом, правдой, но ведь есть еще цензура, которой, правда, вроде бы, нет или неопределенно называется Главлитом или просто "литом". Кто-то сказал мне, что "лит" сидит в издательстве на самом верхнем этаже, ни с кем из сотрудников не общается, кроме, конечно, главного, и никто даже не знает его в лицо, что он, могущественный, связан только с самой верхушкой идеологической пирамиды. Когда силится представить его живым человеком, видел только руку его, бледную, костлявую, никогда не державшую гаечный ключ, руку с чистыми ногтями и остро заточенный красный карандаш в ней.

Зная о нем, разве я мог писать, к примеру, о том, как мы, когда ворвались в Алленштайн, первый немецкий город после перехода границы, мы с какой-то веселой мстительностью стали поджигать дома и забрасывали подвалы домов гранатами, решив, что там фрицы прячутся. Я как-то из любопытства сунулся в один подвал: на кучах перин, тряпья сидели, лежали женщины, дети, старики, они не кричали, не плакали, не молили о пощаде, а только смотрели и смотрели на меня округлившимися от ужаса и странно светящимися в полутьме глазами...

Или о том, как человек пятнадцать солдат, в ватниках, кирзачах, при оружии, выстроились в очередь к одной немке. Недалеко шел бой, рвались за древней снаряды, горели дома, а у двери дома, охваченные мужской похотью, стояли солдаты. Один выходил с гнусной ухмылочкой на раскрасневшейся роже, застегивая штаны, входил другой. Когда бедная немка, молодая женщина, пропустила всех, обессилевшая, молча, уползла на карачках в подвал под домом. И тогда, двадцать пять лет назад, это показалось мне невыносимой дикостью, а теперь больно об этом вспоминать. Хотя, с другой стороны, вроде бы, и можно понять этих солдат, ведь они четыре года не знали женщины, видели рядом лишь ту, костлявую, что с косой, четыре года молодости спали в обнимку с карабином. Они только что перешли границу и вот дорвались до случайно подвернувшейся и насмерть перепуганной женщины врага. Как написать об этом? Конечно, я не напишу, хотя и все это было, было с нашими солдатами, в общем-то, наверное, хорошими ребятами, это же я видел, это же правда...

А вот о хуторе, о том, как мы подожгли хутор, пожалуй, можно и писать, хотя, конечно, тоже на полях рукописи с этим эпизодом цензор (до цензора, скорее, не дойдет) или редактор поставит жирный знак минус.

...После изнурительного дневного перехода вослед отступающим немецким частям наш эскадрон расположился на одном стоявшем у проселочной дороги одиноком хуторке. Дом под черепицей, кирпичный хлев с чердаком, набитым сеном, единственная черно-белая корова в хлеву — все это по сравнению с некоторыми зажиточными немецкими подворьями и помещицкими фольварками глядело бедно, запущенно. Хозяйствовали на хуторе немолодая, наверное, лет под сорок немка, видно, вдова солдатская, и ее дочь лет восемнадцати. Мне нравились немецкие хутора и небольшие деревушки. Крестьянская жизнь везде



одинакова, крестьянское подворье везде на земле пахнет знакомо, родственно: коровой, навозом. Хозяйка с чужеземным, но по-крестьянски простым лицом и наработанными руками, как и у любой русской деревенской бабы, пытаясь казаться радушной, напрягала на губах улыбку, но я-то понимал, что ей страшно, тревожно — майн гот, русские солдаты, большевики у меня на хуторе! Дочь ее тоже была какая-то по-деревенски простенькая, яснолицая, носила длинные русые косы, я с ней столкнулся как-то, улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, так хорошо, застенчиво; нам обоим было восемнадцать, мы без слов поняли друг друга, мы были интересны друг другу, и она не боялась маленького чернявого русского солдата, я сказал ей "гут, гут", и она беззвучно засмеялась, показав сладкие зубы, и ушла в дом. И я уже успел по уши влюбиться в нее.

Потом я случайно подслушал разговор нашего повара Крайнова с Ивановым. Повар этот, парень лет двадцати пяти, был бельмаст на правый глаз (кто знает, может, повредил глаз нарочно, чтобы не попасть на войну, его все-таки призвали, но ведь не на передовую, а к кухне приставили), был он жесток к немцам и груб с нами, я видел, как он однажды вывел безрукого немца за коровник и застрелил ни за что ни про что, я его ненавидел и боялся. Его приятель Иванов носил на груди орден Красной Звезды, был очень горд этим и слыл сорвиголовой, на его выходки наш взводный старший лейтенант Ковширин почему-то смотрел сквозь пальцы и даже, кажется, поощрял втихую. Так вот Иванов подошел к Крайнову и: "Слушай, девку видел? Давай, пока не спряталась". Нет, я не был лучше этих ребят, я не был добреньким и неспособным на то, что они задумали; будь это в другом месте, с другой женщиной, я тоже, опытный кровавым дурманом войны и подлой властью над побежденным чужеземным человеком, стал бы участником гнусного насилия, но здесь, на хуторе, девушка мне улыбнулась так хорошо, так чисто, что я успел влюбиться в нее, как только может влюбиться восемнадцатилетний, еще даже на войне не огрубевший душой юнец. И не хотел, чтобы над моей девушкой глумились этот бельмастый и шпана Иванов. Я подошел к хозяйке, которая зачем-то вышла на двор, и сказал ей на немислимой тарабарщине: "Русишь солдат них гут, дайне медхен вег". Дескать, русский солдат нехороший, твоя дочь пусть бежит. Неподалеку стоял Кузькин, новичок 26-го года рождения, который пришел к шапочному разбору, пороха как следует не нюхал еще и теперь подхалимисто напрашивался в друзья к Иванову. Я думал, что он по-немецки ни уха ни рыла, а он смекнул что к чему и тут же доложил Иванову. Тот бросился в дом, а там моей девушки след простыл. "Где твоя медхен?" Немка блее бумаги. "Найн, найн". Иванов пошарил по дому, потом разъяренно напустился на меня: "Ах ты, падла! Немцам нас продаешь!" И подошел к старшему лейтенанту: "Товарищ старший лейтенант, вот этот Гайнуллин говорил немке, что русские солдаты нехорошие". Действительно, выходило, что я предаю своих, навожу на них клевету, но ведь я так ляпнул такое лишь потому, что не умел толком сказать по-немецки, мол, пусть девушка спрячется, а то тут у нас есть один нехороший солдат. Старший лейтенант очень выразительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Кто знает, что было бы со мной, если бы война уже не шла к концу или старший лейтенант оказался подлее и доложил о моем "русишь солдат них гут" особому отделу... Молодая немка больше не появлялась на хуторе, а повар Крайнов во время обеда плеснул в мой котелок одну жижу без мяса да взглянул на меня единственным глазом так, что я понял...

Наутро, позавтракав и покормив коней, эскадрон двинулся в путь. Вели лошадей в поводу. Я думал о молодой немке. Прощай русокосяя девушка врага, я больше никогда тебя не увижу, но буду помнить. Не успели отойти от хутора, хвост колонны еще изгибался, как Иванов, передав своего коня Кузькину, напрямик побежал назад. Подбежав к хлеву, вскарабкался по лесенке на сеновал и

через минуту, спустившись наземь, бросился вдогон колонне. Он еще и не догнал взвод, как над кровлей хлева закурился дымок, затем полыхнуло пламя. Иванов удовлетворенно улыбался, поглядывая на занимающийся пожар, как будто не сарай крестьянский поджег, а костерик разжег на пустыре и ему, мальчишке, было это очень занятно. Пламя взметнулось выше, клубы черного дыма встали в поднебесье. И как всегда при виде пожара, тронуло душу странное возбуждение. Я видел, понимал, хотя и, наверное, был не умнее этого Иванова, понимал, что совершилась ничем не оправданная жестокость; ведь мы только что этим сеном кормили наших коней, ночевали в доме хозяйки; пусть она немка, женщина врага, но ведь она крестьянка, к тому же солдатская вдова, лицо у нее иссушено до черноты полевым ветром и заботами, руки у нее в мозолях. Каково ей вести хозяйство без мужика, накосить сено для своей коровенки — успела ли она выгнать скотину из хлева? — своим крестьянским сознанием я все это понимал и жалел немку, жалел девушку. Иванов поджег, конечно, хлев не только потому, что ненавидел немцев, он отомстил хозяйке хутора за то, что та спрятала свою дочь, и, выходит, и мне отомстил: вот видишь, предатель, что я сделал с твоими немками. Я понимал, переживал, но молчал, молчали и остальные, среди которых тоже, наверное, кто-то жалел немку.

Не молчал, возмущался только наш помкомвзвода старший сержант Морозов.

— Зачем ты это сделал?! — корил он Иванова. — Ну, вот скажи ты мне, зачем поджег сарай?! Мы же Красная Армия, неужели не понятно?! Дикость какая-то! Товарищ старший лейтенант, что же это такое?

Старший лейтенант Ковширин, шагая во главе взвода (коня его вел коновод), привычно постегивал плеткой по голенищу сапога, лицо его, сухое, жесткое, с шрамом на щеке, было невозмутимо, он, кажется, даже улыбался, скривив уголок тонкогубого рта, весь его вид говорил о том, что в нем нет ни капли жалости ни к крестьянскому подворью, ни к немке-крестьянке, что он не только одобряет поджог, но и приятно возбужден тревожным видом пламени и огромного клуба черного дыма. Так и надо им! — как будто думал он.

Когда я обдумывал этот эпизод, когда писал, меня сильно искушал внутренний редактор и, разумеется, с оглядкой на того воображаемого редактора, сидящего где-то там в прокуренных недрах редакции какого-нибудь журнала, нацелившегося острием своего карандаша на каждую мою строчку. Этот эпизод, эту правду из своей памяти я должен был изменить или, как пишут образованные люди, трансформировать, художественно осмыслить и написать не о факте, а, как нас учили, написать ту самую художественную правду. По этой художественной правде, которая, как считалось, выше жизненной, выше самой жизни, наш взводный, старший лейтенант, офицер Красной Армии, не должен был допускать поджог сарая, он должен был заметить, как Иванов, вынув спички или трофейную зажигалку, метнулся к сараю, окрикнуть: "Отставить!" Или после того, как Иванов все же поджег хлев, должен был напустить на него со своим командирским гневом и наказать Иванова. Но ведь в жизни этого не было. Хлев горел, лейтенант улыбался, а возмущался и сокрушался только помкомвзвода Морозов, деревенский человек, бывший колхозный комбайнер, Ковширин, учитель по гражданской профессии, стало быть, человек образованный, остался равнодушен к пожару и как будто молча одобрял его. Что он так был ожесточен войной, так люто ненавидел немцев? Или, может, в нем, двадцатичетырехлетнем, еще совсем молодом, ну, на три, четыре года постарше многих своих подчиненных, в нем было какое-то извращенно-романтическое восприятие войны: мы, гвардейцы-кавалеристы, казаки, непобедимые, беспощадные к врагу, круша на своем пути немецкое сопротивление, идем по герман-

ской земле; я, железный парень, офицер гвардии, иду со своим взводом, а вокруг полыхают пожары, горит, сгорает земля вражеская...

Так что написать в угоду редакторам — внутреннему и тому, что в редакции, в издательстве — я не смог, не хватило талантишка, а если честно, как часто у меня бывало, написал правду назло редакторам, наперекор редакторам и, допустим, критикам. И в пику Главлиту, хотя и знал, что мои писания никогда не доберутся до стола этого таинственного лита. А если вдруг: "Талантливо, будем печатать"? Тогда редактор так пройдетя по моей рукописи, что от этого эпизода и следа не останется. Да лучше уж редактор, чем я сам.

Написав эпизод и перечитав написанное и удовлетворенный тем, что написал так, как задумал, я встал из-за стола, прислушался: насос работал, что-то постукивало, может, регулятор расхода или щитки задвижек над насосом; затем спустился вниз, в неосвещенную, глянувшую на меня утренюю гулкой тьмой котельную, вошел в освещенную насосную. По привычке перво-наперво обратил внимание на головную задвижку, она, вроде, была в порядке, на манометре до регулятора стрелка дрожала на восьмой отметке, после — пять атмосфер, градусник показывал температуру 70°, вполне соответствовало наружной температуре воздуха; подошел к насосу, пощупал мотор: горячий, но в меру; из сальника струилась вода, взял ключ, лежащий тут же, и слегка подтянул сальник, стало течь меньше. Потом поднялся наверх, стараясь не оглядываться в темное пространство котельной — я все еще по-детски боялся темноты, — и вышел на улицу. Было прохладно, гулял ветерок, шурушал мертвой листвой опадающих возле котельной тополей, небо было ясное, прозрачное до черной космической глубины, туманился Млечный путь в непостижимом свете звездной россыпи, вон созвездие Лебеда, левее Кассиопея. Я всегда глядел на звезды с чувством безысходности и бессилия — никогда не постигну их тайну, не узнаю, что там, кто там... Дома, эти людские гнездовья, стояли под ледяным небом, как темные утесы, в их кирпичных, бетонных щелях, дыша затхлостью жизненных испарений и отработанным воздухом, спали миллионы, спала половина человечества на этой ночной стороне шарика, а на другой, освещенной, охваченной судорожной жаждой жизни, пульсировала другая, бодрствующая половина. И тут и там в глубоких шахтах затаились смертоносные железные чудовища, направленные на битком набитые людьми человеческие гнездовья. Странно получалось, если вот так подумать, отбросив всякие там толкования: два скопища двуногих существ, якобы разумных, обитающих по обе стороны маленького каменного шарика, за пустынями соленых вод, как два дикаря, оказавшихся по воле судьбы на маленьком острове, притаились по обоим склонам бугра, глаз не спускают друг с друга, чтобы опередить того, кто попытается встать первым и метнуть камень... Войны начинались на исходе ночи, фашисты напали на нас на рассвете, а последняя война, надо полагать, начнется в полдень, то есть та, освещенная, бодрствующая часть человечества нажмет красную кнопку в полдень или чуть ближе к вечеру, потому что другая часть будет крепко спать полуночным или предутренним сном... Москва спала, и мне казалось, что бодрствую я один, нет, конечно, не для размышлений о двух половинах человечества и не для писания повести о той, давно отгремевшей войне, а для того, чтобы завтра тысячи людей, бредущих сейчас в немыслимых лабиринтах сновидений, встали утром в теплых комнатах... Прогрогнув, я вернулся в бытовку, заложил в машинку чистый лист бумаги, но уже не писалось, ослабло и распалось воображение, я не слышал больше слово, уставшие руки стали отстукивать какую-то невнятицу, я выдернул и порвал бумагу. Клонило ко сну. Я прилег на диван, пахнущий ветхостью и плесенью, подложив под голову старый ватник, подумал о Марине — давно ее не видел, сходить бы надо, — и задремал под усыпляющий гул мотора; иногда мотор начинал надсадно

выть и регулятор расхода стучал сильнее, я просыпался, прислушивался и снова дремал. Потом, уже под утро, вдруг проснулся от тревожного ощущения чье-то пристального взгляда. Открыл глаза и увидел крысу. Большая крыса стояла у порога и, чутко шевеля усами, глядела на меня. Она и в прошлом году заглядывала сюда, я ее не боялся, да, вообще, не боялся ни мышей, ни крыс. В детстве в морозные ночи в избе иногда мыши приходили ко мне в постель и зачем-то лазили под рубашку, я ловил их, мягких, теплых, когтисто-царапающих и отбрасывал прочь. Где же была кошка? В долгую осеннюю ночь в этой котельной, в бытовке я был не одинок, было со мной это живое загадочное существо, живущее здесь где-то в темной щели и считающее, видно, себя тут хозяином. Он принюхивался, съестным не пахло, а я хотя и лежал, но был жив, и нельзя было мне отъесть нос.

— Привет! Ну, как жизнь? — произнес я негромко.

Крыса как будто смутилась, но не убежала, а медленно, как бы с достоинством, влача свой длинный оттопыренный хвост, удалилась прочь. Я сходил вниз в насосную, вернулся и снова прилег.

В это утро я, наверное, как говорится, встал не с той ноги. Вернее сказать, был уже полдень, четверть двенадцатого — я отсыпался после суточного дежурства, было воскресенье, значит, соседи были дома, а когда они находились дома, мне всегда делалось неуютно, портилось настроение.

Соседями моими были Горшковы — Горшков Владимир Сергеевич, Горшкова Нина Васильевна и их сын подросток Сережа. Горшков, рослый мужчина примерно в моем возрасте, лысый до самого затылка, с большим красным носом и мутными синими глазами навывкате, работал в том же номерном предприятии, что и я когда-то, раньше был он начальником АХО, теперь, кажется, подвизался вахтером. Я слышал, что он после войны служил на Колыме, охранял заключенных.

Мы давно не разговаривали. Еще в том году, когда я счастливо окончил литинститут и получил эту коммунальную комнатку, я обнаружил в прихожей напротив туалета стенной шкаф или кладовку. На вешалках висели плащи, пальто и каракулевая шуба. Решив, что шкаф для общего пользования, повесил там на гвозде свое пропахшее бараком и бедностью старенькое пальтишко. Потом, придя с работы, обнаружил пальто на полу у своей двери (вешалки у меня еще не было) и напустился на соседей: "По какому праву?!" — "Чтобы моя шуба висела с вашим пальто?! Никогда!" — ответила соседка. Я попер на рожон. Горшков на меня с угрозой: "Ты смотри у меня!" — "Не пугай, не из пугливых!" — храбрился я. Соседка: "Ты знаешь, с кем разговариваешь?! Он замдиректора, а ты кто?!" Я тоже парень не промах: "Знаю, какой он заместитель. Над уборщицами и половыми тряпками!" Тут они заткнулись. С тех пор мы не здоровались, не разговаривали.

Горшкова я часто видел в дым пьяного. Однажды, еле стоя на ногах, он пытался открыть дверь сигаретой вместо ключа, иногда валялся у подъезда — он как-то доползал до двери, но подняться на пятый этаж не хватало силы и сознания — и струйка мочи от его брюк стекала по ступенькам. Я перешагивал его.

Почти ежедневно появлялись родители Горшкова. Отец, крупный мужчина предпенсионного возраста, и мать, маленькая курящая старуха с жилистыми ногами и каркающим голосом. Когда она пребывала в квартире, вся прихожая заполнялась табачным дымом.

Вышел в прихожую, юркнул в туалет, затем в ванную. Моя половая тряпка опять была выброшена на середину ванной. Их Сережка, я давно заметил, подтирался пальцами и пачкал туалет, я об этом молчал. Умылся и скорее в

свою комнату. Теперь надо было соображать насчет обеда. В будни, когда соседи на работе и в квартире шебаршила только одна бабка, приехавшая покормить внука, я чего-нибудь стряпал, ну кашу манную или просто чайник свой ставил на плиту. А сегодня рядом слышались их голоса, пьяно бубнил Горшков, пискнул Сережка, так что придется идти в столовку, вернее, в забегаловку, что через улицу напротив нашего дома, на втором этаже овощного магазина.

Забегаловка, как всегда по воскресеньям, пьяно гудела, в сизом табачном дыму, за высокими мраморными столиками, залитыми пивом, заставленными тарелками с какой-то жратвой, кружками, стаканами, кое-где и початой бутылкой, в стоячку выпивали, закусывали, трепались, матерились какие-то зачуханные и почему-то похожие друг на друга не только рожжами, но и расхристанной внешностью хмыри. Взял сосиски с тушеной капустой и какое-то мутное пошло, называемое кофе. Потом, когда уходил домой, увидел драку. Внизу, йод лестницей, дралась какие-то парни пьяные вдрызг, дрались молча, били не попадая, толкаясь, ворочаясь в тесноте. В бледном, растрепанном, с подтеками крови на разбитых губах, в порванной на груди рубахе драчуне я с трудом узнал Ардатова Гришку, нашего заводского парня, в общем-то, тихого, дружелюбного. Вмешиваться не стал, бесполезно, прошел мимо. По дороге домой возле продовольственного магазина встретил Леву Гурвица. С Левого когда-то мы жили вместе в общежитии, только в разных комнатах, он там и остался, в своей комнате, когда нас расселили по коммуналкам. Он был с Украины, лицом был красив, как хохол, говорил с легким хохляцким акцентом, произносил "вообще" или "прамо", хотя, как я узнал, был он местечковый еврей; узнал совсем недавно, евреев от русских я не отличал да, вообще, был равнодушен к национальной принадлежности человека; хотя я сам башкир, но в этом никакого особого своего отличия от других не видел. Фамилия Гурвиц ни о чем не говорила — мало ли на Руси не по-русски звучащих фамилий. Узнал я, что он еврей, когда нас расселяли по коммунальным комнатам. Нам за небольшую плату продавали нашу общежитийскую мебелишку, мне достались тумбочка, круглый стол и кровать. Так вот кастелянша общежития Клавдия Егоровна, по совместительству уборщица, почему-то не захотела оставить Лева стол и тумбочку. А Лева не отдавал. Та привела каких-то ребят, а Лева вцепился в свое добро и ни в какую. Ребята, трезвые, видно, не хотели ввязаться в скандал и ушли. Тогда Клавдия Егоровна, дородная, бойкая, насмешливая баба, сама потащила к двери тумбочку, Лева ее оттолкнул. Тут и крикнула кастелянша, уходя: "Жид, мало вас били!"

Лева окончил вечернее отделение какого-то института и работал где-то инженером ОТК, и получал 80 рублей. Мне всегда было интересно общаться с ним, он много читал, выписывал "Литературную газету". Но не все в его рассуждениях и поведении мне нравилось. О чем бы мы ни говорили, он неизбежно разговор поворачивал на экономику. Что сколько стоит, сколько стоило раньше, сколько получает рабочий, инженер у нас, сколько у них, за бугром, так и сыпал цифрами, словами "себестоимость", "розничные цены" и так далее. Я ничегошеньки не кумекал в этих вещах, все это для меня было предметом до тошноты скучным. У него была еще смешная, по моим понятиям, бухгалтерская привычка: каждой затраченной копейке вел счет, мелочно записывая в блокнотик. Не очень нравилось мне в нем еще и то, что он постоянно конфликтовал с кем-нибудь, особенно с начальством (сам рассказывал), качал права, кого-то разоблачал, кого-то защищал от несправедливости. А самого его, по его словам, вечно притесняли, шпыняли, унижали.

— Привет, Лева!

— Привет! — Он нес в руке какой-то магазинный сверток, красивое лицо его было озабочено и напряжено. — Вот видишь, в этом свертке сто сорок

грамм колбасы и десять грамм бумаги. Вот и считай: десять человек — это сто грамм, а сколько будет сто человек? То-то. Я ей говорю: недовесила. Она: "Все правильно". Я говорю: здесь бумаги на десять грамм, я не ем бумагу. Она: "Вы не на базаре". Я требую книгу жалоб. Не дают. Приходит какая-то цаца, кладет сверток на весы и говорит, что все правильно, не скандальте, покупатель, не мешайте работать. Я настаиваю. И тут вся очередь берет сторону этих торгашей. И на меня. Ну и народ же, ну и народ!

— Береги лучше нервы. Этими десятью граммами сыт не будешь.

— Вот, вот, все так рассуждают, все молчат, поэтому у нас везде бардак и обман. Дело разве в колбасе, дело в принципе.

Какое-то время шли молча, Гурвиц вроде остыл и спросил уже спокойно:

— Ну, как у тебя дела?

— Какие у меня дела...

— Ну, когда дождемся твоей книги?

Он знал, что я год назад отнес в издательство рукопись своей книжки рассказов, написанных еще в годы учебы в литинституте, всего листов на двенадцать.

— Не знаю. Скорее всего, они возвратят рукопись.

— Толя, ты просто меня удивляешь. Ты сидишь и ждешь, пока тебе возвратят. А ты сходи, узнай, звони, добивайся.

— Ничего это не даст.

— Опять ты за свое! Ничего еще не сделал, а уже препятствие заранее придумываешь, еще не умер, а хоронишь себя заживо. А я вот уверен, что книгу тебе напечатают.

— Откуда такая уверенность?

— Потому что ты нацмен. Нерусским сейчас идут навстречу. Национальная политика.

— Ну-у, ерунда. Никогда никакого предпочтение за мою национальность мне еще не делали. Может, даже наоборот. Вот ты тоже нерусский, а доктором наук или главным инженером еще не стал.

— У меня совсем другое.

— А что у тебя?

— У меня пятый пункт.

— А что это такое?

— Ну-у, Толя, если ты не знаешь, что такое пятый пункт, мне не интересно с тобой разговаривать.

Мы уже подходили к моему подъезду, Лева зашагал дальше к себе, я вошел в свой подъезд, остро пахнувший мочой — какие-то скоты устроили там общественную уборную, в углу проступал беловатый налет соли. Заглянул в почтовый ящик, из которого я никогда никаких писем не вынимал, мне никто не писал, газеты я покупал в киоске, заглянул с сокровенной надеждой: вдруг что-нибудь из издательства. В ящичке было пусто, лежал только давно кем-то брошенный окурочок.

Вернувшись в комнату, заложил в машинку чистый лист бумаги, сел за свой круглый стол и сидел так некоторое время, пытаюсь собраться с мыслями, завести себя, настроить на писанину и ловить слова, которые как бы диктовал мне тот, кто умнее и талантливее меня. Но после ночного дежурства и сна урывками это было непросто. Раньше, когда я писал лирические рассказы о деревне, о природе, наугад раскрывал том Чехова и прочитывал к примеру такое: "...Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землей, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издала похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса..." Слова Чехова были для меня, как бы, камертоном, и я начинал фразу, порой даже ка-

залось, что ее напештывает мне сам Чехов, что есть сходство между ним и мной, и это меня не смущало — ведь походить даже чуть-чуть на него — это уже большая удача. Теперь я писал о войне, надо было писать сухо, жестко и грубо. И чтобы настроиться, я прочитывал перед работой строки из Солженицына. Вот и сейчас взял с этажерки журнал "Новый мир", номер 1 за 1963 год, открыл наугад рассказ "Матренин двор" и прочитал: "...На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтобы обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:

— Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет богу молиться..."

Прочитал страницу, но настроя все не было. Не было, наверное, потому, что еще не определилась мысль, не прояснилось в воображении событие, которое я должен был облечь в слово. Я ведь пытался описать пехотную атаку, передать то, что чувствует солдат, когда поднимается из окопа и бежит к немецким окопам. Сам я не раз ходил на немецкие пулеметы, но не помнил, что испытывал, чувствовал. Было страшно — это да. Но неужели только это? Конечно, поднимал и вел приказ. Не поднимаешься — трус, и — пуля своего же командира. Было ли что-нибудь еще, кроме подчинения приказу и страха? Героический порыв, храбрость — не знаю, не помню. Или ощущение себя солдатом, силой, осознание долга, чести? И надежда, что все-таки добежишь до вражеских окопов живым? Может, это похоже на падение в пропасть? Тебя сбросили, ты лежишь, в ушах гудит ветер бездны, рвет одежду, полет твой необратим, приземление неизбежно, ужас и прощальная тоска — вот сейчас удар и смерть, но ты еще живешь в эти секунды и надеешься лихорадочно: может, это еще не конец, может, удар будет не так смертелен, может, упаду на что-нибудь мягкое и отделаюсь ушибами... Нет, это не то, совсем не то... Может, как-нибудь настроился бы на писание, стал бы ловить слова и вошел бы в работу, но тут кто-то пришел к соседям, звонок в дверь и топот ног отвлекли меня. Это пришли старики, родители Горшкова; громкий каркающий голос старухи и глухой басок отца. Потом то ли из их комнаты, то ли из кухни донеслись повышенные, ругательные голоса, кричала бабка, попеременно с ней жалующимся тоном бубнила соседка и, нудно растягивая слова, что-то пьяно мычал Горшков. Потом что-то стукнуло, грохнуло, драка, что ли, началась, или кто-то бросил, опрокинул на пол тяжелый предмет. И тут, невольно наострив уши, я услышал рыдание. Рыдал, видно, отец Горшкова, жутко, переносимо, душераздирающе, как рыдают только застигнутые горем старики. "Слезы людские, о слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой..." Господи, Аллах, Мухамет-пророк, что же это такое?! Может, мне снится все это, может, я уже умер, и это присноподия? Нет, жизнь. Задворки жизни... Бровастый человек бубнит с трибуны о наших успехах, суля нам близкое счастье. Кто-то мне сказал, что в Москве его зовут Бровеносец Потемкин. Потемкинские речи, потемкинские лозунги, потемкинский фасад. А за ним вот эта жизнь. Горь, слезы, тоска, раздраженность, неприкаянность, бедность, зависть, злоба, ненависть...

Теперь о писании и думать не могу. Я встал, подошел к окну. За окном во дворе жил мой друг старый тополь, годами, может, ровесник мне. Живое дерево, от которого людям нет никакого вреда, только одна польза. Я любил его и, когда мне делалось тоскливо, неуютно, подходил к окну и долго глядел на своего друга. Если бы у него были какие-нибудь чуткие органы, воспринимающие человека на расстоянии, тополь тоже, возможно, почувствовал бы мой взгляд и радовался бы моей любви к нему. Весной, когда опадали рыжеватые сережки и проклеивались смолстые листья, тополь посылал в мое раскрытое к весеннему дню окно свое смолстоедыхание. Летом он стоял в густой, чисто-

зеленой листве, иногда так тихо, что ни один лист не шелохнется, иногда залетал во двор ветер и начинал ерошить и качать листву, тополь будто сердился и ропотно шумел. В конце июня он начинал сорить сероватым пухом, пушинки залетали в мою комнату, кружились и, щекоча нежно, как шерсть котенка, садились на мое лицо. Сейчас он стоял желтый, светлый, наполовину облетевший, скоро совсем оголится, и я, перестав его замечать, сквозь его голые ветви-скелеты, буду разглядывать окна противоположного дома и захламленные балконы. Но однажды, в дни февральской сырой оттепели, тополь покроется мохнатым инеем, словно зацветет белыми цветами, и я снова замечу его и подумаю, что весна уже не за горами, что не так уже далеко до клейких листьев, одуванчиков, майского душистого грозового ливня, и весной я, может, однажды отправлюсь на вокзал, сяду в зеленый вагон и укачу куда-нибудь далеко.

Постучали в дверь, и отчужденный голос соседки:

— Телефон.

Мы не разговаривали, не здоровались, но к телефону вызывали друг друга. Это как бы было единственным условием нашего не совсем мирного коммунального сосуществования. Да еще когда платили за свет, за газ, я клал на кухонный стол свою долю.

Телефон поставили нам два года назад. Это не всем доступное удобство общения с далеко от тебя живущим знакомым, друзьями, роскошь слышать их голоса, не выходя из своей квартиры, это удовольствие досталось мне лишь потому, что Горнков был заместителем директора, а соседка милиционершей. Номер нашего телефона дал я только двоим, Саши Голубятову и Марине. Знали мой телефон еще на работе — на случай срочного вызова.

Кто же позвонил? Саша? Я ему несколько раз звонил в сентябре — его дома не было. Марина? Но я от нее звонка никогда не ждал, просто потрепаться со мной она ни за что не позвонит. Ее звонок мог быть только потрясением, поворотом в судьбе. Когда я ей давал свой телефон, хотя она и не думала просить, я сказал ей: "Буду ждать того дня, когда ты мне позвонишь: "Толя, приходи." — "Боюсь, не дождешься", — ответила она. Тогда кто же? Наверное, с работы или, скорее, Голубятов.

Телефон стоял в прихожей напротив туалета, рядом со стенным шкафом. Взял лежащую на тумбочке черную трубку.

— Але?

— Толя, здравствуй, — приятный баритон Саши Голубятова. — Я тебя не оторвал?

— Нет, нет. Ну как живешь? Что новенького? — Я был рад ему.

— Живу по-прежнему. Слышал анекдот? Кому на Руси жить хорошо? Партийному барину, мяснику-татарину, Леониду Брежневу, остальным — по-прежнему.

— Ну, в таком случае, скорее, я живу на Руси по-прежнему, ты-то — слава богу. Только не телефонный это анекдот.

— Ну их в ж..! Если каждую мелкую сошку, вроде нас с тобой, станут подслушивать, они разорятся. Вся Москва анекдоты травит, помалкивают только те, кого действительно подслушивают. Народное творчество, так сказать.

— Народное ли? — я старался говорить негромко, соседи, притихшие, наверное, прислушивались. — Говорят, в штабе ЦРУ содержатся специальные люди, придумывающие для нас анекдоты. Некоторые анекдоты, ты знаешь, очень уж, как бы сказать, профессиональны.

— Ерунда. Конечно, их придумывают люди, может, юмористы наши, но не в ЦРУ. Да если на то пошло, от ЦРУ, по-моему, не больше вреда, чем от нашего ЦСУ.



— Саша, это не телефонный разговор. Где ты был? Я звонил тебе несколько раз.

— Скажу, не поверишь. На Камчатку слетал. Командировка, четыреста рубликов. Двенадцать часов лета, с ума сойти. Не выдержал — хорошо что полушубок с собой захватил, хлебнул коньячку из бутылки, лег на пол и полдороги проспал. Там, вообще, к концу полета лежат вповалку.

— Ну, как она, Камчатка?

— Камчатка, как Камчатка. Петропавловск город так себе. Но я в городе не засиживался. Ты же меня знаешь, я, как некоторые, от скромности не умру, иду прямо к начальству и сую ему под нос командировочное удостоверение и писательскую книжку. Писатель, да еще из самой Москвы. Никаких проблем. Летал над тайгой на вертолете, ездил на вездеходе по тундре, побывал в факториях, на стойбище оленеводов, почевал в яранге, катался на оленях. Ты когда-нибудь видел, как медведь рыбу ловит? А вот товарищ Голубятав видел. Раньше я о медведях писал по рассказам других, а тут, пожалуйста, живой мишка. Камчатский медведь — громадный зверь, но на человека никогда первым не нападает. Стоит на перекате и глядит в воду. И вдруг цап, и в лапах бьется рыба. Жрет только икру, а рыбу бросает, негодяй. Я подошел совсем близко, ну, шагов на двадцать, стоит ко мне спиной и терпеливо поджидает рыбу, на меня как будто поль внимания; пододвигаюсь еще ближе. Вдруг как повернется, как прыгнет на меня, как зарычит... Я бежать, давай бог ноги, так перетрухал, что и сказать нельзя.

— Не спосить тебе дурпой головы, сожрет тебя когда-нибудь медведь.

— Скорее всего меня бабы задушат. Был у меня там роман с одной корячкой. Русских мужиков они любят. Только опасался — там бытовой сифилис можно подцепить.

— Ключевскую сопку видел?

— Нет, где она там?

— В Долине гейзеров тоже не побывал, наверное?

— Нет.

— Ну как же ты, Саша, ездил на Камчатку, не видел ни Ключевской сопки, ни в Долине гейзеров не был?

— Может, я видел, но, наверное, внимания не обращал. Да я же редкий день бывал трезв. Да на х... мне эта Камчатка, не видел, ну и не надо.

— Зачем тогда ездил?

— Просто для куража. Четыреста рубликов на дороге не валяются. Теперь хочу съездить куда-нибудь на большое строительство.

— Тоже для куража?

— Нет. Хочу написать что-нибудь актуальное, что с хода пойдет в печать.

— Для этого одна поездка ничего не даст. Надо устроиться там на работу и минимум полгода повкалывать. Я работал на строительстве ГЭС, знаю, как сложно все это хозяйство.

— Нет, Толя, вкалывать там я не буду. Приеду, потолкаюсь неделю, узнаю, выпрошу кое-что — этого достаточно. Мне, главное, нужны кое-какие реалии, антураж, так сказать, а остальное — дело воображения и техники. Слушай, вчера я был на волосок от смерти.

— Да ну?

— Ты ведь знаешь, в правилах уличного движения я ни уха ни рыла. Права купил за деньги. Ну, бывает, нарушал, не тот поворот, не так обогнал, не та скорость. Уже два раза крыло помял. Словом, как-то выкручивался. Я тебе рассказывал, как я покупаю ГАИ? Вожу с собой свои книжки. Ну, само собой, писательский билет в кармане. Я ведь, как некоторые чересчур скромные гении, не скрываю свое писательство. Вместе с водительскими правами как будто

невзначай сую мильтоше и билет писательский. И говорю так интеллигентно, вежливо: "Вы, уж, извините, я опаздываю на писательскую конференцию. Хотите, я вам книгу свою подарю". И книгу ему с автографом. Знаешь, действует безотказно. Пожурит слегка, потом под козырек, и катись своей дорогой.

— Ну и прохиндей же ты.

— Слушай дальше. Еду вчера вечером по какой-то плохо освещенной улице; я Москву знаю хорошо, а здесь запутался. Ни одной машины. Догадываюсь — непроезжая улица. Хочу скорее проскочить. Впереди арка. Я туда. Понимаешь, только в последнюю секунду понял, что пру наперерез движению. Зазевайся чуть, проскочи эту арку на скорости, прямо врезался бы в поток машин. И такую аварию устроил бы... Извини, Толя, кто-то в дверь звонит. Ну ладно. Ты не исчезай, давай, звони. Пока.

И положил трубку.

С Сашей Голубятовым мы учились вместе в литинституте. Заочно, на разных курсах, но занимались на одном семинаре. На первом курсе ему было всего девятнадцать. Сбежав из-под опеки мамочки и двух любвеобильных бабушек, он одно лето пропадал на Волге, живя жизнью вольного бродяги в старинных волжских городах, подрабатывая на жизнь где придется, как придется и питаюсь чем бог послал. И писал рассказы о неиспорченных цивилизацией провинциальных мужиках, мудрых стариках и добреньких старушках. И, конечно, о раздольной среднерусской природе. В его рассказах было что-то чеховское и, может быть, левитановское. Он слыл у нас на семинаре самым талантливым. На втором курсе у него вышла первая книжка. Он подарил ее всему семинару с автографом. Мы умирали от зависти. Всем нам было уже около тридцати, кое-кому и под сорок, а о книге мы даже мечтать не смели. А он, несомненно, гений, в свои двадцать лет стал автором книги. Только руководитель нашего семинара Валерия Герасимова отнеслась к Саше сдержанно. Причину ее сдержанности я понял гораздо позже. Ну, бывает, можно издать книгу и в восемнадцать, а что дальше? Скудные, полудетские волжские впечатления исчерпаны, прошлое, откуда можно черпать, с гулькин нос. Это прошлое, эту собственную жизнь, еще предстоит прожить, пережить. Уход в писательство, это хождение в неизвестную пустыню, где нет ни дорог, ни колодцев, дорогу надо проложить самому, колодцы надо отрыть самому, так что не каждый выдержит. Да, ранний успех может опьянить так, что пока протрезвишься, упущены, потеряны лучшие годы прозорливой усидчивости.

Этот долговязый паренек, казавшийся тогда таким скромным, деликатным, интеллигентным, почему-то льнул ко мне, несмотря на разницу лет, поначалу говорил мне "вы", потом, переходя из курса на курс, "долбля" или хвалил друг друга на семинарах, словом, варясь в густой пене окололитературной институтской жизни, как-то сблизились, общение наше упростилось, перешли на "ты", он вырос, разница в годах уже не замечалась. После третьего курса Саша уехал в Сибирь рабочим геологической партии. Нужны были новые, необыденные впечатления, нужна была *биография*. И, вернувшись, стал писать о Сибири. В те годы сибирская тема стала модной, и многие молодые прозаики решились, что путь к большой литературе лежит через сибирскую тайгу, по сибирским рекам, по дикой тундре, и завалили редакционные столы опусами о Сибири, Севере; журналы печатали рассказы, повести о геологах, о работе поисковых партий, о буровых и так далее. Читая эти писания, почему-то думалось о Джеке Лондоне, о Клондайке. В рассказах Саши вертолеты летали над дикой тайгой, обычными были слова "каюр", "нарты", "яранга", "сопка", "голец"; наивные, как дети, и в то же время первоначально мудрые сибирские люди через каждое слово вставляли в свою речь "однако", и Сибирь эта, суровый край, где трудно, на пределе, жилось человеку, виделась романтической страной, куда

молодые люди время от времени отштраивались самоутверждаться, испытать свое мужество, мужать и переживать такие приключения, рассказывая о которых потом в уюте московских квартир, потягивая вино, покоряли сердца анемичных столичных чувих, а те, у кого прорезывался графоманский зуд, брались за перо. Сибирские писания Голубятова я не читал, вернее, брался читать и бросал на половине. Я же чувствовал, что правда тут и близко не лежала. Ему казалось, что Сибирь он открывает первым, а я считал, что открытием этой земли пусть занимаются географы, геологи, хотя все уж давно там открыто, а писатель, рискованно, как в сибирскую тайгу, должен углубляться в душу человеческую. Я осторожно намекнул ему об этом, он не понял и улыбнулся так, будто я сказал несусветную чушь.

Общаться мы продолжали и после литинститута, перезванивались, изредка встречались. Друзьями мы не стали; наверное, потому, что он все еще жил молодой жизнью, тратя себя на пустое, отдаваясь мужской похоти, пьянству, куражась и успевая при этом слетать в Сибирь и сварганить очередную повесть. Его приняли в союз. Устроив обмен, отделился от родителей, купил машину "Запорожец", которую называл "писательским броневиком", ездил в творческие командировки, отдыхал в Коктебеле, выступал перед читателями, получал читательские письма.

Как-то раз я побывал у него. Однокомнатная квартира на восьмом этаже. Книжные шкафы, письменный стол у окна, пишущая машинка, бумага, книги, широкаяхта, стена над тахтой вся оклеена цветными, видно, из контрабандных журналов, снимками полуголых или голых женщин. В ванной во всю стену не очень умело нарисована масляными красками тоже нагая, грудастая баба. "Зачем все это?" — спросил я. Ответ был известен: "Для куража".

Как всегда, после телефонного разговора с Сашей Голубятовым у меня осталось какое-то смешанное, неловкое чувство. Я был, конечно, рад ему — однокашник, единственный человек, который мне звонит. Но каждый раз от его рассказов о своей жизни, о своих похождениях, пьяных оргиях, связях со случайными женщинами, от его анекдотов я смущался, ударялся в тоску, приунывал, как если бы меня глупо разыграли или оскорбили неуважением. Мне было обидно еще и оттого, что он, позвонив, говорил только о себе и ни разу не спросил, как я поживаю, как здоровье, что пишу. Ну бог с ним, с моим здоровьем, но хотелось бы, чтобы со мной поговорили о хорошем, вернее, о литературе. Я ведь только о ней и мог говорить с удовольствием и воодушевленно. А с литературой происходило что-то неладное. Давно ли была хрущевская оттепель, в журналах печатались потрясающие повести, рассказы, критические статьи. Недавно увидел в киоске "Новый мир" без Твардовского, екнуло сердце — обложка-то прежняя — купил, начал читать какой-то роман и тут же бросил. Скучная, *правильная* жизнь, какие-то неживые, набитые словесными опилками события и картонные манекены. Идет газетная травля Солженицына, турнули его из Союза писателей; я подумывал, что, наверное, он все же не прав, закусил удила, ударился в политику, лучше бы уж сидел и писал романы. По рукам в тайных списках ходили писания каких-то диссидентов и так далее. Вот обо всем этом хотелось бы поговорить с Голубятовым. А он о своих куражах. Все равно я был рад его звонку и, наверное, по-своему любил его.

Я не выносил осенние городские вечера. Днем в своих дневных заботах, суете, переживаниях ты как будто живешь вместе с городом, вместе со всеми, а вечерами, особенно ближе к ночи, когда город накрывает промозглая тьма, в окно глядит черный суконный мрак, и едва освещенные чахлыми лампочками улицы, переулки и дворы превращаются в дикие пустынные пространства между наглухо запертыми домами, город от меня отдаляется, и в четырех стенах

комнаты, как в одиночном заточении, в душу входит ощущение жуткой заброшенности, потерянности. А ведь со всех сторон меня обступало плотно спрессованное в кирпичных, бетонных ячейках человеческое месиво. Рядом же за двумя дверями — соседи. Чуть дальше, за стенами, соседи по этажу. Внизу — соседи по подъезду. Что я знал о них? Знал только, что Горшков пьяница, его понизили в должности. На нашем этаже были еще две квартиры — однокомнатная и трехкомнатная. В однокомнатной проживала какая-то угрюмая семья, мужик с лицом язвенника, вечно хмурый, хмуры и жена, и сын тоже. Я им кивал при встрече, а они почему-то не отвечали. В трехкомнатной напротив жили три семьи. Толстая, голосистая женщина с красивым мужем и сынишкой с глуповатыми глазами, бездетные жена и муж и одинокий, вечно пьяный их сосед, который собирал утиль и тащил в квартиру всякий зловонный хлам со свалок и мусорных контейнеров. По выходным и праздникам вся квартира гудела, доносились песни "Хасбулат удалой", иногда ругань и звуки, голоса пьяной визгливой драки. Ниже этажом, прямо подо мной, жили овдовевший Колесин, охотник, рыболов, картежник, врун и его соседка; имени ее я не знал, красивая женщина в моем возрасте и без одной ноги, кажется правой ниже колена — ходила на протезе и не хромала, так что я и не подозревал об ее увечности. Мне рассказала о ней Фуфаева, которая знала все обо всех. Сказала, что женщина эта потеряла ногу на фронте, на mine подорвалась. Шли солдаты, вышли к поляне, не знали, заминирована она или нет, но предполагали, что заминирована. Никто не решился шагнуть вперед. Тогда она, санитарструктор, чтобы ободрить мужиков, приплясывая, озорую, пошла впереди, и тут грохнуло. Теперь жила одиноко, где-то работала, к ней время от времени приезжал ее фронтовой друг, казах, живал у нее неделями. Это не нравилось жене Колесина, дескать, опять приехал этот ее чучмек, прямо проходной двор, в прихожую выйти уже боишься. И вот однажды жена Колесина облаяла соседку б... хромой. Конечно, безногая женщина плакала, может, в слезах и прокляла ту. То, что случилось потом с женой Колесина, меня изумило так, что я, безбожник, на какое-то мгновение готов был поверить в бога. Жена Колесина как-то вешала гардину на окно, оступилась, упала с табуретки и сломала ногу. Правую. Нога не заживала, кость не срасталась, началась болезнь, кажется, рак, ногу ампутировали, и через какое-то время женщина в муках умерла. Говорят, умирая, сказала мужу: "Это она прокляла меня, я виновата перед ней, не обижай ее".

На четвертом же этаже в однокомнатной квартире жил какой-то кандидат наук, рыжий, лысый тип лет сорока. Говорили, вернее, та же Фуфаева говорила, что он учит аспиранток, водит их к себе домой и живет с ними. Колесин, который трепался обо всем возле голубятен, рассказывал, как слышит он сквозь стену бурную жизнь соседа, как кричит женщина: "Я так не могу, я так не хочу!" Так ли все это было, я не знал, да не мое это дело, но однажды, услышав женский визг на площадке четвертого этажа, я выглянул на лестницу и увидел, как рыжий кандидат выгоняет молоденькую девушку. Он ее, растрепанную, кажется, пьяную, волок по полу и сбрасывал вниз по ступенькам. Все это он делал молча. А она надрывно кричала: "Я тебе нужна была только для этого, старый развратник, подонок!" Во втором корпусе дома номер семнадцать одну большую комнату занимал Лева Гурвиц. В том доме я знал еще несколько человек наших заводских. В доме напротив, в третьем корпусе, жила Фуфаева. И все. Дальше бескрайний неизвестный океан человеческой жизни, миллионы чужих, миллионы, которые и не подозревали о существовании какого-то Толи, слесаря из ЦТП, литератора-неудачника...

В эту осеннюю ночь я был одинок в своей комнате, тоска тошнотворной мутой закладывала грудь, и одолевали мрачные мысли. Ни семьи, ни детей, уже не за горами старость, а там — смерть. День за днем все ближе к ней, вре-

мя бежит, мчится, мельтешат, исчезают, лопаясь, как мыльные пузыри, дни, недели, не оставляя в душе ничего, ничего не происходит и не меняется вокруг, жизнь как будто остановилась, оцепенела, застыла. Иногда думается в тоске, хоть случилось бы, что ли, что-нибудь, встряхнуло бы всех, не война, конечно, не землетрясение, а что-нибудь такое, космическое, что ли, ну, к примеру, унал бы за городом метеорит, ездили бы смотреть... А если серьезно, лучше бы уж позвонила Марина, "приходи", или еще сбылась бы мечта-надежда: однажды звонок из издательства, мол, рукопись ваша одобрена, будем издавать, приходите договор заключать. И через год, это же понимать надо, выходит моя первая книжка. Я, конечно, сразу с книжкой к Марине и вручаю ей с дарственной надписью, дескать, любимой от безответно любящего автора. Может, тогда она поймет наконец — какого человека отталкивает.

Конечно, в этот неуютный осенний вечер можно было спастись от одиночества и тоски работой. Но не мог я писать вечерами дома. Я ведь весь день писал, выложился, выдохся, можно сказать; другое дело в котельной, там работал я и вечерами, почками, там я все равно на работе, там я настроен на работу, привязан и почему-то под гул мотора в насосной мне писалось легко. А дома — нет, дома вечером я переставал слышать слово. Дома вечером мне хотелось общения, разговоров, споров и, конечно, если бы это было возможно, женских взглядов и волнения... Читать? Читал я только перед сном в постели. Да читать было нечего. Перечитывал "Люди, годы, жизнь" Ильи Эренбурга, читал на ночь глядя рассказы Чехова.

Я ходил по комнате туда-сюда, из угла в угол, подходил к окну, всматривался в уличную темь. Сквозь опавший тополь желтели окна дома, где жила Фуфаева. Правее, прямо под моим окном, стоял угол второго корпуса. Слева, из-за голых деревьев на детской площадке, за голубятнями, светилось окно котельной. Сегодня дежурила там эта повенькая. Я пощупал батарейку, она была горячая, значит, крутится мой мотор. Дальше котельной, за ее высокой трубой, дома сливались в одну темную массу с угластными очертаниями и рубчатými крышами. И роились окна, желтые, оранжевые, некоторые почему-то ярко-красные или голубые; тысячи окон, созвездие окон, чем дальше, тем мельче, а там, вддали, только светлые точки — галактика. Свет между далекими звездами в космической беспредельности, которые, кажется, светятся совсем рядом, проходят тысячелетия, а расстояние между светящимися рядом окнами, в которых ютится жизнь, души людские не преодолевают никогда.

Иногда я переводил взгляд на окно четвертого этажа второго корпуса, угол которого высился перед моим окном. На окне не было гардин, белые занавески были только до половины окна, и поверх их комната была как на ладони: тахта у левой стены, коврик над тахтой, у другой стены, напротив окна, шифоньер с зеркалом. Там жили муж и жена, мужу, видно, около тридцати, жена моложе. Частенько, подойдя к окну, я с невольным любопытством подсматривал чужую интимную жизнь. Они, видно, и не подозревали о существовании некоего наблюдателя, считая, что от окна на четвертом этаже их заслоняет занавесочка, а, занятые друг другом, вверх не заглядывали. Или, может, знали и махнули рукой. Чувствуя себя виноватым и подленьким, я особенно не торчал в окне, глядел минуту-две и отходил. Вот и сейчас перевел взгляд вниз и увидел их любовные игры. Она, нагая, с распущенными светло-русыми волосами, ходила по комнате, стояла, поворачивалась то передом, то спиной, а он, тоже голый, сидел на тахте и глядел на женщину. Потом он встал, они подошли к зеркалу и, стоя, стали обниматься и целоваться, косясь при этом на свои голые отражения. Это длилось долго — они никогда не торопились совершить то, ради чего обнимались, они растягивали страсть, продлевали сладость влечения. Я отошел от окна, а когда подошел снова, они лежали на тахте, целовались, гла-

дили друг друга и касались руками. Я, чувствуя себя мерзким, отошел от окна, потом снова подошел. Теперь они совершали то, к чему долго готовились. И здесь они не торопились, я знал, что они будут менять позы, я раньше и не подозревал, что близость с женщиной может происходить в разных, порой немислимых позах тела. У меня началось возбуждение, заколотилось сердце, не в силах вынести все это, я отпрянул прочь от окна. Мне ведь было всего сорок с хвостиком, я еще был нормальным мужчиной, и вот в эту тоскливую осеннюю ночь у меня не было женщины рядом. Я подглядывал невольно чужое счастье, завидовал чужому счастью. И чужой свободе. Ведь они, эти двое в комнате, на этой тахте были самыми свободными людьми на свете. Свободные от свинцового ока власти, писаных и неписаных правил, железобетонных догм идеологии, притворства, лицемерия, социальной маски, от КГБ, от милиции, они просто свободные, природно нагие люди, слившиеся в любовных судорогах, в этом самом необходимом и нормальном проявлении силы жизни. Быть может, человек в этом только и свободен. Там, где человек лишается этой свободы, лишается, наверное, всего. Завтра утром я увижу, как они, эти двое, интеллигентного вида мужчина в очках и красивая молодая женщина, неплохо одетые, серьезные, торопящиеся, выйдут из своего подъезда. Выйдут, уже нацепив на лица маску общественного человека, да еще человека улицы, толпы, входя в роль кого-то, может, инженеров, чиновников, научных сотрудников, выйдут застегнутые, подтянутые, уже в упряжке, в вожжах, готовые играть предназначенные им судьбой и обстоятельствами роли, готовые притворяться и даже лгать, лицемерить. А к вечеру вновь вернуться к самому себе, в свою никем не ограниченную свободу. У меня не было и этой свободы, ведь одиночество — это не свобода.

И я, одолев в себе низкое возбуждение (окно на четвертом этаже соседнего дома уже погасло), стал думать о женщине любимой, о Марине. И мне непереносимо захотелось увидеть ее, услышать ее голос, глядеть неотрывно на ее как бы светящееся лицо и вдыхать дым ее сигареты (она всегда закуривала, когда я приходил), смешанный с ее дыханием. А что, если сейчас же идти к ней, ведь давно я у нее не бывал, преодолевал свое желание, потому что чувствовал, что она недовольна, когда я захожу часто, или так казалось мне. Пойду, решил я, она, наверное, еще не спит, она ложится поздно. Надел свое пальтишко, нахлобучил кепчонку, поднял воротник — я любил ходить с поднятым воротником пальто, это было у меня от прошлого, молодого ощущения жизни, вернее, от тех литинститутских времен, когда я однажды увидел знаменитого поэта с поднятым воротником. Выйдя из подъезда, чуть не наступил в темноте на лежащее на ступеньках тело, то ли мертвое, то ли еще живое. Присмотрелся: сосед Горшков. Мертвецки пьяный. Как всегда, дополз до ступенек подъезда, а подняться к себе не хватило силенок. Если не поднять, замерзнет как пить дать. Хотя и сосед, но ведь живая душа. Потормошил:

— Владимир Сергеевич, вставайте, замерзнете ведь.

Не шелохнулся — отключился. Надо сказать соседке. Поднялся обратно на свой этаж, вошел в прихожую, постучался в дверь соседки.

— Кто там? — выглянула из двери, лицо густо намазано кремом, взгляд недоуменно-враждебный.

— Нина Васильевна, там внизу ваш муж лежит пьяный.

— Пусть лежит.

— Он же замерзнет.

— Пусть замерзнет, какое вам дело! — и хлоп дверью.

Ну и ну! Если такое говорит о муже, дело, видно, у них зашло далеко. Спустился вниз, взял Горшкова под мышки, а тяжелый, паразит, еле оторвал

от земли и поволок по ступенькам, он что-то мычал, втащил в подъезд, прислонил к теплой батарее, нахлобучил на его лысую голову шапку и ушел.

Марина жила недалеко от меня, на соседней улице. Надо было пройти немного по Бойцовой, повернуть на пересекающий мою улицу бульвар Рокоссовского и выйти на Открытое шоссе. Можно сказать, она была моей соседкой. Это ведь тоже игра или прихоть, ну, скажем, судьбы, неожиданность, непредсказуемость ее поворотов. Разве мог я предвидеть, что женщина, которую я много лет назад любил на далеком отсюда Кавказе, с которой, казалось, расстался навсегда, окажется в Москве моей соседкой.

Двадцать лет назад я работал на строительстве Сочинской ГЭС, в Красной Поляне, жил в барачном поселке, где и встретил Марину, обитательницу соседнего женского общежития. И влюбился в нее, как только может влюбиться в женщину юноша, недавно вышедший из кровавого мрака войны и с восторгом входящий в свою солнечную молодую жизнь. После кино и танцулек нам с Мариной было по пути, и я по темным краснополянским улицам, где под каштанами чудились мне то лохматая папаха Казбича, то горячие глаза аб-река Зелимхана, провожал девушку до крыльца. Я уже считал ее своей девушкой и даже допускал мальчишески наивную мысль, что, наверное, она тоже любит меня, хотя, скорее, я был для нее просто удобным ночным попутчиком или держала она меня при себе для того, чтобы другие не приставали к ней. Потом появился этот Бакалинский, москвич, инженер, прикомандированный на строительство для монтажа какой-то автоматики. Вечерами ошивался в поселковом клубе, высмотрел среди тусклых краснополянских девушек красивую Марину и стал "прикалываться", увязывался провожать ее третьим-лишним. Арапа заправлял, пускал остроты, как мыльные пузыри, говорил о каком-то Оскаре Уайльде, о том, что сказал Бернард Шоу (тогда этих писателей я еще не знал). Нажимал на то, что *руководит*. Марина была в восторге от москвича, а я, олух краснополянский, завял, ушел в тень со своими солдатскими остротами и уже себя стал чувствовать третьим-лишним. А когда я работал в вечернюю смену, Марину москвич провожал один и, конечно, охмурил всю. И охмурил-таки. После очередной тоскливой недели, когда я вечерами торчал в ОГМе за станком, вдруг узнал, что они поженились и сняли в поселке комнату. Мне хотелось умереть, я напивался и пьяный плакал. Прожив два месяца с Мариной, москвич бросил ее, вернее, не попрощавшись даже с ней, когда она была на работе, сбежал в свою Москву. Узнав об этом, я примчался к ней и в ее маленькой комнатке, теряя рассудок от любви и надежды, стал умолять ее, чтобы она стала моей женой. Она выслушала меня спокойно и вдруг сказала так буднично: "Давай, я тебя чайком угощу. У меня есть очень вкусная колбаса". Ну, если в ответ твоим сумасшедшим признаниям в любви женщина предлагает колбасу... — это же понимать надо.

Потом, уезжая из Красной Поляны, я зашел к ней попрощаться. Она сказала, что написала Бакалинскому несколько писем, а он не отвечает. "Я тебе адрес дам, будь другом, зайди к нему и передай письмо прямо ему в руки". Я уезжал на Волгу, в город Городец, где началось строительство ГЭС, куда переехали наши мастерские, куда должны были ехать мои друзья-товарищи, мимоходом собиравшись заглянуть в Москву, повидать столицу и Красную площадь.

Бакалинского я разыскал в Сокольниках, в одноэтажной деревянной халупе. Он пробежал письмо, погрустнел, повздыхал, спросил, надолго ли я в Москву, и, узнав, что только проездом, сказал: "Чего там делать тебе в этом Городеце, дыра провинциальная, оставайся в Москве. Я тебя пропишу у себя временно, а ты устройся на завод, везде требуются станочники, и общежитие обеспечено". Так вот человек, отнявший у меня Марину, мой соперник, враг, помог

мне круто повернуть на жизненном пути, сократив расстояние к трудной цели — не останься я в Москве, вряд ли удалось бы поступить в литинститут.

Однажды зашел к Бакалинскому — изредка захаживал к нему, — а у него Марина. Стоит и улыбается. Беременная. Потом родилась Светка. И Марина, казалось, добилась своего — вырвалась из краснополянского ущелья, живет в столице, муж, дочка. Но ей, видно, этого было мало, видно, роль просто жены какого-то Бакалинского не устраивала ее. Да к тому же, Бакалинский оказался вовсе не инженером, никем не руководил, а был всего лишь электромонтером, специалистом по автоматике. Ей хотелось подняться выше по ступеням жизни, да разве могла она зря прожить красоту свою с занудой Бакалинским. Словом, когда Светка подросла, Марина поступила в какой-то техникум, на вечернее отделение. И появились у нее поклонники, завязывались романы, все с кандидатами наук да начальством, казавшимися ей, наверное, людьми высшего света. И кончилось это скандальным разводом. А когда пришло время сносить их халупу, чтобы построить на ее месте очередную пятиэтажку, они, как разведенные, получили жилплощадь в разных районах. Так Марина оказалась моей соседкой. Светка жила с отцом и бабушкой, Марина была свободна и одна в своей квартире, и я, решив, что пришло мое время, стал приходить к ней каждый день, говорил, повторял, что жить без нее не могу, просил, молил ее выйти за меня замуж. "Никогда! — отрубилла она однажды. — *Никогда!*" И я понял, что никогда.

Теперь ей было уже около сорока. Она оказалась способной и упорной. За эти годы окончила институт, потом, недавно, защитила диссертацию. У нее менялись поклонники, любовники, один из них, моложе ее, какое-то время жил с ней на правах мужа, потом куда-то исчез, последний, кажется, был бородатый доктор наук. И теперь я, не желая повторно услышать ее "никогда", больше не приставал к ней со своей любовью, хотя частенько захаживал к ней, чтобы еще и еще раз увидеть ненаглядное лицо, услышать мелодию ее голоса и подышать ароматом ее сигареты. И вот снова шел.

Что еще может быть угрюмее и неприятнее окраинной ночной улицы. Вокруг меня в теплых освещенных гнездах были тысячи людей, народ, а я одинок, как в пустыне. Между редкими пугливо-торопливыми прохожими и мной была бездна; я никогда не видел на нашей тускло освещенной улице людей, прогуливающих просто, неторопливо перед сном, их на улицу в эту пору мог бы выгнать разве что пожар. Изредка проносились машины, с воплями промчалась машина скорой помощи — кому-то в эту осеннюю ночь было плохо. Ветер вылетал из переулков, из-за углов домов, гнал по сухому асфальту мертво шуршащие листья кленов, качал фонари, тени голых деревьев метались по земле и казалось, что эта земля ходит ходуном под ногами, кружилась голова.

Дошел до угла и повернул на бульвар Рокоссовского, выходящий к Открытому шоссе, где жила Марина. Вот ведь тоже неисповедимость судьбы — Рокоссовский командовал Вторым Белорусским фронтом, а же после госпиталя воевал рядовым 5-й кавалерийской дивизии в составе Второго Белорусского фронта, участвовал в боях в Восточной Пруссии и на Одере. Он знать не знал о существовании какого-то рядового Гайнуллина, таких он тысячами посылал на немецкие пулеметы. Я уцелел и видел маршала на параде, когда встретились на Эльбе с англичанами. Рослый, сияя орденами и славой, он прошагал вдоль строя, совсем близко от меня и на углах его мягких губ была ироническая усмешка. Теперь он умер, стал бульваром, и я, бывший его солдат, подняв воротник пальто, бреду по нему...

Прошел мимо мебельного магазина, перешел Открытое шоссе и вот, наконец, ее дом, пятиэтажный, панельный. Прежде чем войти в подъезд, загля-



нул в ее окна на торце дома на первом этаже — гардины были задвинуты, но в щелке сиял яркий желтый свет. Значит, дома и не спит. Как всегда разные мысли-надежды: может, она тоже истосковалась в одиночестве и обрадуется мне... Вошел в подъезд, и уж который раз за многие годы хождения к ней от волнения заколотилось сердце. А когда подошел к двери с глазком, сердце уже разошлось всюю. Подумал, что сказать ей сразу, что-нибудь этакое шутливое и извиняющееся. "Как говорили древние греки, — нет, лучше так: — Как говорят англичане, ночной гость — в горле кость. Проходил мимо, вижу в окне свет, дай, думаю, загляну, давно не был. Ты еще не спишь?" Нажал на кнопку, за дверью продребезжал звонок, отошел чуть, встал перед глазком, чтобы она увидела и узнала мою рожу. Уловил шаги и легкий мышинный шорох в прихожей. Вот сейчас знакомо щелкнет замок, откроется дверь и высветится милое лицо. Дверь почему-то сразу не открылась. А, понятно, пошла халат накинута. Прощла минута, прошли еще несколько минут — дверь молчала. Я нажал еще, звонок продребезжал длиннее. Молчание, как будто нет дома. Но ведь я видел в окне свет, ведь дома она. Постояв, нажал еще раз, подождал и, не зная, что и подумать, вышел на улицу, прошел за угол: в щелке гардин света не было. Но не могло мне примерещиться, свет был, шаги за дверью были. Значит, не открыла. Увидела меня и, не зная, что я спачала заглянул в окно, выключила свет — пусть подумает, что ее нет. Значит, не одна... Но я уже был не тот двадцатичетырехлетний влюбленный краснополянский паренек, который, узнав, что она вышла за Бакалинского, хотел умереть, я давно привык к ее выходкам, замужествам, любовникам. Так что не очень огорчился. Только грустно сделалось. Никогда больше не приду к ней, хватит, это в последний раз, разве что, если сама позовет, думал я.

Вернувшись к себе, я залез под неопрятное холостяцкое одеяло и, как бы корчась от нестерпимой тоски, свернулся калачиком. Сна не было. Все думал о Марине, любил ее безнадежно. А она через улицу от меня спала с другим... Жизнь...

В открытую форточку моего окна проникал ночной приглушенный шум огромного города, где-то рядом, по окружной дороге, от вокзалов к вокзалам, которые казались мне отдушинами, выходами из каменного загона, куда я был загнан судьбой, обстоятельствами, проходили поезда, и в их протяжных ночных криках мне чудилось зовущее: у-е-е-дем, у-е-е-дем!

Был вечер. Нет, я не тосковал, не метался по комнате из угла в угол, не подглядывал чужую любовь, я читал взахлеб "Предварительные итоги" Трифонова. Сначала в «Литературке» я прочитал разгромную рецензию на эту повесть, затем пошел в библиотеку за журналом. Критик ругал Трифонова за то, что он, дескать, копясь в быте интеллигентствующих мещан, забыл о большой жизни, о наших великих стройках и свершениях. Если бы я прочитал о повести такое, ну, скажем, в году 53, я еще поверил бы в эту критику, только не теперь, в начале семидесятых. Повесть мне нравилась. Плотное, густое от образного языка письмо. Я не знал жизни этих интеллигентов или, как называет их критик, псевдоинтеллигентов, я был очень далек от них, но понял, что в повести их подлинная жизнь, горести, комплексы, тоска этих, в общем-то, измученных душевной неустроенностью людей. Мне радостно было оттого, что и после Твардовского в "Новом мире" печатаются такие повести; пусть ругают, клеймят, вешают какие угодно ярлыки — надо же кому-то кормиться и на этом, — лишь бы печатали. Ведь чем больше ругать будут, тем охотнее будут читать. Читая критику на повесть, я еще подумал о том, что, если бы вот я написал повесть, скажем, о жизни, которой живу сам, о задворках этой жизни, о коммуналке, о соседях, о котельной, о людях, окружающих меня, о самом земном,

бытовом, и неужели непременно я должен помнить и писать о какой-то большой жизни, которой не видно из моей котельной, которой, может, и нет. Да, летают в космосе, на Луну посылают аппараты, все это, конечно, здорово, а на земле, вокруг меня, вокруг нас варится и воняет такая низкая жизнь, от которой некогда деться...

В дверь постучали. И чужой, как бы механический голос соседки: "Телефон". С работы или Голубятов? Встал, вышел в прихожую, на тумбочке снятая трубка.

— Але?

— Толя, привет! Я тебя не оторвал? — приятный баритон Голубятова.

Я представил его там, в его квартире; телефон стоял на журнальном столике возле тахты; он, наверное, лежит сейчас, курит и пепел стряхивает в большую черную пластмассовую пепельницу; представил его тонкое, все еще юное лицо с синими от бритвы щеками, его руки с длинными пальцами и желтыми от табака ногтями.

— Привет! Ну, как дела? Наверное, выходит очередная книга?

— Нет, Толя, я гол как сокол.

— Ведь все равно не скажешь. Суеверен ты. Что-нибудь пишешь?

— Какое там писание, мучаюсь с похмелья.

— А я думал, ты приковал себя к столу и пишешь о Камчатке.

— О чем писать-то? О том, как слетал?

— Ну разве нет там проблем, хотя ты, наверное, прошел мимо.

— Не прошел. Проблем много. Спивается северный народ. Примитивная жизнь, антисанитария, молодежь кончает школу и не хочет вернуться в ярангу. Скоро некому будет пасти оленей и охотиться. Слушай камчатский анекдот. Сидит чукча на берегу Берингова пролива, смотрит в сторону Аляски и говорит: "Я не за то ругаю царя, что он Аляску продал американцам, я ругаю его за то, что он Чукотку не продал".

— Вот и напиши обо всем этом.

— Ты наивен, Толя. На днях я разговаривал с замглавного одного журнала, знаешь, что он мне сказал: ничего негативного, только положительное, и ни намек на водку, оптимизм и еще раз оптимизм. Ты сидишь там в своей котельной, не знаешь даже, что происходит на свете.

— Знаю. Тут выход один: писать в стол. Мой совет тебе: один вариант пиши для себя, в стол, и, если уж так хочется печататься, пиши другой, проходимый.

— Наивно, Толя. Неужели ты думаешь, что после нашей смерти кто-то будет рыться в наших архивах?

— Почему после смерти? Я еще надеюсь дожить до того времени, когда все это изменится.

— Не доживешь, Толя, не изменится. Идеологию они не уступят никогда. Тебе еще не ответило издательство?

— Нет. Наверное, завернут.

— Может, не завернут. Первую книгу начинающих они каждый год выпускают. Это даже им нужно. Если предложат доработать или сократить, советую, не артачься. А то до конца дней просидишь в своей котельной... Слушай, вчера опять угодил в вытрезвитель. Поддал и на Горького искал бабу, не нашел, подался на Курский вокзал; думаю, закадрю какую-нибудь вокзальную проститутку, там мне привычно, ты знаешь, когда-то я жил там рядом; понимаешь, как назло, ни одной. Зашел в буфет, добавил, вышел, вижу: цыганка стоит, молоденькая и ничего на мордашку. Я к ней и давай охмурять. Я знаю, там за вокзалом на тупике стоят пустые вагоны, туда я как-то раз затаскивал пьяную бабу, и волоку цыганку. Спротивляется, сука, шум подняла. Тут откуда-то вы-

скачил цыган, муж ее, что ли, и давай драться со мной. А мильтоша тут как тут, привели в отделение, пинка дали, по морде заехали, отобрали 45 рублей, потом так и не вернули мне этих денег, сволочи. Я когда выхожу в город под газом, писательский билет не беру, паспорта тоже не ношу, только водительские права, выдаю себя за геолога и называю адрес одного учреждения, пусть сообщает. Так, значит, ввели меня в какую-то комнату и толкнули на топчан с вонючей подушкой. И я отключился. Просыпаюсь потом, голова трещит, встал, пошел искать уборную и забрел в соседнюю комнату, там лежат бабы, ну, задержанные алкоголички разные, и поверишь, Толя, два мильтона, молодые ребята, наяривают их...

— Саша, по-моему, ты сочиняешь или тебе примерещилось спьяна, — прервал я его.

— Толя, ты когда-нибудь в милицию попадал?

— Бог миловал.

— Попал ты туда, отобрали у тебя документы — ты никто, ничто, нуль, могут тебя и избить и изнасиловать, и ты никому не пожалуешься, тебе никто не поверит, поверят им. Не покалечили тебя, не убили — благодари бога и помалкивай в тряпочку.

— Трудно во все это поверить.

— Толя, ты все еще думаешь: "Моя милиция меня бережет". Ты хоть и старше меня, воевал, и на войне, наверное, всякое повидал, но современную жизнь ты не знаешь. Я бы мог тебе рассказать такое, но щаю твою чистоту. Да, чуть не забыл. Собственно, я для этого и позвонил. Ты помнишь Валу Светозарову из нашего курса?

— Помню, а как же.

— Так вот, слушай внимательно. Она работает в журнале (Саша назвал толстый журнал), я зашел туда в отдел прозы, она там сидит, редактор. Поговорили о тебе. Пусть, говорит, зайдет, принесет что-нибудь. Если у тебя есть какой-нибудь проходимый рассказик, не мешкай. Правда, она ничего не решает, но может замолвить словечко. Напечатаешь в толстом журнале, сразу в классики выйдешь.

— Хорошо, я подумаю.

— Не раздумывай долго. Рассказать тебе еще один анекдот?

— Расскажи, но я все равно тут же забуду. Я запомнил только один — как Хрущев с раскладушкой в Мавзолей пробирался.

— Был субботник в Кремле, Ильич таскал бревна. Бревна те же, только Ильич не тот.

— Говорят, за такие анекдоты три года.

— Ерунда. Тюрьмы и без нас переполнены. Ну, ладно, пойду поищу пивка, а то голова трещит. Ну, ты давай, не исчезай, звони. А к Вале обязательно сходи. Пока.

И положил трубку.

Валя, Валентина Светозарова. Она была единственная женщина на нашем курсе. Но на другом семинаре — художественного перевода. Переводила и писала рассказы.

В те годы, вообще, женщин было мало в литинституте. Кое-кто из студентов считал это еще одним доказательством того, что за тысячелетия человеческой истории прекрасный пол не проявился ни одним художником уровня Данте, Шекспира, Толстого, потому что сие богом не отпущено прекрасному полу. На нашем курсе училось тридцать человек, все они, конечно, были гениями; где они сейчас, где их зачитанные до дыр романы? Пока еще мелькнули в общем сером потоке только двое. Женщина, пусть единственная среди двадцати девяти гениальных мужиков, влияла на нас, постоянно возбужденных от

хмельного тумана окололитературного предбанника, чуть облагораживающе, смягчающе, что ли. Спорили, ругались, хвалились мы чуть с оглядкой на нее, выбирая слова, выражения — женщина привносила в нашу гениальную ораву ощущение стыда. Был такой смешной случай. Историю СССР читал нам профессор Воеводин, добрейший старик, запущенный и равнодушный от старости к своей внешности. Все, что он бубнил с кафедр, мы могли прочитать и в учебниках, чтобы тут же забыть на всю жизнь. Умный человек, видно, все это он понимал и на экзаменах был не очень строг даже к самым безнадежным лентяям. Так вот, однажды профессор вошел в аудиторию с расстегнутой ширинкой, то ли забыл после туалета, то ли петли на его задрипанных стареньких брюках измочалились окончательно и не держали пуговиц. Хоть бы прятался за кафедру, а то ведь торчал сбоку и еще прохаживался с расстегнутым "чердаком". Многие, особенно сидящие за передними партами, видели этот конфуз, видели, конечно, глазами единственной женщины, стесняясь и за профессора, и за женщину. Не будь ее, вряд ли мы краснели бы от вида профессорских брюк. Валентина, сидящая вместе со мной, шепнула мне: "Господи, пойдй скажи ему". Не задумываясь, прилично ли это, вот темнота, я вышел из-за парты и сказал профессору негромко, чтобы он застегнул ширинку. Он юркнул за кафедру, покраснел и украдкой застегнулся.

Валентина Светозарова телом и лицом была, как говорится, женщина — все при ней. Лицо у нее, обычное русское женское лицо с мягким оттенком татарского, конечно, имело те неповторимые в других особенностях — потрясающая мудрость природы, — которые невозможно передать, наверное, даже самыми тонкими словами; и не всякий художник может поймать кистью эту единственность, этот теплый свет души, исходящий от особого сложения плоти, лица и выражения глаз. Поэтому можно только сказать, что у Вали было матово-бледное, чуть скуластое лицо, небольшие серо-синие глаза, правильный нос, нервный напряженный рот, что у нее были хорошие волосы, густые, с бронзовым отливом, они крупными кольцами вились на ее шее, закрывали уши и часть лица, это ей шло, делало ее женственно-таинственной.

В характере ее, в общем, неясном для меня, были заметны решительность, прямота, иногда грубоватость. Студент, занимающийся на одном семинаре с ней, как-то сказал во время коридорного перекура, что Валу в ее группе не любят, потому что она пряма, как штык, говорит только то, что думает. Прочитал кто-нибудь рассказ, а Валя: "Но это же бездарно" или: "Это же вторично". Что она сама писала, я не знал. Видно, ее самое тоже, как водилось у нас, долбали нещадно, но она никогда не говорила мне о своих писаниях и переводах. Так же и моими писаниями не интересовалась. Сам я не предлагал ей почитать, боясь, что услышу: "Бездарно".

Она была на несколько лет старше меня, кажется 21 года рождения, значит, тогда уже под сорок, старуха. В литинститут после 34 лет не принимали, а ей, может, как женщине сделали исключение. Мы оба воевали. Как-то она, еще на первом курсе, спросила меня: "Ты воевал?" — и сказала, что она тоже фронтовичка, была санитаркой в танковых частях. То, что мы воевали и были самые старшие на курсе, нас сближало. Мы часто разговаривали, в основном, о литературе, и в наших суждениях о книгах и писателях было много общего: злого неприятия одних, презрения к некоторым живым классикам и безоглядного восторга перед другими, вытаявшими из безвестности в годы хрущевской оттепели, мы оба восхищались военными повестями Константина Воробьева, кумиром нашим был Твардовский. Потом узнали, что оба росли в сиротстве и нищете, и у обоих у нас к жизни были особые счеты. О своей теперешней жизни она не распространялась, а я не выпытывал, не знал, где она работает, узнал только мимоходом, что у нее муж и взрослая дочь. К тому, что она замужем, я

отнесся спокойно, чтобы не сказать безразлично, потому что еще на первом курсе я понял, что между нами никак не возможны иные отношения, кроме как товарищеские, дружеские. Да общались-то мы с ней только во время весенних экзаменов и встречались изредка в дни творческих семинаров. Разговаривали по пути домой после лекций. Мы пешком шли по Горького до метро "Охотный ряд", то есть "Перспект Маркса". Иногда, разговорившись или заспорив, прежде чем разехаться (мне до Преображенки, ей куда-то в обратную сторону), мы какое-то время торчали в вестибюле станции. Говорила она низким, хрипловатым голосом, наверное, потому, что много и жадно курила. Так вот однажды после лекций шли по Горького, проходили по Советской площади, там на углу было какое-то кафе, и Валя вдруг сказала:

— Давай зайдем, посидим.

У меня, как всегда перед получкой, денег было только на батон хлеба и пятак на метро. Я сказал ей об этом.

— Ладно уж, нищий студентик, я угощаю.

Я никогда не бывал в ресторанах и кафе, не решался заглядывать в эти заведения, считая, что в них, наверное, посиживают либо богатые барыги, либо люди, достигшие в жизни престижного положения. Поэтому зашел я в это кафе на первом этаже углового дома с ощущением того, что суюсь-то ведь с посконным рылом в суконный ряд. Уютный полумрак, поблескивает позолота и лакированное дерево; на столах девственно-белые скатерти с крахмальными складками, и готовно стоят изящные графинчики, рюмки, фужеры. Официантка, полненькая, бело-розовая, в накрахмаленном кокошнике и с бездумным глазастым лицом — как золотая рыбка в таинственном сумраке аквариума. Народу было немного, сидело несколько пар, он и она или он и он, выпивали, закусывали, курили, разговаривали с таким выражением на размягченных лицах, будто додумались до какой-то приятной истины. Я все время чувствовал неловкость, мне казалось, что эти люди, те из них, кто скользнул по нас взглядом, приняли меня и Вало за любовников. Я был уверен, что в кафе с женами или просто со знакомыми женщинами не сидят. Валя заказала графин водки и какую-то закуску. Первую рюмку она выпила, по-мужски запрокинув голову, одним глотком, даже не поморщилась, даром что женщина. Я вот не мог так, протолкнуть глоток этого питья мне всегда удавалось через силу, с отвращением, хотя то состояние сладостной легкости, что подхватывало потом тело и душу, я любил.

— Лихо ты, — сказал я.

— Фронтная привычка, — ответила она.

Когда Валя так же легко опрокинула и вторую рюмку, я понял, что она пьющая, нет, не алкоголичка, боже упаси, а просто водка ей привычна и сладка. Она, как обычно бывает с пьющими женщинами, быстро и грубо опьянела. Я тоже постепенно согревался, отгаивал и окутывался сладостным хмельным туманцем, и серо-лиловую предвечернюю улицу Горького с мчащимися бесшумно машинами и спешащей по тротуару пестрой толпой я обозревал в окне, как из глубины приятного сновидения. Валя то и дело закуривала сигарету с фильтром и после двух-трех затяжек давила окурки в пепельнице. Я же, "стрелок", куривший только на перемене в дымном институтском коридоре, тоже закуривал из ее пачки. Из того застольного хмельного разговора с Валей запомнились только обрывки. Сплетничали об институте, преподавателях, о студентах, писателях, о том, к примеру, как один живой классик бросил стареющую жену и женился на молодой, вернее, она, по словам Вали, околелитературная шлюха, вечно ошивалась возле классиков и наконец переманила его к себе. О другом живом классике Валя отозвалась как о растленном типе. Промыла кости нашему однокурснику Бугрову — ужасное самомнение, считает себя гением, бороду

отрастил да еще красит в рыжий цвет, когда все знают, что волосы у него темные. Я сказал, что Бугров называет себя "чудь белоглазая", дескать, корни его идут от каких-то лесных угро-финских племен (был он костромской), а не смешались, как некоторые русские, с татарвой. Вспомнили горбатенького Калошина. Валя удивлялась: "Как его приняли в литинститут? Правда, я ничего его не читала, но, говорят, ужасно бездарен". Не оставили в покое и однокашника Винника, талантливого, но, кажется, немного "с приветом" — он писал свои романы даже во время лекций и говорил на полном серьезе, что, если бы он не считал себя гениальным, не стал бы и бумагу пачкать.

Потом, уже окончательно захмелев, заговорили о серьезном, о нашей кровавой памяти, о нашей вечной тоске. Она воевала в танковых войсках, была санитаркой, в бою ездил на танке, где же еще ей быть? В танке места для санитаров нет. "Уцеплюсь за поручни на башне и сижу. Однажды ударил снаряд прямо в танк, меня отбросило, контузило, сильно ушиблась, но без царапинки". Она жадно затягивалась, выпускала дым ноздрями и, с хмельной печалью поглядывая на меня, говорила: "Самое страшное, Толя, когда мальчишки сторают заживо! Человек горит, как сухая солома на ветру! Как шарахнет снаряд или рванет под танком мина, танкист, если он еще жив, как-то выползает из танка, но часто бывает, он уже полыхает, как факел. Особенно, если снаряд угодит в бак с горючим, да и без того комбинезон на танкисте насквозь промаслен. Зимой еще можно зарыться в сугроб, а летом, если нет рядом воды? ...Когда я первый раз видела горящего танкиста, такой мандраж хватил меня... Я ужасно орала, пыталась сбить пламя, ложилась на него и сама начала гореть..." — "А что такое мандраж?" — спросил я, интересуясь этим новым словом. — "Ну, дрожь, колотуха от страха. В словаре Даля этого слова нет... Такие славные ребята заживо сгорели, такие были хорошие мальчишки! Как вспомню — плачу!.. Ты хоть помнишь своих родителей? Я сказал, что помню. Когда умер отец от чахотки, мне было девять, мать пережила отца на два года. Сиротское, полуголодное, вшивое детство в деревне. В 15 лет уехал в город в ФЗО. С той поры никогда у меня не было ни дома, ни семьи, ни родственной помощи, ни доброго совета, и жизнь проживаю или уже прожил среди неродного мне по крови народа и говорю на языке, которого не знала моя мать. "Да, трудная была наша с тобой жизнь, но ты хоть помнишь родителей, знаешь, откуда ты родом, а я вот не помню, не знаю. Меня нашли пятимесячную на Белорусском вокзале. Запеленутая была, и в пеленке записочка: "Светозарова Валентина Васильевна". И все. Кто были мои родители, почему бросила меня мама — поди узнай. Может, привезли из голодной деревни и оставили на вокзале, дескать, прости меня, доченька, не могу я тебя прокормить, нет у меня молока в грудях, сама скоро помру с голода, подберут тебя люди добрые, может, будешь жить на свете как-нибудь. Только вот фамилия и имя? Как ты считаешь, может быть деревенская баба Светозаровой и окрестить дочь Валентиной? С другой стороны, почему бы нет. Знаешь, Толя, мне иногда думается, что я отпрыск дворянского рода. Как ты считаешь, есть во мне что-нибудь такое, ну, благородное, что ли?" — "Помоему, да". — "Спасибо. Ведь в те годы многие наши дворяне бежали от революции в эмиграцию, уезжали именно с Белорусского вокзала, тогда он, кажется, назывался Брестским. Вот и какая-нибудь молодая дворянка, некая Светозарова, бросила дочку на вокзале и, свободная, укатила в Париж. "Могла ли дворянка так поступить?" — "Могла, Толя. Революция ожесточила людей. Голод, холод, страх, отчаяние... А иногда думаю, что моя мать была бедная, обманутая каким-нибудь негодяем молоденькая девушка... Может, она еще жива, старенькая уже." — "А как жила потом?" — спросил я. — "Как? Не знаю. Стала сознать себя только в детдоме. Я не знала слово "мама", просто не понимала, что это такое. Сколько помню себя в детстве, все время была голодна и, как и

тебя, ели меня вши, постоянно водились в одежде. А потом на фронте, сам знаешь, месяцами одетая, невытая... После войны работала на заводе формовщицей в литейке." — "Случайно, не на заводе имени Маленкова на Красносельской?" — Нет. Мой завод на Шоссе Энтузиастов. Компрессорный. Тяжелая, не женская работа. Но общежитие, и зарабатывали неплохо. Была у меня подруга, Ирочка Горелова. Мать Ирочки тетя Маша для меня была как родная. Я дневала и ночевала у них. Вот только от нее я начала понимать, что такое семья, что такое мама. Но ведь мне всю жизнь не везло! Проклята, что ли, я была с самого рождения?! Но смерть почему-то всегда обходила меня стороной, можно подумать, что судьба решила помучить меня дольше. Сидели мы с Ирочкой в обеденный перерыв возле кучи формовочного песка, закусывали всухомятку и, как всегда, болтали. Я тогда уже курила, на фронте еще пристрастилась. Ну, встала и с папироской к ребятам прикурить. Тут вдруг девушки крик подняли. Что ты думаешь, Толя. На куче формовочного песка лежала чутунная опока, весом, наверное, полтонны, ну, как всегда, у нас в цехе бардак, все свалено где попало. Так вот эта опока сползла с кучи и придавила мою Ирочку. Не отойди я прикурить, обе погибли бы. Может, оно бы и к лучшему. Умерла моя Ирочка по дороге в больницу... Тетя Маша потом упрекнула меня: "Не уберегла мою дочь!" Ну что я могла? Больше не приходила к ней... Что я это все судьбу свою оплакиваю. Это у меня бывает, когда выпью. Понимаешь, во мне всегда была какая-то живинка, тяга к хорошему. Я с детства еще любила литературу, я очень много читала, писала стихи, работала и училась в вечерней школе, аттестат зрелости получила и в литинститут поступила. Ведь я сейчас по второму заходу. Поступила на заочное отделение еще в 53. Год проучилась и бросила. Дочка родилась, да, сам знаешь, коммуналка, и с матерью мужа мы не очень сошлись... Давай, еще добавим, а? Не хочешь? Ну и правильно, держись подалее от этой заразы. Так я о чем? Да. Муж мой художник. Учился в художественном, возомнил себя гением, стал писать черт знает что, под какого-то Малевича, и его выгнали. В общем, неудачник. Талант у него был, но он какой-то несобранный да еще выпивать любит. В Союз художников вряд ли его примут когда-нибудь. Чтобы вступить в Союз, нужно выставляться, кто выставит его мазню под Малевича. Но бог с ним, с этим Союзом. На жизнь и на водку себе зарабатывает, оформляет где-то в клубах, рисует плакаты, портреты отцов народа. На Сретенке в одноэтажной развалюхе его мастерская, кому-то что-то оформил, разрешили временно, помещение все равно пустует, подлежит сносу, домоуправ все грозилась выгнать, но когда Боря стал выпивать с ним, вроде оставил в покое. Там вот он и рисует свои картины, там среди своих картин, красок и кистей валяется пьяный на продавленном диване. Когда трезвый и денег нет, приползает домой, ну, что поделаешь, жалко его... Когда-нибудь зайдем мы с тобой к нему... Ты хороший парень, Толя, ты даже сам не знаешь, какой ты". — "Что ты, Валя, какой я хороший". — "Ты меня знаешь, зря я никогда человека не хвалю. Я ничего твоего не читала, но слышала: о тебе хорошо отзываются... Живем в таком мире, что легко потеряться, сломаться, спиться и сдохнуть... Береги в себе божью искру..."

Слушая Валю и вглядываясь в приоткрывшийся краешек бездны жизни этой женщины, общим сознанием я не переставал созерцать и мельтешащуюся в вечерних лиловых окнах улицу, и золотистый сумрак кафе, и себя в этом почти нереальном, хмельном тумане, наблюдая как бы вчуже, как бы со стороны. Я, некий Гайнуллин Толя, мальчишка из башкирской деревеньки, рядовой солдат, рабочий, слесарь из котельной, сидел в кафе в самом центре Москвы, на улице Горького, сидел с женщиной, которая старше и умнее меня. Если смотреть на себя оттуда, из деревни, из окопа или хотя бы из котельной — как будто это не я, и в то же время это же я, тот самый...

Потом мы в хмельном единении, не очень твердо ступая, шли вниз по Горького, она взяла меня под руку (трезвая никогда не брала), возбуждая во мне приятную чувственность. Как всегда, постояли в вестибюле станции, о чем-то поговорили и разъехались. Потом все лето я ее не видел, только осенью встретил в день семинара. Выглядела она печально, нервно курила, сказала, что, наверное, опять бросит институт, дочка заболела, да с мужем все хуже, пьет по-черному. "Если нет таланта, институт его не даст, да я уже старуха, чтобы ходить в студенточках. А ты не бросай, тебе надо учиться, знаний особых не получишь, но общение с литературным миром тебе необходимо. О тебе хорошо отзываются, я верю в тебя..."

И она надолго исчезла из моей жизни.

На Москву легла зима, мягко и нежно. Первый снег (хотя уже не первый: были мокрые, скоротечные снегопады предзимья) выпал истоиво, прочно, видно, на всю зиму; девственно чистый, пахнущий озонной свежестью, он лег на наш двор, на мой балкон, белел на карнизах и крышах домов, бугрился, сметенный дворниками, обочь тротуаров. Свежий снег, особенно, когда низкое солнце из-за домов кидало на его белизну косые негреющие лучи, зажигая мириады радужных искорок, навевал ощущение первозданности жизни и предчувствия каких-то радостных перемен, сладостных переживаний, хотелось почему-то перечитывать рассказы Чехова или послушать хорошую музыку. Я подходил к окну и из тепла своего гнезда глядел на вольный зимний холод, на снега, на голый, уснувший свой тополь, на толстых ветках которого тоже белел снег, и мне думалось написать что-нибудь о зиме, о тополе и о том, как по протоптанной в белых сугробах тропинке шла прекрасная женщина... Потом на сугробы возле тополей, кленов, на бровках тротуаров, на углах домов, на снежных бугорках гуляющие собаки оставили лимонно-желтые отметины, пушистый покров вытоптали люди, проторив быстрые тропинки, и от мусора и пыли людской жизни снег вскоре посерел и покрылся грубой коркой. Потом с юга повеяло сырой оттепелью, снег осел, в нем простунили черные хлопья саж, собачьи испражнения, под ногами на просоленных тротуарах захлопало бурое месиво, город окутался в коричневато-серый волглый сумрак, понахивающий не то карболкой, не то еще чем-то едким; низко над домами нависла чугуново-серая паволоч, и в ее ровной, недвижимой мгле невозможно было различить ни оттенков, ни очертаний облаков. Постоянный, как бы природный, как бы вселенский гул огромного города в такие дни делался более рокотным, вибрирующим и проникал в мозг предчувствием тоски. Говорили, что в такие удупливые оттепели задыхаются легочники и умирают сердечники.

В такой вот сырой слякотный денек я собирался в город. Почему в город, если я живу в городе, хотя и на окраине, вернее было бы сказать, что собрался в центр. Потому что, живя на улице Бойцовой, я никогда не ощущал вокруг себя города; да, стояли пятиэтажные дома, ходили по улице машины, автобусы, по улице наша для меня скорее была деревенской, чем городской. Я ведь помнил здесь бревенчатые дачные домики, серые заборы, калитки, садики с яблонами, сиренью, ветхие бараки, между ними лежали какие-то травяные пустыри, огородики с картошкой, одиноко высилась только в стороне Подбельского поселка краснокирпичная солдатская казарма, и на пустырях занимались солдаты или бойцы, как их тогда называли, отсюда и улица Бойцовой. Потом на месте деревянных халуп и барачков воздвигли эти пятиэтажки, которые люди окрестили хрущевскими, позднее хрущобами.

Я собрался в город, имея сразу несколько целей — последние годы я никогда не выезжал в центр без дела, просто, как говорят, пропывирнуться. Первая цель — пройтись по книжным магазинам. Из газеты я узнал, что вышла новая



книга Юрия Казакова. После прочтения первого же рассказа этот писатель стал *моим*. Я его перечитывал, как и Чехова или Бунина, в минуты тоски и неуверенности в себе перед чистым листом бумаги. Вторая цель — решил все же зайти в редакцию толстого журнала к Вале Светозаровой, захватил рассказ, который, по моим ощущениям, удался, сунул сложенную вдвое рукопись в боковой карман пальто. Третья — издательство. Там давно пропала рукопись моей книги. Если бы отклонили, тут же вернули бы. То и дело пронзала меня тревожно-радостная мысль: приняли! И рукопись пошла по инстанциям, читают, обсуждают, спорят...

На Преображенке сошел с автобуса, и людской поток понес меня вниз, в подземелье. Ноги, ноги, сапоги, ботинки, хлопающие по грязному месиву на ступеньках. Человеческая мешанина, тела, облаченные в сукно, мех, синтетику, задевающие и толкающие меня; меня обтекали чужие судьбы, чужие души, любовь, добро, зло, злора, зависть, красота и уродство, меня обтекали зияющие пустоты. Лица скользили мимо сознания, привлекали внимание только разительная некрасивость или бросающаяся в глаза красота женщины да еще богатая одежда. Лица стал разглядывать только в вагоне, скорее от нечего делать, чем от любопытства. Все лица были угрюмо озабочены, на всех лежала серая тень усталости, издерганности и нервов. Даже молодые лица были не улыбочивы и без горячего интереса к жизни. Все мы в этом вагоне были бесконечно далеки друг от друга, во всех нас затаенная неприязнь друг к другу, все мы насторожены и боимся толпы, все мы чужие. В любую минуту, будь тому повод, из-за пустяка головы наброситься на соседа как незнакомые уличные собаки. Так и случилось на какой-то остановке, как будто подтверждая мои темные ощущения. Средних лет мужчина, стоявший у двери, затолкался, помешал выходу людей из вагона; полная женщина с хозяйственной сумкой отчаянно продралась к выходу мимо мужика, зло обернулась и бросила: "Стал на выходе, идиот!" — "Иди, иди, дура!" — ответил мужчина. "Скотина!" — отпарировала женщина. Господи, какие мы!.. Так могут вести себя только очень несчастные люди...

И вот я в городе, в самом его центре. Площадь Дзержинского, Лубянка. Если не знать ничего о забрызганных невинной кровью подземельях, дом как дом, довольно красивый, правда, два нижних этажа из серого камня слишком тяжелы и угрюмы. Памятник на площади, как черный столб. Поодаль тонкая архитектура Политехнического музея. Мимолетная мысль о Маяковском. Валил мокрый снег, то ли он шел и раньше (на Бойцовой не было), то ли, пока я ехал до центра, переменялась погода. От домов, от всего окружающего было ощущение размытого графического рисунка — белое, черное, серое с желтоватым оттенком, людские лица тоже серые, одежда на них либо темная, либо тоже серая.

Обогнув Детский мир, сунулся в тесноту старых узких улочек. И вышел на Кузнецкий мост, на мою любимую улицу, тихую и урбанистически уютную. И пришло ощущение города. В молодости я пробегал по московским улицам, не заглядывая по сторонам; уткнувшись в свои мысли и переживания, больше глядел себе под ноги, словно надеялся поднять потерянный кем-то трояк. Но с годами я открыл для себя красоту старого камня и полюбил лилово-розовую дымку городских улиц. Шел сейчас по Кузнецкому мосту и, как всегда, думал: вот ведь строились эти дома в глухие царские времена, а как красивы, не ленились давние строители выложить карнизы, портики, колонны, вылепить статуи, львиные морды и украсить балконы чугушными кружевами. Разве сравнишь с улицей Бойцовой? Эти старые московские дома, выстояв в сокрушительном потоке времени, пришли к нам как памятники тем, кто строил их, кто жил в них, кто когда-то ходил мимо них по этим улицам. По этой вот брусчатке (как хорошо, что ее не покрыли асфальтом), по этим камням проходил Че-

хов, граф Толстой в крестьянском полушубке семенил вниз в сторону Неглинки, шагал, поглядывая в окна, цеголеватый сухонарый Бунин, Есенин, может, под хмельком, в цилиндре и с тросточкой пробегал мимо витрин. Мне подумалось еще о том, что если у человека есть душа, и она, бессмертная, отделившись от мертвого тела, живет вечно самостоятельной жизнью (жизнью ли), то, наверное, души Толстого, Чехова, Бунина и многих других слетаются пройтись по Кузнецкому мосту и, может быть, вокруг меня сейчас сонмы душ. "Здравствуйте, я люблю вас!" "Когда-нибудь в двадцать первом веке сюда придет и душа некоего Гайнуллина Толи, литератора-неудачника.

Заглянул в один книжный магазин — книг Юрия Казакова не было, раскупили или еще не поступили в продажу. Спросил у продавщицы — она не знала и, видно, не слыхала о таком писателе. Затем зашел в Книжную лавку писателей. На первом этаже книги Юрия Казакова тоже не было. Я знал, узнал еще в годы учебы в литинституте, что в магазине есть второй этаж, туда ведет вот та лестница, но вход только членам Союза. Так что на второй этаж мне никогда не подняться, как не подняться на Эверест или хотя бы на Эльбрус. А вот Сапа Голубятов тот поднимается запросто и покупает редкие книги. Там, конечно, есть и книга Юрия Казакова. Вышел из лавки и побрел вниз. Потом шел по Петровке (мысль о Чехове), пробирался сквозь толпу. Оттеснив случайное, мимолегное, срундовое (какая красивая женщина, неужели и она произошла от обезьяны?!), метались в голове мысли о редакции, о встрече с Валентиной Светозаровой (какая она сейчас, как встретит?), об издательстве, о том, как с рукописью, приняли или отклонили?... Пройдя по Петровке, но торговому, с притязанием на пикарность, Столешникову, я поднялся на Советскую площадь. Улица Горького подавляла своей громадой и угрюмостью тяжелых серых зданий, вибрирующим гулом и казалась не столько городской улицей, сколько широкой проезжей дорогой меж каменных утесов. Один мой знакомый, слепой драматург, сказал мне, что московские улицы он узнает по шуму, что улица Горького шумит особенно тяжело и нервно. Заглянул в книжный магазин — Юрия Казакова не было, — и, решив сперва зайти в редакцию толстого журнала, шагнул по Горького в сторону Пушкинской площади. Теперь думал только о редакции и о Вале. С каждым шагом нарастало во мне тревожное предчувствие встречи...

Когда подошел к редакции, прохватывало в груди холодком, екало сердце. Вошел в тяжелые дубовые двери. Мне показалось, что здесь, в редакционном коридоре, в отличие от прочих учреждений и контор пахнет как-то по-особенному — чем-то тревожно-щемящим, смешанным с хмельным настоем сигаретного дыма, и это воспринималось мной как будоражаще-терпкий дух той высокой литературной или окололитературной жизни, о которой я думал с благоговением и к которой приближался с трепетом. Из одной комнаты вышла женщина и, заметив мою озабоченность и волнение, спросила:

- Вы к кому?
- Я к Светозаровой.
- Третья дверь.

Подойдя к двери со стеклянной табличкой: "Светозарова В.В.", я спял шапку, вынул платок, тихонько высморкался, а то от волнения у меня начало хлопать в носу, и осторожно постучался в дверь, ответа не последовало, видно, здесь заходили без стука. Я толкнул дверь, сунулся в комнату и увидел, узнал Валью. На мгновение оторвавшись от бумаг, она скользнула по мне взглядом, но не узнала, она еще была далека от меня, в своей теперешней жизни, в своих редакционных заботах и работе, потом снова подняла лицо, все еще отсутствующее, но тут же ожившее от узнавания, сомнения, удивления.

- Здравствуй, Валя, — опередил я ее.

— Толя! Кого я вижу! Боже мой, сколько мы с тобой не виделись?!

Она привсталась, разволновалась, видно, потом села и, поглядывая на меня серо-синими глазами радостно и мягко, выпула из лежащей перед ней пачки сигарету и нервно прикурила от зажигалки. Волосы у нее были по-прежнему густы и рыжеваты, может, окрашены, так же молодежато завивались на шее, на плечах, по лицу, чуть одутловатое, было со следами прожитых лет и переживаний. Я мельком подумал, что женщина морщины на своем лице, должно быть, чувствует как липкую паутину. Я заметил еще у нее то, что раньше не замечал или не помнил — крупные желтые зубы.

— Садись, сними пальто, у нас тут жарко, — сказала она спокойно. — Ну рассказывай, как ты, где ты?

— Сажу в своей котельной, — я снял пальто, повесил и присел в кресло, видно, предназначенное для посещающих редакцию авторов.

— Пишешь? То, что не печатаешься, знаю. Был у меня тут Голубятов, кое-что рассказал о твоём житье-бытье.

— Пишу. Написал уже немало, но все такое... непроходимое.

— Чего же так? А ты пиши проходимое.

— Не умсю, не получится.

— Это хорошо, что не умеснь. Голубятов хвалил твои писания. Правда, он сам пошел не по тому пути. Человек он, конечно, способный, у него живой язык, по все, о чем он пишет, все это вторично, все уже было, было. Вот лежит его повесть, будем, наверно, давать. Более талантливые вещи отключаем, а эта пройдет.

— Почему так? — спросил я, хотя и знал, догадывался, как она ответит.

— Ты что, не знаешь обстановку? — она приподняла и опустила телефонную трубку, приглушила голос. — Идет жуткое закручивание гаск, лит нас буквально душит, каждый день эти дурацкие инструкции. Третьего дня опять замглавного на ковер вызвали. Давали мы сплохой роман, уже верстка была, выплатили автору аванс, но лит усмотрел какую-то антисоветчину и еще бог знает что, пришлось снять. Я говорю замглавного: давайте позвоюем, это же временная установка. Знаешь, что он мне сказал: "Нет, ты ошибаешься, это навсегда". Из нашего курса кого-нибудь встречаешь?

— С Голубятовым изредка перезваниваемся. Больше никого. Куда-то они все исчезли.

— У меня кое-кто мелькает. В прошлом году нагрязнул Бугров. Принес роман листов на тридцать. Внимательно прочла, но, убей меня, ничего не поняла. Сплошной сумбур. Автор просто не видит контуры своего романа, сплохой язык. Знаешь, как кончается роман: "На дворе стоял канун двадцатого съезда". Ну, подумай, канун съезда может стоять на дворе? Я ему все честно выложила, а он обиделся и хлопнул дверью. Мелькает Калопин. Он сейчас редактором в издательстве...

Резко зазвонил телефон, Валя сняла трубку: "Слушаю вас, здравствуйте", послушала что-то дребезжащее и ответила:

— Ничем не могу вас порадовать. В общем, ваше дело тухлое. Читали все, но к единому мнению не пришли. Нет, не отключили. Давайте подождем, а? Еще раз прочтем, подумаем. Звоните, ну, так через месяц. Да, да, я поняла. Ну, всех благ вам.

Пока она говорила по телефону, я подумал о горбатеньком Калопине, институтском стукаче — инь, где подвизается, — и еще раз повнимательнее поглядел на Валю — как одета. Старенькая серая визаная кофточка, падетая поверьх белой блузки, никаких украшений, всяких там брошек и кулонов. На левом запястье большие мужские часы. Бедность, небрежность или некоторая перьяпливость.

Положив трубку, она вновь вернулась ко мне, снова закурила и бодро спросила:

- Принес что-нибудь?
- Принес. Рассказ.
- О чем?
- О войне.
- О войне нам подходит. Давай сюда.

Я встал, вынул из кармана пальто свой опус и отдал Вале. Она мельком взглянула на заголовок, полистала, у меня было такое неприятное ощущение, как будто она уже сказала: бездарно; задержала внимание на последней странице, снова вернулась на первую и сказала:

- "Смерть солдата". Но "смерть" у нас не пройдет, лит не пропустит.
- Почему? Солдат и смерть всегда рядом.

— Ты кому это говоришь?! Такая вот дурацкая установка: ничего о смерти, никакого пессимизма, а о войне — только героизм. Ну, ладно, прочитаем, — она снова приподняла и опустила телефонную трубку и приглушила голос. — Договоримся так. Я прочту и, если поправится, дам завпрозы, он ничего мужик, мы с ним ладим, попрошу его быть повнимательней к твоей рукописи; если он одобрит, это половина дела; главный у нас читает только рукописи живых классиков, двух замов общими усилиями как-нибудь пройдем. Ну, а о подцензурном заголовке придется подумать. Я тебе твердо ничего не обещаю, все будет зависеть от качества рукописи, но постараюсь делать все, что в моих возможностях. Ладно?

— Спасибо, Валя, — ответил я и спросил: — Почему ты все время приподнимаешь трубку телефона?

— Ну, это я так, — она снова приподняла и опустила трубку. И добавила очень тихо: — У меня нет никакой уверенности, что мои телефонные разговоры не подслушиваются.

— Неужели это правда? А мы с Голубятовым болтаем черт знает что, анекдоты рассказываем.

— Вас, может, и не подслушивают, но все равно не мешает быть осторожнее. Да что же я сижу. Давай, я тебя чайком угощу, у нас тут в буфете хороший чай.

— Нет, нет, спасибо, — я встал, я ведь понимал, что отнимаю у нее рабочее время; может, она про себя хочет, чтобы я скорее ушел, и внимательна она ко мне лишь потому, что мы в некотором роде однокашники, а чай это так, как намек на то, что аудиенция, в общем-то, окончилась, да если это и искренно, не классик же я, не писатель даже, чтобы чай распивать в редакции такого самого читаемого журнала, это же понимать надо. — Я пойду, мне еще надо зайти в издательство. Там у меня давно лежит рукопись книги.

— Ну, хорошо. Телефон домашний есть? — она записала мой телефон. — Я тебе позволю так недели через две, а ты звони мне лучше домой. — Она написала на клочке бумаги свой телефон и протянула мне. — Ты даже не представляешь, как я рада тебе! Звони, пообщаемся, а то ведь мне просто так никто не звонит, только по делу, все наши куда-то разбрелись; солдаты же мы, нам надо держаться ближе друг к другу. Ну, всех благ тебе! Да, — она вынула что-то из ящичка стола, встала, подоншла и вложила мне в ладонь. — Это тебе на счастье.

Я вышел в коридор, разжал ладонь — там лежала большая коричневая пуговица. Наверное, такой обычае дарить пуговицы на счастье, подумал я. Я шел по коридору, чувствуя в себе хмельную легкость и умильную радость оттого, что повстречался с Валей Светозаровой, старой знакомой да еще редактором такого журнала, оттого, что она подарила мне надежду и приметку сча-

стья — пуговицу, и ощущение приближенности к высокому миру литературы; такая у меня была молодая, упругая походка и такими ясными и пронзительными глазами гения я глянул на встретившуюся в коридоре женщину и даже чуть не подмигнул ей. Словом, вышел я из редакции, ног под собой не чуя, и поднял воротник пальто, выставив из него вскинутый гордый подбородок. Так и шел по улице, востроглазо поглядывая на людей и сожалея, что никто из толпы не знает, что я только что вышел из редакции. Но уже приближаясь к издательству, я стал линять, терять перышки на уличных сквознях, опустил воротник пальто и снова сжался, напрягся, насторожился. Что там ждет меня? Отклонят — тогда я вернусь домой тем же ничтожным неудачником, одобрят — шаг к ступеням, ведущим вверх к писательству. Когда поднимался в древнем неторопливом лифте на какой-то поднебесный этаж, от близости неведомого снова скало и обрывалось сердце. Коридор, двери, двери и тот же будоражащий редакционный запах. Отдел прозы. Волнение нарастало, зачастило сердце. Осторожно приоткрыл дверь, снял шапку, вошел. Милостивая, одетая с особым эротическим шиком, как одеваются многие редакционные дамы, секретарша, видно, привычная к разным посетителям, к их настороженно-припущенным лицам, мельком взглянула на меня и снова уткнулась в бумаги. Я увидел обитую дерматином внушительную дверь с табличкой: "Зав. отделом русской прозы" и спросил у секретарши хриплым от волнения голосом:

— Можно пройти к нему?

— Он занят, подождите, — ответила она механически монотонно, не поднимая головы.

Я, конечно, мог бы спросить, узнать и у секретарши о судьбе своей рукописи, она-то наверняка знает, но что она может сообщить, кроме как: отклонили (буду рассчитывать на худшее), и это было бы слишком просто и означало бы: забери свои опусы и убирайся; пусть уж удар нанесет сам зав. прозы (а может, не удар), в любом случае надо было прорваться к нему, показаться ему, пусть запомнит, что существует такой вот автор, и поговорить с ним по большому счету.

Я стоял у двери. И начался у меня приступ дверобоязни, моей застарелой душевной болезни. Она у меня еще с детства. После смерти родителей бабушка нас, троих сирот, взяла к себе, взяла с условием, что нам из кассы взаимопомощи колхоза каждый месяц будут выписывать полпуда муки, в начале каждого месяца бабушка посылала меня, подростка, в правление за мукой. С какой тревогой и сомнением я приходил к правлению, с каким страхом, с какой тоской и ощущением униженности просителя я подходил к двери. Что там, за дверью, ждет меня, вдруг не выпишут мне этой самой муки, как я тогда вернусь домой, что скажет бабушка, что с нами будет?!.. Потом в моей жизни было много дверей, сотни дверей, обитых дерматином или не обитых начальнических дверей, дверей их замов, замов замов; каждый раз я подходил к ним с дрожью, не зная, что меня ждет за досками, обитыми дерматином. Самыми тяжелыми и болезненными оказались редакционные двери. В них я входил с таким чувством, как может быть невинный подсудимый входит в зал суда, не зная определенно, засудят его или оправдают, но все же надеясь на справедливость, из них я выходил осужденным на долготетнее прозябание. Да, полчаса назад в редакции к двери Светозаровой я подошел без этих ощущений, хотя и волновался. А за этой дверью таилась судьба, там был поворот, там встреча мне раздвинутые тяжелые двери и из проема ударит в лицо голубой ветер иной, высокой жизни, я проскочу в эту голубизну и увижу себя на вершине Олимпа... или, скорее всего, наткнусь на холодную бетонную стену... Я стоял у двери, у меня окончательно распалось сердце, наверное, более двухсот ударов в минуту, да еще с переборами. Что ждет меня там? Ноги стали ватными, руки были

влажны, по спине вдоль позвонков заструился холодный пот. Присесть бы — стула нигде не было. Видно, авторам-неудачникам не полагалось сидеть. Я вспомнил о валидоле — с некоторых пор, ощущая сердце, боясь инфаркта (это была моя новая болезнь — кардиофобия), я стал носить в кармане патрончик валидола, вынул и украдкой кинул под язык таблетку. И прислонился к стене. Сквозь дерматиновую обивку из-за двери доносились голоса — там громко и очень весело разговаривали мужчины. Так мог, паверное, разговаривать редактор только с живым классиком, который своим посещением, своей талантливой рукописью уважил и осчастливил редакцию, ему всегда рады, его привечают, им гордятся. Разговаривали, смеялись, будто рассказывали друг другу анекдоты, они долго. И вот, наконец, что-то там, за дверью, кончилось, договорились, и вышел оттуда плотный, не очень молодой человек, неся на своем чисто выбритом вельможном лице счастливую улыбку приласканного редактором живого классика и, не заметив меня, барски буркнул секретарше "до свидания" и был таков. Я же, задыхаясь от сердцебиения и ничуть не сомневаясь, что сейчас упаду замертво, но отчаянно решив: пал или пан, просунул голову в приоткрытую дверь и произнес с хрипотцой:

— Можно к вам?

Человек за столом не ответил, только взглянул на меня вопросительно. Я понял, что можно входить, и шагнул в комнату. Сказал почти в обмороке: "Здравствуйте" и стал на почтительном расстоянии от стола. И вдруг увидел себя глазами этого редактора: малорослый тщедушный очкарик с землистым лицом и робкими глазами, неужели тоже автор? Зав. отделом был крупнотел, глянцево лыс до затылка, с мягким круглым лицом, на котором не было и следа давешнего веселого разговора с классиком, и в глазах его, блекло-серых, копилась тоска. Он уже понял, какого полета я птичка, но он выработал особую холодную вежливость, скрывающую равнодушие и досаду — ходят тут всякие — и молча показал мне на кресло. Я опустился на краешек кресла и услышал:

— Я вас слушаю.

— Моя фамилия Гайнуллин.

— Очень приятно.

— Года два назад я принес рукопись книги, сборник рассказов. Вот я хотел бы узнать... — проговорил я как в бреду.

— Повторите, как фамилия.

— Гайнуллин.

Он нажал кнопку на столе, через секунду вошла секретарша.

— Нелечка, что с рукописью Гайнуллина?

Нелечка, чуть помолчав, обратилась ко мне:

— Мы разве не вернули вам рукопись?

— Нет.

У меня захолонуло и оборвалось сердце: "Мы разве не вернули?", значит, отклонили и должны были вернуть. Все ясно. Перед моей хилой надеждой встала глухая холодная стена. — И странно, я сразу успокоился. Нелечка вышла. Затрезвонил телефон. Я так успокоился, вернувшись в обычное душевное состояние безнадежного неудачника, что мог прислушиваться к чужому телефонному разговору.

— Я слушаю, — и долгое дребезжание далекого голоса. — Я понял. Когда вы принесли?... Три месяца?... Принесли три месяца назад и хотите, чтобы мы отрецензировали и включили в план?... Ну, я так понял... — Я заметил, как у зав. прозой стала краснеть лысыня. — У нас лежат рукописи, одобренные и включенные в план позапрошлого года... что же вы хотите... вы же знаете положение с бумагой... Ну, и что, что вы лауреат... у нас тут каждый второй лауреат... Ну,

это же беспредметный разговор... Поймите вы... так мы ни о чем не договоримся... это не аргумент... позвоните через месяц. До свидания.

Он положил трубку, вернее, стукнул ею в сердцах по рычагам, лицо и лысина его были красны, в глазах плескалась серая тоска.

— Вот видите, три месяца, как принсс рукопись, а уже требует, чтобы включили в план, — сказал он, обращаясь ко мне как-то по-простецки, доверительно, как бы за сочувствием. — У нас авторы по пять лет ждут.

Вернулась Нелечка с моей синей папкой — я сразу узнал ее, хотя прошло уже много времени, — и положила перед зав.прозой. Он развязал тесемки и стал читать какую-то бумагу, видно, машинописную рецензию. Что-то сейчас скажет. По правде говоря, мне уже безразлично было, что он скажет, вернее, я уже знал в общих чертах.

— Та-а-ак... Оба рецензента единогласны в оценке рукописи. Книга еще не состоялась... Рассказы не отвечают тем идейно-художественным требованиям, которые издательство предъявляет к художественным произведениям, — проговорил он, глядя на бумагу, затем поднял на меня блекло-серые печальные глаза. — Мы издаем в основном только членов Союза писателей, а нечленов — если произведение опробовано в периодике и получило хорошую прессу.

И он, завязав тесемки, протянул мне папку.

— А что же мне делать? — спросил я почему-то.

— Откуда знаю, что вам делать, дорогой? — сказал он с мягкой досадой. — Носите в журналы. Опубликуетесь в журналах — приходите к нам, — и окончательно погасив на лице внимание ко мне: — Всего вам доброго.

Я встал и, пятясь к двери, сказал:

— До свидания. Спасибо.

— За что спасибо-то? — отозвался он, не поднимая головы.

Так вот... Я побрел по коридору и почему-то осторожно прикрыл за собой дверь. Лестничная площадка десятого чердачного этажа, где обреталось издательство, выходила прямо на крышу. Дверь на кровлю была распахнута. В прошлый свой приход я из любопытства вышел на верхотуру десятиэтажной громадины и увидел в лиловой дымке желтовато-серую зыбь бескрайнего каменного океана и гудящие провалы улиц. Сейчас мне подумалось вдруг, что распахнутая дверь в серую бездну над городом предназначена отчаявшимися авторам-неудачникам, для которых другой выход из этого заведения равносильен смерти. И вот я выхожу на кровлю и с ватными ногами иду к краю. Передо мной глубокая сумрачная шахта двора, страшная и неизбежная. Секунды две, в крик сожалел о содеянном, я лечу вниз в гремящем воздухе пустоты мимо чьих-то окон, карнизов... и багровая вспышка мгновенной смерти... Нет, нет, это не моя дверь, это лишь мгновенная лукавая мысль, я выйду из двери издательства живым, чтобы вновь вернуться сюда, я буду терпеть и надеяться.

Я спускаюсь в лифте с поднебесья, и эта старая колымага ползла вниз так долго, что казалось, никогда не доберусь до первого этажа. Я был теперь совершенно спокоен, сердце мое билось ровно — так спокоен бывает, наверное, осужденный после суда: все позади, все ясно, определенно и неотвратимо. Ожидание чуда, робкая надежда и очень глубинная, затаенная мечта о книге сменились в сознании ровным, муторным ощущением привкуса ржавого металла. Я, маленький человек, слесаришка из котельной, хронический неудачник, вышел из двери издательства и побрел, шлепая по асфальтовой мокрети, по главной улице столицы вниз, к метро. Все вокруг было в серой, цвета мыльной воды прозрачной пелене, в дальней перспективе улицы, над краснокирпичным Историческим музеем и Красной площадью нависла желтоватая мгла, было сыро, слякотно и очень зябко. И все ниже и ниже. Неудачник я, неудачник... Я знал, что это ощущение своей неудачливости и поражения будет мутить меня около

недели. Потом душа вновь вернется к прежней тоскливой уравновешенности и даже временами отзовется мимолетным простым радостям жизни, а потом уже снова придет пряное желание писать... и пьянящая иллюзия, что я талантлив... Еще ниже — в подземелье. Ехал в метро и пытался уцепиться за мысли, отвлекающие от тошнотного сознания своего поражения. Да, да, неудачи бывают разные. Стоишь, к примеру, в унылой очереди за билетом на нашумевший фильм и перед твоим носом билеты кончаются — неудача, но низшего ряда. А написать книгу, нести в издательство, получить отзыв, пусть и отрицательный, но все же приблизивший тебя в деловой связи к тому высокому миру, где издаются книги — это неудача высшего ряда. Это уж поступок. Да еще вдали брезжила надежда: может, Валя Светозарова поможет мне напечатать рассказ в журнале.

Вернувшись домой, прочитал отзывы. "Рассказы не отвечают идейно-художественным требованиям, которые издательство предъявляет к художественным произведениям", — это уже я слышал от зав. прозы. "...Первый рассказ о двадцати фэзэшниках сорок первого года, попавших на военное производство из городов и аулов Башкирии. Очень точно, выразительно передает автор трудности их жизни и работы. Но здесь уже чувствуешь такую перегрузку в деталях и нагнетание подробностей, что иной раз кажется не в живописании ли этих трудностей видит автор цель своего повествования. Все, все до такой степени мрачно, так мало молодого, так мало обрисованы положительные черты личности и отношения к миру героя рассказа..." И так далее, и так далее. "...В другом рассказе "Смерть солдата" тема смерти дает автору возможность еще шире развернуть целую симфонию мрачных тонов и сочетаний... Но художественное произведение требует многостороннего показа любого явления жизни. Со своей задачей, если понимать ее как задачу реалистическую, автор не справляется. Она нарушается уже переизбытком натуралистических "физиологизмов" (так рассказ начинается упоминанием горелого мяса сгоревших в танке фрицев)". Все в этом роде обо всех рассказах. Мрачно, натурализм, отсутствие положительного идеала, нагнетание негативного и даже идеалистическая философия Капта о "вещах в себе". Подпись: Журавлева. Кто она? Ясно, что женщина. Критик или критикесса, точнее. То, что она усмотрела в моих писаниях, мне и в голову не могло прийти. Я писал только о том, что хорошо знал, видел сам, пережил. Когда убитые танкисты горят в танках, запах горелого мяса ястввеи. Надо уточнить у Вали Светозаровой, она это лучше меня знает. Такое ощущение, что эта Журавлева ничего не поняла в моих писаниях. Ни с одним ее замечанием я не согласился. Может, со временем кое с чем соглашусь, но сейчас нет.

Вторую рецензию написал некто Лапин. Он вторил Журавлевой почти слово в слово. "...Гайнуллин, владея если и не мастерством, то достаточно высокой квалификацией рассказчика (спасибо Лапину и за это!), в большинстве своих рассказов подает нашу действительность в таких унылых, не очернительных, а именно унылых по свойству безысходности — тонах, что у читателя создается явно одностороннее и в силу этого искаженное представление о судьбах и житейских обстоятельствах почти всех героев девяти рассказов и как следствие этого, общественный колорит нашей действительности..." Дальше Лапин подтверждал свою оценку множеством выдержек из моих рассказов.

Самое печальное было в этих отзывах то, что они почему-то оставляли во мне ощущение, что мне соврали, что обвинение меня в мрачности, унылости — неискренне. Ведь в некоторых, может, невольных фразах я улавливал, что рассказы им нравятся. Но... чувствовалось, что они, рецензенты, невольно подавляли в себе положительное впечатление от моих писаний, потому что не могли предложить трагические рассказы какого-то Гайнуллина, человека с улицы, ав-



тора из "потока" — угрозная фигура бдительного лига не оставляла им никакой надежды.

Папку с рассказами с глаз долой — спрятал на нижней полке этажерки под газетами и журналами, потом весь день ходил как в воду опущенный, чувствуя себя отверженным и опустошенным. В таком душевном состоянии хочется с кем-нибудь поговорить, поделиться своим горем. Пусть не поможет мне никто, но, может, скажет слово утешения, пусть это слово будет неискренним, таящим в себе лицемерие и злорадство, все равно малость полегчает в душе. Высказанное горе — полгоря. Но с кем? Жены нет. Любимая женщина, может, и выслушает, но вряд ли посочувствует, да не стану же я ей говорить о своей неудаче. Звонить Светозаровой неудобно. Остается Саша Голубятов. Он, может, и в глубине души возрадуется моей неудаче, как неудаче соперника, — ведь писатели все соперники между собой, — но, деликатный, сделает вид, что сочувствует. И за это спасибо. Вечером набрал его номер и услышал мычание. Он был явно пьян. Нескoлько мгновений я сообщал, не положить ли трубку, но он еще раз промычал:

— Кто, чего молчите?

— Саша, это я. Здравствуй.

— А, Гайнуллин, — пьяный он всегда звал меня по фамилии. — Слушай, я пьян вдрызг. Чего хотел?

Я помолчал и прокричал:

— Саша, брось пить, пока не поздно! Помни мои слова: добром это не кончится!

— Ну и х... с ним! Хуже смерти ничего со мной не случится, а смерть, быть может, единственное убежище, куда можно улизнуть из этого дерьма, которое называется жизнью... Ладно, Гайнуллин, ты давай не исчезай, звони.

И положил трубку.

Крутился мой насос, гудел, завывая надсадно, гоняя по трубам горячую воду в дома, обогревая сотни квартир, в которых жили тысячи людей, не догадываясь даже, быть может, что тепло и уют в их каменных гнездах зависят от этого вот выкрашенного в серый цвет мотора, вращающегося силой электричества в несколько тысяч оборотов в минуту, крутя лопасти улиткообразного насоса. Встань этот мотор — в батарейках двадцати домов замрет теплоноситель, как будто в жилах двадцати жизней остановится горячая кровь. А второй насос, запасной, пребывал в нерабочем состоянии, он был неотцентрован. Когда его запускали, мотор начинал дрыгать и после нескольких минут работы, срезанные вибрирующими муфтами, летели резиновые пальцы. Я уши прожужжал технику-смотрителю Шубину про этот насос. "Ладно, скажу Немцеву, отцентрирует". Немцев тот не просыхал и, видно, не умел центровать насосы. Отпустив болты, постучал по корпусу молотком, подвигал туда-сюда мотор, затянул болты, запустил и через полчаса опять полетели пальцы. Я сунулся со своими заботами к главному инженеру Горячевой Анне Борисовне, а она: "Слесарь ЦТП сам должен центровать насос". Но ведь меня никто не учил этому, никто не показал, как это делается. Так вот пришлось сообщать самому, сообщал несколько дней. Если мотор дрыгает, значит, ось вала мотора не совпадает с осью вала насоса, тогда мотор поставить надо так, чтобы эти оси совпали. Чего может быть проще. И я принялся центровать. Вот уже третье дежурство возился с этим насосом. Придумал приспособление. На муфты мотора и насоса намотал медную проволоку, концы их вытянул торчмя и погнул под прямым углом. Получилось нечто вроде рейсмуса. Свел заостренные концы и стал вращать оба вала. Сверху концы проволоки не сходились, а внизу остриями заходили друг за друга, значит, мотор по отношению оси вала насоса стоял наперекосяк. Так же

по бокам, и там перекося. Сходил в подвал к Немцеву, подобрал среди железок обломки ножовочного полотна, какие-то пластиночки и стал подкладывать под мотор. Подложу, затяну болты и вращаю валы — зазор между остриями проволоки меньше. Отпущу болты, приподниму мотор ломом и еще подложу. И так далее.

Нравилась мне эта работа. Да, вообще, я любил делать что-нибудь руками и прожил бы свою жизнь, взясь с железом и довольный собой, если бы не помешался смолоду на литературе. Словом, в эти часы в насосной я чувствовал себя просто полноценным рабочим человеком, у меня была ясная и вполне доступная цель: привести в рабочее состояние этот богом и людьми забытый насос, запустить его и быть уверенным, что в случае чего у меня есть запасной. Центруя насос, я как-то забыл о своей неудаче с издательством и тихая радость, наверное естественная для работающего человека, снова тронула мне сердце и, как всегда в такие минуты, вернулись в память разные напевы, и я стал выводить негромко услышанную по радио песенку: "Я знаю, ты придешь..." и так далее.

Хлопнула наверху дверь — кто-то пришел. Шубин, Немцев или Зуб? Я отложил ключ и поднялся в бытовку. Оказывается, пришла Фуфаева Вера Ивановна. Полная, развалисто-медлительная, с мясистым улыбчиво-добродушным лицом, веселенькими синими глазами и напевной речью она была мне приятна, я всегда был рад ее видеть и любил поболтать с ней о том о сем, сплетни послушать, опускаться, конечно, до ее уровня, но не забывая про себя, что я человек все же образованный и даже писатель в некотором роде, а она всего лишь разбитная полуграмотная баба.

— Зашла позвонить маме, — сказала она, растягивая слова; присела к столу, сняла трубку, набрала номер. — Але, мама, ты сегодня в магазин ходила? Мясо у вас есть? А то у нас тут одна свинина... Ладно, мама, я найду, — положила трубку и, обращаясь ко мне: — Раньше, бывало, придешь в магазин, и говядина, и баранина, и рыба, какую душа желает, а сейчас то мука исчезает, то мясо. Али взаправду все продукты отправляем этим черным?

— Врачи говорят: мясо есть вредно, жизнь сокращает, — сказал я.

— Это нам они говорят, сами жрут. Как же без мяса? Милы-мои, если я два дня поживу без мяса, слабость чувствую в ногах. А мужики мои дня не могут. — И Вера Ивановна, смертельно наголодавшаяся в войну и любящая поговорить о всякой пище, с удовольствием зарассказывала, запела, щеки ее зарозовели, глаза заблестели, голос сделался воркующим: — Милы-мои, для чего живем-то, если даже не поесть вкусно? Вот пошла я вчера в магазин, купила курицу, принесла, выпотрошила, обмыла, полила маслом и в духовку. Пожарила, пока она не стала румяньенькая, влила в нее стакан кипятку, туда же лучку, нарезанную морковку, перцу и опять в духовку. И вот моя курица готова. Мы с Мишей пропустили по стопочке, грибами закусили, грибки-то свои, волнушки, сама брала, сама солила, крепенькие, с чесночком, укропом — выпили и принялись за курицу. Ох и ели, ох и ели! Милы-мои! Рассказать тебе анекдот? Значит, так, задали ученикам написать сочинение на тему: "Спасибо дедушке Брежневу за счастливое детство". Все написали "спасибо да спасибо", только один, самый плохой ученик в классе, сочинил вот такие стихи: "Брови черные, густые, речи длинные, пустые, мяса нет, масла нет, на хрен нам этот дед".

Анекдот этот я уже знал, но из вежливости сделал вид, что слышу впервые, что мне смешно.

— Да, забыла тебе сказать утром, — продолжала Вера Ивановна. — Ночью сижу — и опять эта крыса. Так заору. Сколько говорила этому паразиту Шуби-

ну, чтобы позвонил в санэпидемию, чтобы каким-нибудь порошком посыпали, а он и в ус не дует.

— Она и эту новенькую Галку напугала насмерть, — сказал я. — Недавно звонит мне ночью, крыса, говорит, заглядывает. Я ее насилу успокоил, не знаю, как она дожидла до утра. Зачем только таких берут.

— Она же блатная. Получила однокомнатную служебную квартиру в доме двадцать. К ней ходит какой-то хахаль в кожаном пальто... Ну, ладно, хорошо с тобой разговаривать, но мне надо мужиков своих кормить.

Она ушла, я снова спустился в насосную и взялся за ключ. "Я цыганский барон, я в цыганку влюблен..." Через какое-то время опять стукнула дверь наверху, надо было подняться — вдруг начальство, подумает еще, что меня нет на месте. Поднимаясь, я услышал голос Шубина, громко разговаривающего по телефону. Сняв кроличью шапку, расстегнув коричневую, подбитую овчиной плащовку, Шубин сидел за столом и слушал телефонную трубку. Из-под бортов его пальто на сером пиджаке высвечивались радужно-яркие орденские колодки; волосы у Шубина, еще густые, были желтоватые и без седины. Я поздоровался. Не ответив на мое приветствие и еще немного поговорив, Шубин положил трубку и, осклабившись металлическими зубами, спросил:

— Ну, как, писатель, все в порядке?

Я понял да и видел, что он выпивши, его гладкое лицо скопца возбужденно порозовело, дымчатые глазенки маслянисто блестя, писателем он называл меня только тогда, когда бывал нетрезв.

— Какой порядок, Николай Иваныч. Один насос не работает, но я его отцентрую, а вот пускатель все еще подперт палкой, да головная задвижка беспокоит, еле держится сальник, не дай-не приведи сорвется, не миновать нам этой зимой аварии.

— Ну и х... с ним! Чем скорее авария, тем лучше. Если даже не будет этой аварии, надо ее нарочно сделать, понял? — Шубин гнусненько осклабился.

— Зачем?

— Как зачем? Чтобы, наконец, начальство обратило внимание на наш сраный жэк, понял? А то этот гад Мигунов государственной жилплощадью торгует направо-налево. У меня больной сын, я живу в коммуналке, а он свою родственницу, б... эту, поселил в отдельной квартире.

— Но ведь от аварии жильцы пострадают.

— Ничего, потерпят полдня, газ на кухне зажгут. — Шубин еще раз осклабился, это у него было вроде улыбки, но глаза не смеялись. — Я шучу, конечно, мы до него и без аварии доберемся... Но Мигунов мелкая сошка, надо бы копнуть повыше, но кишка тонка, высунешся — по рогам дадут, по стене размажут... Сталина на них нет. При нем боялись воровать, он их, гадов, вот как держал, — Шубин показал жидковатый кулак.

— Опять Сталин. Но он же культом был... — возразил я, мог бы сказать и больше, заспорить с ним, но сразу смекнул, что спорить с этим человеком пустое дело.

— Культом? Культ придумал Хрущ-кукурузник. Сталин был руководитель что надо. Русскому человеку твердая рука нужна, русский человек власть над собой любит. А то распустились, понимаешь, кругом воровство, блат, никто ничего не хочет делать, всем до лампочки. — Шубин помолчал и вдруг, улыбнувшись как-то мягко, будто вспоминая что-то приятное, продолжил: — Вот такого же черного, как ты, поставил я на колени на краю ямы, а он кричит: "Да здравствует товарищ Сталин!", и я ему пулю в затылок. Вот как его любили.

— Вы что, в команде расстрелов служили?

— Я в военном трибунале служил! — Это у него вышло как-то вызывающе, даже угрозно.

— А за что солдата?

— Самострелец. Руку подставлял, а товарищ его пальнул из автомата.

— А что было тому, кто стрелял?

— Его в штрафроту. Ладно, пойду, — он надел шапку, встал, застегнулся и взял со стола свою черную дерматиновую папку. — Я тебе про Мигунова ничего не говорил, понял? Ты мужик правильный, не донесешь, а другой может. Если кто-нибудь будет спрашивать меня, скажи, что ушел в райком.

И он был таков, в райком направился или завернул украдкой к своей дворничихе из первого подъезда. Потом пришел Овчинников, мой сменщик. В длинном пальто из синего драпа, которое он носил в нерабочее время, и замызганной кроличьей шапке. Был он трезв и, как всегда, когда бывал трезв, смуглое лицо его скривилось в унылые морщины и складки, в серых глазах цепенела тоска голодной собаки.

— Чего такой скучный? — спросил я.

— Заболел, бля. Температура тридцать девять, — ответил неохотно.

— Лежал бы дома.

— Катя то же самое: лежи, паразит, если болен. А я грипп этот только водкой и вышибаю. Пропущу стаканчик, засну, а утром просыпаюсь — хоть в хоккей играй. Тут бутылки были, — он открыл шкаф, куда мы вешали одежду, и достал оттуда четыре бутылки из-под вина. — Не хватает двугривенный, не добавишь?

Я дал ему монету, и он ушел, засунув две бутылки в карман пальто, две неся в руках.

Через минуту пришел слесарь Немцев. В телогрейке и вязаной засаленной шапчонке с козырьком. Его красивое лицо актера одутловато набрякло, глаза в похмельном тумане смотрели тоскливо и беспомощно. Буркнув мне "привет", он открыл шкаф и стал шарить рукой в куче разных старых тряпок, концов и пеньки, лежащей внизу.

— Бутылки были здесь.

— Их Овчинников взял, — сказал я.

Он растерялся окончательно, расстроился, покраснел даже и негромко беззлобно выругался матом. Мне его жалко стало. Он, как и Овчинников, воевал. Спивались хорошие ребята, фронтовики, мои товарищи, да к тому же я чувствовал свою вину перед Немцевым за тогдашнее — ударил его спящего. Он уже собирался было уходить, я достал из кармана помятый целковый и протянул ему.

— Вася, на рубль. Больше нет.

— В получку отдам, — обрадовался он.

— Ладно, ладно.

Я спустился вниз, еще повозился с мотором, в работе время шло незаметно, так прошел день. Вечером в закутке у Зуба барыги из окрестных улиц играли в карты. Я сидел в бытовке, читал и слышал, как они приходят, хлопая дверью, и топчут дальше по коридору. Они мне очень мешали. Если бы не Зуб с его картежниками, я принес бы свой "рейнметалл" и сел бы писать очередную главу повести. Заглянул в закуток. Тесно обступив столик, картежники с напряженно серьезными лицами тянули карты из колоды. Из игроков я знал только Колесина с четвертого этажа и, само собой, Зуба. Рядом с колодой вызывающе кучились небрежно кинутые на кон купюры. Играли в остервенелом молчании, лишь изредка кто-нибудь негромко: "Восемнадцать" или "У меня перебор". Я никогда не играл в карты, не знал даже названия карт и, ясное дело, ничего не смыслил в самой игре. Никто на меня не обратил внимания, я постоял минуту-другую и вернулся в свою бытовку. В полдвенадцатого картежники ушли или, скорее, перебрались в квартиру Колесина. Зуб остался в своем закутке —

там все еще свет горел. Потом я слышал, как Зуб вышел и через какое-то время вернулся с женщиной. Я видел, как они прошли мимо бытовки. Это он привел Симку из дома 18. Потом, когда Зуб и Симка ушли, я запер котельную, сходил за пишущей машинкой, поставил на электроплитку чайник, а когда вода вскипела, заварил покрепче и, прихлебывая горячее пойло, исподволь настраивал себя на писание. Я ведь после издательского нокаута долго не мог прийти в себя и засесть за работу, несколько дней перечитывал рассказы Чехова. Чехов, как всегда, успокоил меня, потом наступила уже знакомая по прежним неудачам веселая злость и колыхнулось желание писать, писать наперекор, назло этим редакторам, рецензентам, цензуре и всему этому мороку, называемому соцреализмом, и стал обдумывать главу, которую, в общем-то, до неудачи с рукописью еще и в мыслях не держал, хотя и знаю, не напечатаете ни за что, но я пишу, мне терять нечего, а вы, редакторы, (до цензора не дойдет), прочтите и ужасайтесь. Ясно, до мельчайших подробностей я видел это бредовое событие в померанском лесу, вернее сказать, так восстановил его, уже слегка затянутое туманом времени, а помнил всю жизнь, и чем старше становился, тем навязчивее вспоминал, и запоздалое душемучительное чувство вины щемило сердце. И вот снова, сидя за пишущей машинкой, готовно держа пальцы над клавишами, надо было чутко прислушиваться, нет, не к себе, а к тому таинственному, кто нашептывал мне *слово*, прислушиваться к голосу писателя, который, конечно, был во мне и в то же время как будто это был некто сторонний, некто умнее, талантливее меня. И я стал стучать по клавишам.

...Эти темные хвойные леса в Померании встали на нашем победном пути неожиданно и неотвратно. Наша кавалерийская дивизия продвигалась вперед по глухим лесным проселкам, наш стремительный ход к Эльбе замедлился; мы шли часто пешком, ведя коней в поводу, то и дело останавливались и подолгу стояли; никто из нас, рядовых, не знал, почему стоим, что впереди, по колонне ходили слухи, будто мост разобран на реке, дорога заминирована, или засевавшая в оборону эсэсовская часть дерется насмерть и пехота ввязалась с ней в тяжелые бои; может, так и было, потому что стрельба в округе не умолкала.

Въезжая в эти леса, на одиноком хуторе мы захватили пленного, юношу в моем возрасте — лет восемнадцати. Но сказать, что мы его пленили, пожалуй, было бы неверно. Он не был вооружен и, ясное дело, не сопротивлялся. Он просто стоял возле дома и смотрел на проходящую мимо колонну, так он и стоял бы, как всякий любопытствующий, глазающий на чужеземных солдат, на войну немецкий мальчишка, если бы... На юноше была черная шинель, а на голове черная фуражка с высокой тульей. Это и привлекло наше внимание и насторожило нас. Мы знали, что черную форму носят эсэсовцы, хотя ни разу еще не видели эсэсовца в черном мундире. Если и попадались пленные с эсэсовским знаком отличия, то они были в обычных серо-зеленых мундирах, только воротники у них, кажется, были из черного бархата. Особенно эти фуражки с высокой тульей и щегольски выгнутыми широкими полями были для нас враждебны и ненавистны — фашистские фуражки. Значит, эсэсовец, подумали "копытники" из нашего эскадрона, подошли, приставили к его пузу карабин и повели к колонне. Но так как полк был на марше и штаб где-то далеко позади, погнались немца с собой; когда садились верхом, сажали его на тачанку. Пусть, мол, пока едет, потом разберемся, что за гусь.

У немца было румяное, круглое девическое лицо с тончайшим золотистым пушком на щеках и над полнокровными губами, где видно, и как по моему лицу, еще не скоблила бритва. Светло-русые волосы, выбившись из-под околыша черной фуражки, завелись на белой младенческой шее. Голубые мальчишеские глаза его смотрели смятенно и тоскливо.

Потом мы долго стояли на малоезженном проселке в глухом сосновом бору. Далеко впереди постреливали, ухали взрывы. По колонне передали, что на mine подорвался начальник полковой разведки капитан Артемов, человек рискованный, отчаянно храбрый и веселый, любимец полка — в полку ходили о нем легенды, — что конь под ним убит — а какой был конь! — а капитан тяжело ранен. Леденящим ветром тревоги, тоски и злости продуло всю нашу колонну. И вот с головы колонны, вдоль колонны, по обочине двигалось на нас, прошло мимо нас страшное видение. Начальник разведки ехал верхом трусцой на коне своего ординарца, сидел прямо, держась обеими руками за луку седла, коня бегом вел в поводу ординарец. И на месте лица капитана зияло сплошное кровавое месиво, кровь, пронзительно-алая, стекала по подбородку, по груди, по его орденам, пачкая гимнастерку, брюки, седло; кубанки на голове капитана не было, его отросшие темно-русые волосы растрепанно ниспадали на лицо и, смоченные кровью, повисли алыми сосульками. Мы молча проводили капитана, вид крови взбудоражил в нас привычные уже, но чуть задремавшие было на марше, когда нет боев, темные силы войны — ненависть, жажду мести и убийства.

Прибежал от своей кухни к тачанке, на которой ехал пленный немец, повар Крайнов (тачанки шли вслед нашему четвертому взводу, кухня — за тачанками). Лицо у Крайнова было остервенело-бледно, и даже бельмо в правом глазу как будто сделалось блее.

— А ну, гада этого сюда! — оскалая прокуренные зубы, прокричал он и, став на подножку тачанки, схватил немца за грудки, стащил его, затем сдернул с него черную фуражку и швырнул прочь.

— Саня, не надо, ну его, — сказал пулеметчик Васильев, сказал неуверенно, просительно.

— Тебе что, жалко его?

— Ну хотя бы жалко.

— А они нас жалели?! — Крайнов пнул немца в зад и толкнул прочь от тачанки. — Иванов, дай свой клинок.

— У меня он тупой. Вот у Гайнуллина острый.

Клинок мой, как положено, был привьючен к седлу с левой стороны. Он у меня действительно был острый. Однажды, когда стояли в какой-то деревне, я поточил его на точильном камне — деревенская крестьянская привычка остро затачивать ножи, топоры, пилу и прочий необходимый в хозяйстве инструмент.

— Не дам! — сказал я, подойдя к своему коню.

— Уйди, падла! — произнес Крайнов негромко, метнув в меня свищовым бельмом и резанув волчьей желтью левого здорового глаза, и я, уж который раз, почувствовал, что боюсь этого человека, боюсь и ненавижу.

Он вынул из ножен мой клинок, попробовал лезвие на большой палец и, схватив немца за шкурку и неся в правой руке мое оружие, повел пленного прочь от колонны в густой частокол сосен. За ним пошли его дружки Иванов и Кузкин и еще несколько ребят. Я ждал окрика лейтенанта Ковширина: "Отставить!", но он, как и тогда на хуторе немки-вдовы, делал вид, что это его не касается или, того хуже, судя по его спокойному, даже слегка тронутому холодной усмешкой лицу, он это одобряет. Чуть замешкав, я пошел за ребятами, нет, я не верил, что вот так просто, средь бела дня и не в бою можно зарубить клинком невооруженного человека, пусть немца, одетого в черный мундир, но ведь человека, я подумал, что Крайнов, наверное, только озорует, хочет поугаать.

Немец шел покорно, понунив голову и уронив со лба светлые волосы. Я только сейчас разглядел, что на ногах его не кованые фрицевские сапоги с голенищами-раструбами, а обыкновенные ботинки, на которые складчато опу-

скались черные брюки. Дойдя до широкого соснового пня, Крайнов ударил немца рукоятью клинка по затылку и бросил на колени.

— Иванов, помоги.

Схватив ворот шинели немца, Крайнов пытался его голову нагнуть книзу, но немец с белым, будто замазанным мелом, лицом молча сопротивлялся. Иванов сильно ударил кулаком немца по голове, затем обеими руками сгреб волосы юноши и прижал его голову к пню. Немец издал какой-то нечеловеческий утробный звук, как будто зарыдал или зарычал, и, обмякнув, покорно лег щекой на смолистый обрубок соснового комля. Крайнов рванул ворот шинели с затылка на спину немца, там были еще пиджак и рубашка, их тоже стянул с шеи, белой, с желобком, в котором угнездилась светлая мальчишеская прядка, и шея, влажная от пота, оголилась беззащитно, обреченно. Крайнов перехватил клинок обеими руками, как топор, взметнул над правым плечем и нацелился. Иванов успел отскочить, как Крайнов с размаху полоснул по шее немца клинком. Открылся глубокий порез, сначала секунды две крови не было, обнажилось что-то бело-розовое, затем кровь ударила алым ручьем, немец задергался, и голова, все еще связанная с туловищем и, видно, чувствующая смерть, сползла наземь.

— Иванов, держи голову! — заорал Крайнов, как будто испуганно, лицо его было мертвецки бледно, и в единственном глазу металось что-то нечеловеческое.

Вытянув руки, чтобы не испачкаться кровью, Иванов схватил немца за волосы и затащив голову на пень. Крайнов ударил еще два раза, и голова, отделившись от туловища, свалилась с пня. Из обрубка шеи, страшного и противозастенного, фонтанными толчками брызнула кровь. Иванов взял за волосы мертвую голову с полузакрытыми, мокрыми от слез глазами, приподнял и произнес с бледной улыбкой:

— А тяжелая!

Крайнов сунул мне мой клинок и сказал с гнусной ухмылкой:

— Ты, на, бери свой тесак. Молодец, хорошо заточил.

Я тут только почувствовал, что меня колотит мандраж, к горлу подступал тошнотворный ком, и перехватывало дыхание, будто ударили под дых. Я нес свой клинок с запачканным кровью лезвием и не знал, что делать с ним. Бросил бы тут в лесу, но за утерю личного оружия... Подобрал пучок моха, обтер лезвие и вернувшись к своему коню, заложил клинок в ножны, потом больше никогда не вынимал его — мне казалось, что, как только выну, увижу кровь...

Написав эти страницы, я почувствовал, что дрожу, как, если бы только что воочию видел казнь немца в том сосновом бору. Лицо мое горело, толкалось сердце, сделалось душно. Я встал и вышел на двор, вдохнул холодного воздуха. Небо прояснилось и вызвездило, на юге, из-за потухших домов, вставали Стожары. Постояв немного на крыльце, вернулся в бытовку и стал ходить взад-вперед по комнате. Думал о том, о чем думал всегда, когда вспоминал смерть немца. Конечно, он не был эсэсовцем. Мало ли кто еще мог носить в ту пору в Германии черную шинель и фуражку с загнутыми полями. Ходил же я, подросток, в первые годы войны в черной шинели ремесленного училища. Этот немецкий мальчик, возможно, тоже носил форму какого-нибудь учебного заведения. А фуражки, они, как и у нас, все на один фасон шьются. Ну зачем он надел эту фуражку в тот день? Да, не ведал, что именно она и погубит его. Почему он не сопротивлялся, не молил о пощаде? До конца не верил, что его зарубят или не надеялся на милосердие русских. Мне всегда потом казалось, что сопротивляйся он отчаянно и проси пощады в слезах, даже Крайнов не стал бы убивать его, была же, наверное, в этом Крайнове хоть капля человеческого. А он, этот немецкий мальчик, так покорно и обреченно положил голову на плаху. У него

была белая, девически нежная шея. Он мыл ее по утрам душистым мылом, в остальном она не играла в его жизни существенную роль, как к примеру ноги и руки или что-то еще; он никогда серьезно не задумывался, что его белая, еще не заматерелая шея всего лишь перемычка между его животным телом и разумной человеческой головой... И вот по этой перемычке острым клинком... У него, наверное, где-то были мать, сестренки, которых он очень любил, была, может, девушка. Успел ли он подумать о них и мысленно попрощаться с ними?..

Успокоившись немного, я подсел к столу, прочитал написанное. И тут же за столом напротив меня возникла неопределенно-размытая, но как будто реальная и как будто уже знакомая фигура редактора. Он не читал мое писание, он уже знал его наизусть и по строго-сосредоточенному лицу ждать от него слово одобрения было несерьезно.

— Зачем вы это написали? — спросил он и сделался как бы даже очень грустным.

— Как зачем? Я все это видел, пережил и хочу рассказать об этом.

— Допустим, пережили. Но то, что вы написали, этот натуралистический эпизод убийства, лежит за чертой художественной литературы, это мог написать только человек, лишенный литературного дара и художественного чутья. Литература, хорошая литература, имеет дело с правдой художественной, а не правдой голого факта.

— Это я уже слышал, об этом немало читал. А жизнь? Ведь это же было, было, я это не придумал.

— Мало ли что бывает в жизни, особенно, на войне. Все это тащить в литературу? Жизнь и литература — вещи совершенно разные. Задача литературы — не фотографировать жизнь, а на основе отбора и типизации воспроизводить ее как вторую реальность. Но главная ваша ошибка даже не в этом, а в принципиальном искажении морального облика советского солдата, воина-освободителя. У вас эти Крайнов и Иванов, как бандиты, убивают пленного немца да еще, может, вовсе не солдата, казнят этого мальчишку самым варварским способом. И это воспринимается как неправда, как поклеп на советского солдата. Не мог воин-освободитель, освободивший Европу от фашизма, быть таким жестоким.

— Он и не был жестоким в основной своей массе, у меня же там в повести наши солдаты детей немецких жалеют, голодным беженцам то хлеба дадут, то из солдатской кухни супа нальют, пленным закурить дают. Но были и вот такие, как этот бельмастый Крайнов, были в армии люди озлобленные, мстившие за убитых родных, были ожесточенные долгой войной, были садисты, насильники и бывшие уголовники. Да, вообще, война меняет людей так, что они сами для себя становятся чужими.

— Ну, допустим, были, но зачем все это обобщать? Ведь читатель не поймет, он воспримет это как обобщение: вот какими, оказывается, были наши солдаты...

— Я же не обобщаю, я этот эпизод даю как единичный, из ряда вопиющих. Стояли в лесу, капитан подрывался на mine, его все любили, вид окровавленного начальника разведки взбудоражил в солдатах темные силы, которые копились в них годами, война сделала этих ребят жестокими, потому что они, эти ребята, по своему юному возрасту еще не доросли до таких душевных качеств, как нравственность, милосердие, великодушие и понимание ценности каждой человеческой жизни, не имея в своих душах все это в достатке, они сунулись в кровавую мясорубку, ведь они, восемнадцатилетние, подростки и выросли в годы войны, в армии, на фронте, главным в их сознании было — ненависть да еще очень сильное чувство мести. Я еще раз повторяю: не все бы-



ли такие, как Крайнов и Иванов, они выделялись, остальные их не любили и даже боялись.

— А где же были командиры? Почему у вас этот лейтенант Ковширин не помешал убийству немца? Он же советский офицер, по логике художественной правды именно он должен был остановить своих подчиненных.

— Возможно так. Но в жизни этого не было, он не мешал убивать немца, так же, как и тогда на хуторе, не помешал поджечь немкин хлев. Ведь ему тоже было всего двадцать четыре года, он тоже возмужал на войне и ненавидел немцев. В этом я был до конца верен жизненной правде или, как вы говорите, голому факту. Это для того, чтобы показать жестокость, противоестественность и абсурдность войны, любой войны, будь она несправедливая или справедливая, потому что война даже ради благих целей высвобождает в человеке силы зла, творит зло, несет смерть невинным жизням, убивает и саму душу; солдат, убивая врага, прежде всего убивает своего земного брата.

— Но это же у вас чистейшей воды пацифизм. Пацифизм, как вы знаете, противоречит нашим идеалам. Словом, так. Этот эпизод убрать, он крайне неудачен, он никогда не может быть опубликованным.

— Ладно, я подумаю.

Я подумал и вдруг понял, что редактор, пожалуй, прав, что эпизод с убийством немца никогда не может быть напечатанным, он только может повредить судьбе рукописи, если вообще ей суждено что-нибудь. (Ведь с самого начала я не надеялся напечатать эту повесть.) Все же... Вот ведь опять уступил и допустил надежду. Я вырвал из машинки испечатанные листы с копирками и, сложив вместе с напечатанными страницами, разорвал в ключья. Редактор был удовлетворен, и за столом напротив его больше не было. Потом, сходя вниз в насосную, заложил свежие листы и продолжал писать. Оставил только эпизод с подорвавшимся на mine капитаном и оборвал его на фразе: "Война, видно, уже идет к концу, а кровушка наша все льется и льется..."

Постепенно боль от неудачи с издательством стала утихать. Я снова жил надеждами — в толстом журнале у Светозаровой мой рассказ. Я ждал звонка. "Толя, поздравляю тебя, рассказ твой нам очень понравился, будем давать". Но Светозарова все не звонила. Конечно, не сразу же все делается, пока прочтут все замы, пока главный даст добро. Хотелось обо всем этом поговорить с Голубятовым — тогда он был пьян, — поделиться с ним своими переживаниями. И распирающей меня надеждой. Позвонил ему из дома.

— Алло, слушаю, — трезвый голос.

— Здравствуй, Саша!

— Толя, слушай, я собрался уходить, уже одет, но могу уделить тебе минуты две. Что хотел сказать?

— Да ничего. Просто хотел потрепаться, думал, расскажешь мне очередной анекдот.

— Анекдот хочешь? Значит так. Едет Саид в Каракумах, видит: из песка голова торчит. Брови черные, густые. "Кто это вас так?" — "Это Абдулла меня закопал". — "Ну и дурак Абдулла, песку пожалел".

— Не надо такие анекдоты по телефону.

— Ну их!.. Ты к Светозаровой ходил?

— Да, отнес рассказ. Что-то не звонит еще.

— Ты сам позвони.

— Неудобно.

— Неудобно только штаны через голову надевать. Сколько учу тебя.

— Из издательства вернули рукопись.

— Это плохо. Что они написали в отзыве?

— Да ерунда, об идейно-художественных недостатках.

— Слушай, Толя, мне надо с тобой поговорить. Но это не телефонный разговор. Что, если завтра я зайду к тебе?

— Но завтра я дежурю.

— А на работу к тебе можно? Ты один там?

— Один. Можно.

Я объяснил ему, как пройти в котельную.

— Договорились. Жди завтра, часам к восьми вечера. Ну, ладно, до встречи.

Назавтра я опять весь день насос центровал. Уже к вечеру, подложив под мотор последнюю пластинку, затянул болты, покрутил муфты и понял, что оси вала мотора и насоса совпадают, как говорится, тютелька в тютельку; проверил обломком ножовочного полотна зазоры между муфтами — лучше не бывает. Вставил в гнезда резиновые пальцы, надел на муфту стальное кольцо и включил мотор. Ни малейшего дрыгания, только ровный, ласкающий уши гул. Выключил работающий насос, выбив из-под пускателя палку, закрыл задвижки и стал медленно открывать задвижку на отцентрованном насосе. Заработал мой насос, душа радовалась, не хотелось отойти от него. А что я сделал? Всего лишь насос отцентровал и запустил в работу, а на душе праздник. Потом, сидя в бытовке, все время прислушивался к ровному гулу и время от времени спускался в насосную и долго стоял, любуясь на работающий насос. Услышал, как в своем закутке шебаршит Зуб, толкнул дверь и сказал:

— Коля, я перешел на другой насос, отремонтирую пускатель на запасном.

— Я же тебе русским языком сказал: этот пускатель нельзя отремонтировать, его надо выбросить и поставить новый.

— Ну, поставь.

— Где я возьму тебе, рожу?

— Требуй у начальства.

— Тебе надо, ты и требуй.

Под вечер зашла Фуфаева, развалистая и, как всегда, улыбающаяся; я ей был рад — поболтать можно, послушать очередную сплетню.

— Зашла маме позвонить.

Поговорила с матерью, положила трубку и сказала:

— Толя, ты слыхал новость? Наш Мигунов к жене вернулся. С этой своей, с юга, развелся, оставил ей квартиру, а сейчас со своей старой сошелся.

— Ну и дела!

— Ну, ладно, пойду. По телевизору какое-то кино.

Потом, в девятом часу, пришел Саша Голубятов. Я сидел в бытовке, открылась входная дверь, и донесся знакомый баритон:

— Где тут великий писатель Гайнуллин?

— Здесь, здесь.

В дверях бытовки вырос высокий бородатый Голубятов. С бородой я его видел впервые, раньше он брился, и щеки, подбородок у него были синевато-серыми. Год или даже два мы не виделись, общаясь только по телефону; ну, какое же это общение — вместо голоса идущие по проводам электромагнитные импульсы и дребезжание стальной пластинки, не видишь ни лица, ни глаз; твой друг, наверное, за два года облысел или поседел, а ты все "алло, алло". У Голубятова за это время вон какая густая, черная борода вымахала, не брился, наверное, после очередной поездки на север, да какой же русский писатель без бороды.

— Вот ты где обретаешься. Что же, неплохо здесь у тебя. Никто не мешает — сиди и пиши.

Он пожал мне руку и вытащил из карманов пальто две бутылки жигулевского пива.

— Хотел водку захватить, но ты же у нас трезвенник, да еще скажешь: русские спаивают башкир. Стаканы найдутся?

— Найдём.

Поставил бутылки на стол, снял пальто, пыжиковую шапку, повесил в шкаф, я вымыл под краном стакан, из которого Овчинников и Немцев лакали вино, и свою кружку. Голубятов сел на шаткий стул с обтерханной и засаленной обивкой. положил на стол перед собой пачку сигарет с фильтром, закинул ногу на ногу и слегка откинулся. Поставив стакан и кружку на стол, я тоже примостился на старой облезлой табуретке.

— Сейчас, я позвоню маме, — он передвинул к себе телефон и набрал номер. — Мама, я у Толи Гайнуллина... Нет, нет, мы только пивка... Ладно, как только вернусь, позвоню, — положил трубку. — Каждый вечер звонит. Если дома не застанет, у нее истерика начинается. Одно слово — мама.

Он вдруг встал, подошел к шкафу, вытащил что-то из кармана пальто и, держа за спиной, вернулся к столу.

— Гайнуллин, смотри!

И как фокусник, быстро достал из-за спины книжку, подержал немного перед моим лицом. "Александр Голубятов. Голубые сопки", и рисунок на обложке: на фоне сопки — олень, впряженный в нарты, рядом скуластые, с сильно раскосыми глазами северные люди в кухлянках. Онемело, затем как бы запыло в груди, и легкой дурнотой стиснуло горло, я понял: зависть. И раньше он показывал мне с таким вывертом свои книги, но такого ощущения не было. А сейчас... Какое отвратительное чувство, будто меня оскорбил или ограбил. Может быть, это оттого, что у меня сейчас неудача, да я же понимал, что мои рассказы и повести сильнее его северных поделок под Джека Лондона или еще под кого-то, у него почти каждый год книга то там, то тут, а у меня... Что он нарочно, чтобы помучить меня завистью? Нет, конечно, это не похоже на него. Просто это ему приятно, сладостно. Или от нечуткости, молодого непонимания чужой души.

— Поздравляю! — проговорил я как можно бодрее, и натянув на лицо маску радости. — Рад за тебя!

Довольный произведенным впечатлением (знай наших!), он подписал книжку: "Анатолию Гайнуллину, товарищу, с пожеланием творческих успехов".

Потом мы пили пиво, обмывали, так сказать, новую книгу. Голубятов закурил. Я, некурящий, тоже вставил в губы сигарету и подымил. Он сидел, откинувшись, нога на ногу, так сидят, наверное, удачливые, довольные собой люди. Я поглядывал на него — с любопытством, изучающе. Он изменился за эти годы, волосы стали реже, на висках появились редкие сединки, а ведь на первом курсе литинститута ему было всего девятнадцать; борода ему шла, но очень оттеняла нездоровую желтизну лица. Руки у него были очень длинные, кисти — большие, костлявые. Эти костлявые руки, угловатые плечи под пиджаком, тонкая кадыкастая шея и черно-желтое лицо с провалами темно-карих глаз что-то напоминали мне. Вдруг мне почему-то жутко подумалось, что он не доживет до пятидесяти. Откуда такое ощущение?.. В общем, он был славным малым, хорошим товарищем, из всех литинститутцев он единственный продолжал со мной приятельские отношения. Чем-то я ему был интересен и симпатичен. Сейчас, когда он был трезв, спокоен и рассудителен, мне трудно было вообразить его пьяным (пьяным я его никогда не видел, слышал только по телефону), трудно было поверить, что это он куражится в обществе подобранных на улице шлюх.

Я полистал книгу, зная заранее, что не прочту ее, что мне весь этот север с оленями, сопками, чукчами или якутами, медведями неинтересен, зная, что здесь только антураж северный, а все остальное выдуманно, придумано за столом.

— Прочтем, — соврал я и спросил: — Когда ты все это успеваешь, я один рассказ полгода пишу?

— Толя, надо водку пить. После каждого запоя я выхожу из штопора с чувством обновленного мира, с ясной головой и острой жаждой писать. Я могу стучать на машинке двенадцать часов подряд. Повесть "Голубые сопки" из этой книжки я написал за три месяца.

— Я думаю, наоборот, выпивка мешает.

— Смотря кому. Тебе, например, помешает, а Голубятову — нет. Потому что, если положи руку на сердце, я ведь халтурю, халтурю, потому, что есть спрос на такую литературу. А у тебя совсем другое, — проговорил он, напустив на себя грусть.

Я смекнул, что Саша Голубятов, наверное, вовсе не считает в приступе искренности и в порыве самобичевания, что он халтурит, а, напротив, думает о себе, как о большом писателе, но все же сомневается в своих сторонних, отдаленных ощущениях и поэтому хочет услышать от меня возражения, на комплименты напрашивается, и я сказал, понимая, что лицемерю:

— Брось, Саша, у тебя прекрасная проза, дай бог каждому так писать.

— Ты так считаешь. — По лицу его скользнуло удовольствие. — Пока молод, надо побольше сварганить книг, поработать на имя, на авторитет, застолбиться, так сказать, а лет через пяток, как ты советуешь, начну писать в стол, а может, и не в стол, пока, так сказать, количество, а качество чуть позже. А задумки у меня есть. Да, что они тебе написали в издательстве?

— Я уже тебе говорил: не отвечает идейно-художественным требованиям. Я не согласен с этим.

— Отписка, конечно. Давай, еще по одной. Он раскупорил вторую бутылку, выпили. Голубятов закурил новую сигарету, выпустил дым. — А кто написал рецензию?

— Какая-то Журавлева. Второго не помню.

— Не знаю такую. Наверно, литдама, которая рецензиями себе на юбку подрабатывает.

— Слушай, Саша, как ты считаешь? Может, мне рукопись за "бугор" переправить?

— Брось, Толя. Это несерьезно. Ты не Пастернак, не Солженицын, чтобы в "тамиздате" издаваться. Нобелевскую премию не получишь, а в лагерь к Синявскому запросто загремишь. Тебе надо *здесь* напечататься, опубликуешь две книги — в союз примут, я сам дам тебе одну рекомендацию.

— Но как сделать — вот вопрос?

— Учись у Саши Голубятова.

— Ну, за тобой мне не угнаться.

— Не жалуясь, до сих пор везло. Но вот эта книга туговато прошла. Вернули ее один раз с разгромной рецензией. Вернула не "Детская литература", не "Московский рабочий", там меня знают, а солидное издательство, у него свои авторы. Знаешь, кто помог? — Голубятов помолчал и произнес с нарочитой торжественностью: — Руслан Вершинин!

— Кто он такой? Что-то не слыхал.

— Не знаешь? — Голубятов хохотнул. — Не следишь, Гайнуллин, за текущей литературой. Ваню Калошина еще не забыл?

— А чего он вдруг Вершининим стал?

— Псевдоним!

— Очень уж притязательно. Не мог попроще?

— Не будет же печататься такой великий писатель Иваном Калошиным. А тут Вершинин.

— Как он тебе помог?

— Ты и это не знаешь. Он же редактор в издательстве, в отделе прозы.

— Это я слышал.

— Знаешь, как он там живых классиков по плечу похлопывает, учит писать, со всеми на "ты". В общем так, встречаю его в цдээле, разговорились, мол, как живешь, то да се, пятое-десятое, ну я и сказал ему, с какой рецензией вернули рукопись. А он: "Почему сразу мне не принес? Давай, неси, я постараюсь что-нибудь сделать". Я принес, он дал рукопись знакомым рецензентам, две рецензии положительные, сам написал редзакключение, и в план. Но знаешь, Толя, пока книга была в производстве, этот горбун меня буквально изнасиловал. Пил, жрал за мой счет. Придет, открывает холодильник и: "Ну, старик, есть тут у тебя что-нибудь выпить и пожрать?" Держал бутылку специально для него. Потом стал бабу свою приволакивать. Я их на кухне клал.

— Он что, не женат?

— Женат, пегодай. Жена, какая-то уродина в бородавках, старше его лет на десять. Двое детей, трехкомнатная квартира.

— Обустроен. Как это ему удалось? Он же вроде не москвич?

— Пройдоха, даром что горбун. Ты же знаешь, кем он был в литинституте. Таким условия создают.

— Какая же дура с таким уродом ложится?

— Он же *писатель*, да еще редактор. На эту тухлую приманку бабы здорово клюют. Он их в ЦДЛ водит. Да он же ужасно нахален. Как-то я взял его с собой на Горького. Прыгает около баб, как козел, а сам им по пояс, те от него шарахаются, а он за ними, так и подцепил одну.

— Я не горбун, а просто маловат ростом, и то всю жизнь стеснялся подойти к женщинам.

— А у тебя это от чрезмерной скромности, а у него — не от большого ума, да к тому же он пытается компенсировать свою неполноценность.

— Что он пишет?

— Рабочую тему поднимает. Вышло у него три книги. Когда-то, где-то он работал на заводе, что он делал там, не знаю, но пишет о прокатном цехе. Подарил мне свои книги — косноязычное занудство. Прочитал одну главу, дальше не осилил... Давай, допьем.

Мы допили пиво. Голубятов закурил очередную сигарету и какое-то время молча курил, раздумывая что-то, взгляд его ушел вглубь, про меня как будто забыл, и вдруг как бы очнувшись из забытья, заговорил другим, напористым тоном:

— Толя, теперь слушай внимательно. Есть возможность использовать этого Руслана Вершинина. Он мне вот как надоел. — Голубятов провел кистью руки по горлу. — Пусть он теперь к тебе поводит своих б.., а ты ему — рукопись. Водку не надо покупать — разоришься, пусть с собой приносит. Ты же все равно сутки на работе. Собственно, за этим я к тебе и приехал.

— Не-е-т, я не хочу с ним связываться, — возразил я, подумав, представив, как он тут, в моей комнате... — Я вообще его не уважаю.

— Толя, слушай, не будь наивным. Пойми, все делают люди, книги нам издают люди, а не какие-то там... Люди, которые тебе симпатизируют или которые тебе обязаны. Короче говоря, нужен блат. А он, сам знаешь, выше любого министра.

— Не хочу я по благу. Это же ... неудобно...

— Толя, за тобой никто на белом коне не приедет. Дескать, пожалте, Анатолий Минлебаевич. Просидишь тут в своей котельной до старости и умрешь неудачником. Я знаю, он мразь, но ведь ты ему не даешь на лапу, придет, полезит со своей б... и мотай отсюда. А там, глядишь, книжка выйдет и пошлешь его на х... Ты ведь ничего не теряешь. Другого выхода у нас с тобой нет, я хочу тебе помочь, подумай, а.

Ваня Калошин со своей бабой на моей кровати — противно! С другой стороны, почему, собственно, противно? Ну, бывает, на одном курсе учились, однокашник, так сказать, приходит со своей знакомой. Кровать моя, наверное, выдержит, стены не рухнут, сам я не слиняю. А там года через два книга выйдет, ведь тогда я сразу вступлю в другую полосу своей жизни, выше себя подскочу. Но... Вот именно, но... Хотелось до конца идти по прямой, честной и чистой дороге, жить, не поступаясь совестью. Ведь говорят, если он талант, все равно пробьется. Может и так, но только не с моими рассказами, повестями, особенно последней. Так и останусь честным неудачником, состарюсь, слохну, и папки с моими гениальными писаниями выкинут в мусорный контейнер или сдадут в макулатуру. Или наоборот: как сказал какой-то живой классик, бездарность сама пробьется, а таланту надо помочь. Бывает ли успех без компромисса? Может, вся жизнь — это только компромисс. Может, согласиться? Надо подумать, подумать.

— Ладно, я подумаю.

— Я ему дам твой телефон, он позвонит тебе.

К разговору о Калошине мы больше не возвращались, сидели, говорили о том о сем. Голубятов спросил, знаю ли я Маштакова. Я слышал о нем, видел в еженедельнике рассказ с его портретом, совсем еще молодой, но ничего его не читал.

— Я с ним познакомился на семинаре молодых, — рассказывал Голубятов. — Я ему даже свою шапку подарил. Было какое-то обсуждение в цэдээле, просидели допоздна, гардеробщик ушел. Вышли, стали одеваться, а у одного живого классика (Голубятов назвал фамилию очень известного писателя) шапки ондатровой нет, свистнули. Он возмутился, выругался матом, снял с вешалки первую попавшуюся кроличью шапку, нахлобучил на голову и смылся. Приходит этот Маштаков, он в уборной задержался, я его поджидал, чтобы пройти вместе до метро. Стал одеваться — шапки-то нет. Я говорю, классик надел, иди, мол, догоняй, небось далеко не ушел. А он мне: "Что ты, неудобно, пусть носит. Только как я домой доберусь (он жил за городом, а мороз градусов двадцать), ну, я ему свою шапку (я был в куртке с капюшоном). "Ладно, я тебе верну". Я говорю: носи пока, вернешь, когда шапку купишь. Так и не вернул. Сейчас он карьеру себе сделал на рабочей теме, романы о металлургах строчит. Новатор-инженер воюет с консерватором-директором и, конечно, побеждает с помощью парторганизации. Уже секретарь! Встретились с ним на днях в цэдээле — в упор не видит меня, делает вид, что не знакомы. Скурвился, гад! Вот, что значит власть! Толя! Надо стремиться к власти!

— А я считаю, что писатель должен сидеть сиднем и писать книги, а не руководить и заседать.

— В принципе это, конечно, верно, но не забывай ты в каком обществе живем... Что сейчас пишешь?

Я рассказал ему о своей новой повести и на пробу — как воспримет — кратко изложил тот эпизод, где немецкому юноше, приняв его за эссовца, оттяпали голову. Голубятов сразу поскущел, взгляд его ушел в сторону.

— Так, что ли, было на самом деле? — спросил он, недоверчиво скривив губы в раздраженной улыбке.

Я сказал, что все случилось именно так, что на войне бывают вещи страшнее этого.

— Это не пройдет у нас. Да зачем это? — проговорил он уныло.

Я сказал, что, пожалуй, он прав, что я выбросил этот эпизод из повести. Потом перешел на общелитературные разговоры, у меня это как-то прорвалось, потому что, наверное, затосковался по таким разговорам, по такому общению. Лицо Голубятова делалось все грустнее, грустнее; я и раньше замечал: как только я начинал говорить о своих писаниях или вообще о литературе, он как бы сразу отключался и задумывался о чем-то своем; я был ему явно неинтересен, мои рассуждения ему были скучны. Я говорил, говорил. О Хемингуэе, Ремарке, о потерянном поколении, о том, между прочим, что фраза "потерянное поколение" принадлежит американской писательнице Гертруде Стайн, и спросил, читала ли он "Сто лет одиночества" Гарсиа Маркеса.

— Пытался, не осилил. Это не для меня, — ответил он.

Слушая или вовсе не слушая меня, с отрешенным лицом он сидел все в той же позе, откинувшись на спинку стула, и нога на ногу; с каким-то смутным чувством я смотрел на кисть его руки, и она что-то напоминала мне. Длинные костлявые пальцы с утолщением на суставах. Да ведь это рука скелета! Фу, какая ерунда лезет в голову!

В полдвенадцатого я его проводил до автобуса. Сказав: "Жди звонка Калошина", он уехал. Я зашел к себе домой и, захватив "рейнметалл", вернулся в котельную. Спустился в насосную — на манометрах давление было нормальное, чуть подтянул сальник на валу, затем поднялся в бытовку и поставил чайник на электроплитку. Потом, прихлебывая крепкий чай, долго стучал на машинке. Еще одна небольшая глава — и повесть готова. Два дня на вычитку, а что дальше? Может, действительно — добавить к повести несколько рассказов и отдать Калошину?..

Калошин позвонил мне через две недели, когда я о нем уже малость подзабыл. Бойкий тенорок задрезжал в трубке:

— Толя, здравствуй. Это тебя беспокоит Ваня Калошин. Помнишь такого?

— Помню, как не помнить. Но ты, говорят, стал сейчас Русланом Вершининым.

— Да, это для читателя, а для жены и однокашников я остался тем же Ваней Калошиным. (Однокашник тоже мне. Назовись ты хоть Иисусом Христом, будь я немного удачливее, я тебе руки не подал бы.) — Слушай, мне звонил Саша. Значит, ты не возражаешь, если я приду к тебе с бабой?

— Приходи.

— Можно завтра, так, в восемь вечера?

— Можно. Я завтра работаю. Это рядом, в котельной. Зайдешь ко мне.

— Дай координаты.

Я объяснил ему, как ехать от метро на улицу Бойцовую, как найти дом и пройти к котельной.

— Значит, договорились. Ну, пока тогда.

— Пока.

В годы учебы в литинституте я плохо знал Калошина, хотя и учились на одном курсе; не помню, чтобы я с ним когда-нибудь разговаривал или спорил по-приятельски. Он выделялся среди студентов разве только тем, что носил на спине горб, правда, небольшой, и был очень маленького роста. Да ведь к горбтому человеку быстро привыкаешь и скоро перестаешь замечать его изъяз, к тому же горб почему-то не считается увечьем, как, к примеру, колченогость

или кривоглазость. Занимался Калошин на другом семинаре, а что он пишет, есть ли в нем божья искра — я вовсе не знал.

После хрущевской быстротечной оттепели, еще при его же культе, потом, особенно, в первые годы брежневской стабильности, мы уже почувствовали, как со ржавым скрипом, но неотступно виток за витком закручивается гайка, или, вернее, идеологическая гаррота на горле литературы, вообще культуры. Газеты так и чадили политическими доносами и руганью. "Ревизионизм... клевета на советскую действительность... отщепенцы... чей хлеб едите?.. продались за тридцать сребренников... литературные власовцы". Хрущев изничтожил Пастернака, напал на Виктора Некрасова, уточнив, что речь идет не о том Некрасове, а об этом, стучал кулаком на Вознесенского, чехвостил Евтушенко, тот, долговязый, худой, после прохаживался по улице Горького, дескать, глядите, жив я. Начались нападки на "Новый мир". Твардовский отбивался и ходил с валидолом. Жутко ругали, обвинив во всех смертных грехах, Анатолия Кузнецова за рассказ "Актер миманса". Он свихнулся от страха и, спасая от КГБ рукописи, закапывал их на огороде, в деревне, потом, уехав в Англию, попросил там политическое убежище. О нем писали в газетах, что он человек растленный, что, приехав в Лондон, сразу пошел смотреть стриптиз. И началась травля Солженицына. Брежнев вроде бы не ругал литераторов, не стучал на них кулаком, но гарроту приняли костлявые руки долговязого человека с лицом великого инквизитора, человека, которого закордонные голоса называли то кремлевским интриганом, то серым кардиналом. И так далее, и так далее...

А мы, студенты, все еще хмельные от терпких ветров оттепели, продолжали шуметь в литинститутских коридорах, в густом табачном дыму, как в интеллектуальном тумане, мы пытались понять, осмыслить, что происходит со страной, с литературой, с нами. Но уже прежнего вольнолюбивого возбуждения и рискованных разговоров поубавилось, многие насторожились, держали язык за зубами. Был у нас студент Винников, талантливый паренек, его остросюжетные рассказы мне нравились. Был он говорун несусветный, что на уме, то и на языке, в любой компании выкрикивал правду-матку. Однажды в коридоре во время перекура зашел разговор о Брежневе. Винников ляпнул, что генсек-то наш дуб-дубарем, говорит — как кирпичи жует, а как произносит слово "демократия", видно, раньше он это слово никогда не употреблял, вот и получается "дымократия" от слова "дым". Затем прошелся по руководителю семинара Кочетову, рассказал о том, как Кочетов хвастался своей известностью. Кто-то ушлый в Ленинграде, выдав себя за знаменитого писателя Кочетова, купил билет на самолет, а Кочетову пришлось ехать на "стреле". Кто-то другой, однофамилец, под Кочетова устроился в гостиницу и так далее, и так далее. "Это, ребята, обратная сторона всенародной славы", — будто сказал Кочетов. И вдобавок этот Винников отозвался о ректоре института, что тот ретроград. Язык мой — враг мой, словом, Винникова, придравшись к тому, что он не вовремя сдал курсовые работы и пропускает творческие семинары, отчислили из института. Кто-то ведь донес...

Западноевропейскую литературу нам читал профессор Жук. Преподавал он у нас по совместительству, основная его работа была в МГУ. Однажды на лекциях, рассказывая о буржуазных модернистах, чуждых нашей идеологии и заклятых врагах социализма, он позволил себе отступление и сказал, что, между нами, сам лично он таких замечательных писателей как Джойс, Кафка, Сартр, Камю вовсе не считает неприемлемыми для нас, что их надо бы широко издавать у нас, и от этого наша культурная жизнь только обогатилась бы. А после перемены профессор Жук пришел в аудиторию поникшим, смурным. Белок его левого глаза был залит кровью.



— Товарищи, среди вас есть сексот или добровольный стукач, — сказал он спокойно и просто. — То, что я вам говорил о модернистах, кто-то из вас слово в слово донес начальству. Вызвал меня Найденов (Найденов, критик, был секретарем парткома института) и говорил со мной на довольно повышенных тонах, так что вот сосуд в глазу лопнул.

Кое-как дочитав лекцию, он ушел, и больше профессора Жука никогда не видели мы в стенах нашего института.

Мы все гадали: кто же этот стукач? Грешили друг на друга. Думали на одного лейтенанта-заочника, работавшего редактором в каком-то военном журнале, думали на ребят бойких, общительных, подозревали, может, и меня. Но никому не могло прийти в голову, что им окажется маленький горбатенький студентик, тогда еще тихоня и скромник. Узнали только на пятом курсе, кто-то из лаборанток выдал. Ну и что, что узнали? Не возмутились же во всеуслышание, не вlepили стукачу пощечину, не обозвали его подонком, а, пошептавшись по углам, помалкивали в тряпочку. И языки больше не распускали при нем. Всем хотелось благополучно окончить институт и получить эту вожденную "корочку".

Потом был выпускной банкет. Собрали с "носа" по четвертаку и в конференцзале устроили пир. Все захмелели, всем казалось, что они уже гении, двери "Нового мира" для нас распахнуты, ждет нас слава, принятие в Союз писателей и, наконец, вручение в Кремле диплома лауреата. Потом, хмельные и независимые, мы вышли в институтский скверик с Герценом, вспомнили о стукаче, окружили его плотным кольцом наших разгневанных кулаков и стали толкать и швырять его от одной стенки к другой. Кто-то заехал ему по шее, кто-то пнул в зад. А он: "Что вы, ребята? За что?" — "Ты знаешь, за что". — "Не бей его, ребята, по горбу, а то выпрямим, кому он нужен без горба?" Калошин упал, кто-то харкнул на него лежащего, и мы, оставив стукача в сквере, пошли гурьбой по улице... Такой вот человек должен был придти ко мне...

*(Окончание следует)*



---

---

# Татьяна Смертина

## ТРАВНИК

### ИВАНОВА ТРАВА

Под белым крылом тумана —  
Язычное зелье Ивана.  
Огнец, иван-чай,  
Лесная свеча.  
Метельчат и прян,  
И сине-багрян,  
Средь жаркого лета  
Слегка фиолетов...

Изрезанный лист —  
На рану ложись!

Настой пили ране  
От болей в гортани,  
От злой золотухи,  
От немочей разных,  
Когда мают глухо  
Утробные язвы...

Совхоз косы точит.  
Купальские ночи!  
И хохот и всплески,  
Заря — занавеской...  
Плеча лунный край...  
Молочность тумана...

Траву собирай,  
Когда  
Мужик рьяно  
Напильником правит  
До злости осиной  
Зеленое жало  
Литовки любимой.

### ОДУВАНЧИК

Придорожь, дух — вон!  
Золотом клубит.  
Корень-желчегон  
Будит аппетит.  
Нужен сок пухлянки  
От камней, водянки.

Овод ранит кожу —  
Млечный сок поможет.

В небо пух плывет.  
Знать тесны поля?  
Дерзкий взлет-полет  
Примет мать-земля...

Воздохнет дубок —  
Тоже метит ввысь!  
А трава у ног  
Воспевает жизнь,  
Медовисто льнет,  
Только тыщи лет —  
Рвется наша плоть  
За душой лететь!

Звездные глубины.  
Крылья из холстины.  
Это с колокольни,  
Обнимая синь,  
Прадед мой покойный  
Ухнул в плынь.

## КАЩЕЙ-ТРАВА

По елкам виснет млея  
Кащей-трава. Уснея.

Примочки из уснеи  
Живительные очень.  
Коль язвы одолели,  
Нарывы тело точат,  
Сильна печать ожога —  
Тут мох седой  
Подмога.  
Рви бороды те бойко  
И применяй в настойке...

За старым коль сударка —  
Кащей-траву мочалкой  
Совала мужу в бане:

— А утробься, старичок,  
Лешьими кудрями!  
Выдана насильно я,  
Что мне злато вблизи старья?  
Мне милее — полынья.

А сударушка теперь —  
Льнет к старью, что мошка.  
На Кащеевый кошель  
Зарится, что кошка.  
Где Душа?  
Святая Стрась?

Жемчуг тела  
Стелет в грязь.

## ВЕРОНИКА ДУБРАВНИЦА

Зелье грыжное, миронник,  
Синеочница, дубровник.  
Силой тайною права  
Так же, как печаль-трава.

Нежнотелом травку звали  
И наружно применяли  
Верониковый настой  
При свербежных сыпях,  
И при нечисти любой,  
Ранах незажитых,  
Если вдруг лизнул ожог,  
Иль грибок не сходит с ног...

Лечат снадобья и зелья,  
Не гнушись и суевья:  
Причет-шепот над бедой,  
Легких рук касанье,  
Волхованье над тобой —  
Отведут страданье.  
Болью сломанную бровь —  
Тихо выпрямит любовь.

Кто врачует, длит нам годы —  
Бескорыстен от природы.  
Эта правда на века —  
Лечит чистая рука.

## БЕЛОЕ КРОПИЛО

Для чего вновь жива  
Кроволейка-трава?  
Цветом белым бледна,  
Кровянит — так до дна.  
Чем кропишь? Не дождем...  
Послужи-ко добром  
Свойством льющимся тем —  
От закупорки вен...

Телкам донников смесь  
Не давай переестъ.  
Ведь коровья-то смерть,  
Как на бабоньку плеть —

Остежит горячо,  
Затрясется плечо.  
С рук подошник летит —  
Погребально звенит...

А моя-то уж стог  
У дорог не сзорит,  
Уж не взденет на рог  
Юбку красной зари...  
Уж не взбрыкнет в ведро,  
Даст поспать мне часок!  
Только ныне мой сон —  
Угвоздил мертвый рог.

## ЧЕРНОКОРЕНЬ

Чернокорень ядовит,  
Силу вещью таит.  
Нужен корень для леченья  
Против болей, воспаления —  
При ушибах, переломах  
(Чтоб быстрее срастались кости);  
Язвах, ранах и ожогах,  
Золотухе и коросте.

Коль взбесился домовый —  
Этим зельем успокой:

— Царь-мохнат, не балуй боле.  
Вот тебе трава воловья,  
Не грызи зерна, беспутый!

Девкам волосы не путай.  
Не дырявь тулуп овечий,  
Не бросай поленом с печи,  
Молодайку не замай —  
Бисер с шеи не срывай...

Тут на бабушкины речи  
Девка выглянула с печи:  
Кудри-бесы выют вьюнами,  
Набегают прядь на прядь,  
И рубаха — лепит стать,  
И колена взмельк — снегами!

Охнул-ахнул домовый,  
Опрокинул ковш с водой.

---

---

*Джордж Оруэлл*  
**ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ**

---

Не отвечай глупому по глупости его,  
чтоб и тебе не сделаться подобным ему.  
Но отвечай глупому по глупости его,  
чтоб он не стал мудрецом в глазах своих.

Притчи 26, 4 — 5

1

За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.

Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25-26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека — я имею в виде мужчину, — который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:

— Italiano? <sup>1</sup>

— No, inglès. Y tú? <sup>2</sup> — ответил я на своем ломаном испанском.

— Italiano.

Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку. У меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видаться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.

Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны — красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.

---

<sup>1</sup> Итальянец?

<sup>2</sup> Нет, англичанин. А ты?

Copyright © the Estate of Eric Blair, 1938, 1943.

Printed in Belgium. Печатается по тексту: Джордж Оруэлл «Памяти Каталонии»

Editions de la Seine. Paris.

Было это в конце декабря 1936 года, то есть менее семи месяцев назад, но время это кажется ушедшим в далекое, далекое прошлое. Позднейшие события вытравили его из памяти более основательно, чем 1935 или даже 1905 год. Я приехал в Испанию с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почти-тельные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше "сеньор" или "дон", не говорили даже "вы", — все обращались друг к другу "товарищ" либо "ты" и вместо "Buenos días" говорили "Salud"! <sup>1</sup>

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок — заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками — красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города — Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К "прилично" одетым можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, — почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по почтам улицы едва освещались — предосторожность на случай воздушного налета, — полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстра-

<sup>1</sup> Добрый день. Салют, привет.

ивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд. Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же — была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры — больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англо-саксонских стран казалась умильной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались — по несколько центавос<sup>1</sup> штука — наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбивали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были — "секция" (примерно тридцать человек), "центурия" (около ста человек) и "колонна", которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с мажором и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещения еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные футбольные матчи — пятьдесят на пятьдесят — на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами, и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не пускали, ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем, таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос — побочные продукты революции. Во всех уголках валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые пошны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзи-

1 Мелкая монета.

на хлеба — вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе пуждалось. Мы ели за длинными столами — доски на козлах, — из саленных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки — поррона. Поррон — это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить только на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о "форме", но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать "формой" в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать "мультиформа". Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие — обмотки, третьи — высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров P.O.U.M.,<sup>1</sup> вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы "все ополченцы получили по одеялу". От этой фразы мороз пробирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы — в большинстве своем шестнадцати-семнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, — совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его "сеньором". "Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи?" Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему

1 P.O.U.M. — Partido obrero unificado Marxista — Объединенная партия рабочих-марксистов.



отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего несколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, — как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном Р.О.У.М., положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходявшие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменили. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.

Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади Plaza de España. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал капючить:

— Ио се манехар фузиль. Но се манехар аметраллудора. Киеро апрендер аметраллудора. Куандо вamos апрендер аметраллудора?<sup>1</sup>

В ответ он всегда смущенно улыбался и обещал начать обучать стрельбе из пулемета "маньяна". Нечего и говорить, что это "завтра" никогда не наступило. Прошло несколько дней, и новобранцы научились ходить в строю и неплохо вытягиваться по команде "смирно". Кроме того, они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но на том и кончались все их военные познания. Однажды, во время перерыва в занятиях, к нам подошел вооруженный карабинер и позволил посмотреть свою винтовку. Оказалось, что из всего моего взвода, кроме меня, никто не умел даже зарядить винтовку, не говоря уж об умении целиться.

Все это время я продолжал единоборство с испанским языком. В казармах кроме меня был только еще один англичанин, даже офицеры не знали ни слова по-французски. Мое положение затруднялось еще и тем, что между собой мои товарищи говорили по-каталонски. Мне не оставалось ничего другого, как

<sup>1</sup> Я умею обращаться с винтовкой. Я не умею обращаться с пулеметом. Хочу выучить пулемет. Когда мы будем заниматься пулеметом?

всюду таскать с собой словарь, который я всякий раз выхватывал из кармана в критический момент. Но если уж быть иностранцем, то только в Испании! Как легко приобретаются здесь друзья! Не прошло и двух дней, как человек двадцать ополченцев звали меня по имени, помогали узнать все местные ходы и выходы, проявляли чудеса гостеприимства. Я не пишу пропагандистской книжки и не собираюсь идеализировать ополченцев R.O.U.M. Вся эта система имеет серьезные недостатки, да и публика была разношерстная, ибо к тому времени записи добровольцев сократилась, а большинство лучших людей уже было на фронте или даже погибло. Был в наших рядах и абсолютно бесполезный элемент. Родители приводили записывать пятнадцатилетних ребят, не скрывая, что делают они это ради десяти пезет в день — нашего дневного жалования, а также ради хлеба, который ополченцы получали вволю и могли тайком передавать родителям. Но я убежден, что каждый, кто попадет в среду испанских рабочих (следует, пожалуй, сказать — каталонских рабочих, ибо среди моих знакомых, кроме нескольких арагонцев и андалузцев, были только каталонцы), будет поражен их внутренним благородством, и прежде всего — их прямоотой и щедростью. Испанская щедрость, щедрость в полном смысле этого слова, по временам даже способна смутить. Если вы попросите сигарету, испанец будет настаивать, чтобы вы взяли у него всю пачку. Но кроме того, есть в них щедрость в более глубоком смысле, подлинная широта души, с которой я встречался не раз и не два в наиболее трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и других иностранцев, ездивших по Испании во время войны, заявлял, что в глубине души испанцы горько сетуют на иностранную помощь. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне ничего подобного наблюдать не приходилось. Я помню, что за несколько дней до того, как я покинул казармы, с фронта в отпуск прибыла группа бойцов. Они возбужденно делились своими фронтовыми впечатлениями и с энтузиазмом рассказывали о какой-то французской части, которая стояла рядом с ними под Уэской. Французы дрались храбро, — говорили они, добавляя с воодушевлением: "Мас валентес ке нострос", "Смелее нас!" Я, конечно, возражал, но они мне разъяснили, что французы лучше их знали военное дело, лучше бросали гранаты, стреляли из пулемета и т.д. Этот эпизод очень характерен. Англичанин скорее дал бы себе руку отрезать, чем сказал бы что-либо подобное.

Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в отчаяние от некоторых черт их характера. На фронте это отчаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы многое делают хорошо, но война — это не для них. Все иностранцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде всего, — от их чудовищной непунктуальности. Есть испанское слово, которое знает — хочет он этого или нет — каждый иностранец: "таһана", "завтра" (буквально — "утро"). При малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с сегодняшнего дня на "маньяна". Это факт такой печальной известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испании ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не происходит в назначенное время. Как правило все опаздывает; но время от времени, как будто специально для того, чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некоторые события происходят раньше назначенного срока. Поезд, который должен уйти в восемь, обычно уходит в девять-десять, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхищаюсь испанцами за пренебрежение временем, превратившимся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим неврозом.

После множества слухов, таһанас и отсрочек, мы внезапно получили приказ двинуться в сторону фронта через два часа, хотя нам еще не успели вы-

дать всего нужного снаряжения. В результате некоторым бойцам пришлось отправиться в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлынули неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые принялись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать рюкзаки. Как это ни унижительно, но мой новый кожаный патронташ помогла мне приладить испанка, жена Вильямса, еще одного англичанина-ополченца. Это было нежное, темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее единственное предназначение — качать детей в колыбели, но она храбро дралась во время июльских уличных боев. В казармы она пришла с ребенком, родившимся через десять месяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, запарившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение, полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных накрест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов, топанье ботинок и позвякивание жестяных фляг, а потом громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец, возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем вели нас самым длинным путем, километров пять или шесть, чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько минут остановили, чтобы выслушать революционный марш, исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфаторов — крики и энтузиазм, красные и красно-черные флаги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины, машущие из окон домов. Каким естественным все это казалось тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня! В поезд набилось так много народу, что не было места даже на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю минуту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставя позади Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с обычной для военного времени скоростью — около двадцати километров в час.

## 2

Город Барбастро, хотя и лежал далеко в тылу, вид имел мрачный и обшарпанный. Толпы ополченцев в потрепанной форме шагали по улицам, стараясь согреться. На развалившейся стене я обнаружил прошлогодний плакат, гласивший, что такого-то числа на арене будет убито "шесть красивых быков". Сколько уныния было в этих выцветших красках плаката! Куда делись "красивые быки" и красивые матадоры? Даже в Барселоне, как я слышал, бои быков почти не устраивались. Почему-то все лучшие матадоры оказались фашистами.

Нашу роту повезли на грузовиках в Съетамо, а затем западнее в Алькубьерре, село, лежащее сразу же за линией фронта у Сарагосы. Съетамо трижды переходило из рук в руки, пока в октябре анархисты окончательно не утвердились в городе. Часть домов была разрушена снарядами, а почти все остальные носили следы пуль. Теперь мы находились на высоте 500 метров над уровнем моря. Было чертовски холодно, неизвестно откуда надвинулся густой туман. Шофер грузовика заблудился где-то между Съетамо и Алькубьерре (одна из неотъемлемых черт этой войны), и мы много часов кряду искали дорогу в тумане. В Алькубьерре мы прибыли поздней ночью. Кто-то повел нас через грязные лужи к конюшне для мулов. Мы закопались в мякину и сразу же заснули. В мякине спать не плохо, хуже чем в сене, но лучше чем на соломе.

Лишь при утреннем свете я обнаружил, что в мякине полно хлебных корок, рваных газет, костей, дохлых крыс и мятых консервных банок из-под молока.

Теперь мы были недалеко от фронта, достаточно близко, чтобы уловить характерный запах войны — по моему опыту — это запах кала и загнивающей пицц: Алькубьерре не подвергалось бомбардировке и выглядело благополучнее большинства других сел в прифронтовой полосе. Но, мне думается, что даже в мирное время каждому, кто проезжал эту часть Испании, не могла не броситься в глаза особая, грязная нищета арагонских деревень. Они построены как крепости со множеством скверных, уютящихся вокруг церкви хибарок, слепленных из глины и камней. Даже весной вы нигде не увидите цветка, возле домов нет палисадников, — лишь задворки, где тощие куры бегают по навозным кучам. Погода была отвратительная: то дождь, то туман. Узкие дороги превратились в моря сплошной грязи. В ней буксовали грузовики и плыли неуклюжие крестьянские телеги, влекомые вереницей мулов; иногда в упоржке шло шесть мулов, всегда впрягаемых цугом. Из-за отрядов войск, непрерывно тннувших через село, оно утопало в невообразимой грязи. Здесь никогда не знали, что такое уборная или канализация какого-либо рода; в результате теперь не оставалось ни одного клочка земли, по которому можно было бы пройти, не глядя с опаской под ноги. Церковь уже давно использовали в качестве уборной, загадили и поля на сотни метров вокруг. Первые два месяца войны навсегда связаны в моей памяти с холодными сжатыми полями, покрытыми по краям коркой человеческих испражнений.

Прошло два дня, но мы еще не получили винтовок. Побывав в Comitè de Guerga<sup>1</sup> и осмотрев ряд дырок в стене — следы пуль (здесь расстреливали фашистов), вы исчерпывали все достопримечательности Алькубьерре. На фронте, видимо, было затишье; через село проходило очень мало раненых. Главным развлечением было прибытие дезертиров из фашистской армии, которых приводили под конвоем. На этом участке многие из солдат, сражавшихся против нас, были вовсе на фашисты, а незадачливые мобилизованные, имевшие несчастье проходить действительную службу в тот момент, когда началась война, и мечтавшие о побеге. Время от времени небольшие группки этих солдат решались на переход линии фронта. Нет сомнения, что число дезертиров было бы больше, если бы у многих из них родственники не оставались на фашистской территории. Эти дезертиры были первыми "настоящими" фашистами, которых я увидел. Меня поразило, что они ничем не отличались от наших, если не считать комбинезонов цвета хаки. Они всегда прибывали к нам голодными как волки, после одного или двух дней блуждания по ничейной земле. Но у нас с триумфом подчеркивали, вот, дескать, фашистские войска умирают с голоду. Я смотрел, как кормили одного из дезертиров в крестьянском доме. Зрелище было, скорее, печальным. Высокий парень лет двадцати, с сильно обветренным лицом, в изорванной одежде, присев на корточки возле очага, с отчаянной быстротой кидал себе в рот из миски ложку за ложкой тушеное мясо; его глаза, не переставая, бегали по лицам ополченцев, стоявших вокруг и глзавших на него. Я думаю, он еще наполовину верил в то, что мы кроважденные "красные", которые расстреляют его, как только он кончит еду; вооруженный часовой успокаивающе похлопывал парня по плечу, что-то приговаривая. Запомнился день, когда враз явилось пятнадцать дезертиров. Их с триумфом провели через всю деревню, причем впереди ехал человек на белом коне. Мне удалось сделать не очень удачную фотографию, которую у меня потом украли.

На третий день нашего пребывания в Алькубьерре прибыли винтовки. Старший сержант в грубоватым темно-желтым лицом выдавал нам оружие в

<sup>1</sup> Военный комитет.

копюшне. Я пришел в отчаяние, увидев, что выпало на мою долю. Это был немецкий "Маузер" образца 1896 года, то есть более чем сорокалетней давности. Винтовка заржавела, затвор ходил с трудом, деревянная накладка ствола была расколота, один взгляд в дуло убедил меня, что и оно безнадежно заржавело. Большинство винтовок было не лучше, а некоторые даже хуже моей. Никто даже не подумал о том, что винтовки получше следовало бы дать тем, кто умеет с ними обращаться. Самая лучшая винтовка, сделанная всего десять лет назад, оказалась у пятнадцатилетнего кретина по прозвищу *maicón* ("девчонка"). Сержант отвел на обучение пять минут, разъяснив, как заряжать винтовку и как разбирать затвор. Многие из ополченцев никогда раньше не держали винтовку в руках и лишь очень немногие знали, зачем нужна мушка. Были розданы патроны по пятьдесят штук на человека. Затем нас выстроили в шеренгу, и мы, закинув за спину рюкзаки, двинулись в сторону фронта, находившегося всего в пяти километрах от нас.

Центурия — восемьдесят человек и несколько собак — вразброд отправились в путь. Каждая колонна ополчения имела при себе в качестве талисмана, по меньшей мере, одну собаку. Возле нас плелся несчастный пес, на шкуре которого выжгли большими буквами P.O.U.M. Казалось, что он стыдился своего злосчастного вида. Впереди колонны, рядом с красным знаменем, ехал на вороном коне наш командир, крижистый бельгиец Жорж Конп. Чуть впереди его гарцевал молодой и очень смахивающий на бандита боец ополченской кавалерии. Он галопом взлетал на каждый бугорок и застывал на вершине в самых живописных позах. Во время революции было захвачено много отличных лошадей испанской кавалерии, лошади были отданы ополченцам, которые, разумеется, делали все, чтобы заездить их насмерть.

Дорога вилась среди желтых неплодородных полей, запущенных еще со времени сбора прошлогоднего урожая. Впереди лежала низкая сьерра, отделяющая Алькубьерре от Сарагосы. Мы приближались к фронту, приближались к бомбам, пулеметам и грязи. В глубине души я испытывал страх. Я знал, что в данную минуту на фронте затишье, но в отличие от большинства моих соотечественников я помнил первую мировую войну, хотя и не принимал в ней участия. Война связывалась у меня со свистом пуль, градом стальных осколков, но прежде всего она означала грязь, вши, голод и холод. Как ни странно, но холода я боялся больше, чем врага. Мысль о холоде преследовала меня во время моего пребывания в Барселоне; случалось даже, что я не спал по ночам, думая о холоде в окопах, о побудке в предрассветной мгле, о долгих часах на карауле, с заиндевшей винтовкой, о ледяной грязи, попадающей в башмаки. Признаюсь, что я испытывал нечто вроде ужаса, глядя на людей, маршировавших рядом со мной. Вы, пожалуй, не сможете себе представить, что это был за сброд. Мы тащились по дороге, как стадо баранов; не успев пройти и двух километров, мы потеряли из виду конец колонны. А половина наших так называемых бойцов была детьми, причем, детьми в буквальном смысле слова, ребятами не старше шестнадцати лет. Но все они были счастливы и приходили в восторг от мысли, что наконец-то идут на фронт. Приближаясь к линии фронта, ребята, шедшие впереди с красным знаменем, начали выкрикивать: "*Viska P.O.U.M.! Fascistas maicónes!*"<sup>1</sup> и так далее. Им хотелось, чтобы эти крики были воинственными и угрожающими, но в ребячьих устах они звучали жалобно, как мяуканье котят. Так вот они — защитники Республики — толпа оборванных детей, вооруженных изношенными винтовками, с которыми они не умели даже обращаться. Помню, я задавал себе тогда вопрос: а что, если над нашими головами вдруг появится фашистский самолет? Станет ли летчик пикировать на нас и выпу-

<sup>1</sup> Да здравствует ПОУМ! Фашисты — трусы!

стит ли пулеметную очередь? Я уверен, что даже с воздуха было видно, что мы не настоящие солдаты.

Дойдя до сьерры, мы повернули направо и стали взбираться по узкой тропе для мулов, вившейся по склону горы. В этой части Испании холмы имели странную форму — подковообразные, с плоскими вершинами и очень крутыми склонами, опадавшими в глубокие овраги. На холмах рос только карликовый кустарник и вереск, всюду виднелись белые кости известняка. Фронт не представлял здесь сплошной линии окопов; в этой гористой местности ее трудно было бы построить; это была цепь укрепленных постов, сооруженных на вершинах холмов. Их называли "позициями". Издалека можно было увидеть нашу "позицию" на вершине подковы: неровная баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг, дым костра. Подойдя ближе, вы чувствовали тошнотворную, приторную вонь, от которой я не мог потом отделаться в течение долгих недель. Месяцами все отбросы сваливались прямо у позиции — гора гнилых хлебных корок, эксcrementов и ржавых банок.

Рота, которой мы пришли на смену, собирала свои рюкзаки. Они держали фронт три месяца; форма солдат была вся в грязи, их башмаки разваливались, почти все они заросли густой щетиной. Из своего окопа вылез капитан, командир позиции Левинский, которого все, впрочем, звали Бенжамен. Это был польский еврей, говоривший по-французски как француз, молодой человек лет двадцати пяти, невысокого роста, с черными жесткими волосами, с бледным и живым лицом, которое, как у всех на этой войне, было постоянно грязным. Высоко над нами свистнуло несколько случайных пуль. Позиция представляла собой полукруг, диаметром примерно в сорок пять метров, с бруствером, сложенным из мешков с песком и кусков известняка. Здесь же было открыто около тридцати или сорока окопчиков, напоминавших крысиные норы. Вильямс, я и испанец, шурин Вильямса, нырнули в первый приглянувшийся нам свободный окоп. Где-то впереди время от времени бухали винтовочные выстрелы и прокатывались эхом по каменистым холмам. Мы едва успели скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался новый выстрел, и один из наших ребяташек отскочил от бруствера; кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и каким-то образом умудрился взорвать затвор; осколки разорвавшейся гильзы в ключья порвали ему кожу на голове. Это был наш первый раненый, и ранил он себя сам.

Вечером мы выставили свой первый караул, и Бенжамен показал нам всю позицию. Перед бруствером в скале была выбита сеть узких траншей, с примитивными амбразурами, сложенными из кусков известняка. В этих траншеях и за бруствером размещалось двенадцать часовых. Перед окопами была натянута колючая проволока, а потом склон опадал в, казалось, бездонный овраг. Напротив виднелись голые холмы, серые и холодные, местами просто обнаженные скалы. Нигде не видно было и следа жизни, даже птицы не летали. Я осторожно глянул в амбразуру, пытаюсь обнаружить фашистские окопы.

— Где противник?

Бенжамен описал рукой широкий круг.

— Там. (Бенжамен говорил на кошмарном английском).

— Где там?

По моим представлениям о позиционной войне, фашистские окопы должны были находиться в пятидесяти или ста метрах от наших. Я же не видел ничего, — по-видимому, их окопы были очень хорошо замаскированы. И вдруг я понял, что Бенжамен показывает на верхушку лежащего напротив нас холма, за овраг, по меньшей мере в семистах метрах от нас. Я увидел тонкую полоску бруствера и красно-желтый флаг — фашистская позиция. Я был невероятно разочарован. Мы находились так далеко от противника! На этом расстоянии от

наших винтовок пользы не было никакой. Но в этот момент раздался чей-то возбужденный возглас. Два фашиста (из-за расстояния мы различали только две серые фигурки) ползли по голому склону противоположного холма. Бенжамен выхватил у стоящего рядом бойца винтовку, прицелился и нажал спусковой крючок. Щелк! Холостой патрон; я подумал: скверное предзнаменование.

Не успели новые часовые занять свои посты в траншее, как они открыли яростный огонь, стреляя в белый свет, как в копеечку. Я видел фашистов, — маленькие как муравьи, они сновали за бруствером туда и обратно, а по временам, на мгновение, как черная точка, нахально высывалась незащищенная голова. Было очевидно, что стрелять совершенно бесполезно. Но, тем не менее, стоящий слева от меня часовой, по испанскому обычаю покинувший свой пост, подсел ко мне и стал упрашивать, чтобы я выстрелил. Я пытался объяснить ему, что попасть в человека на таком расстоянии из моей винтовки можно, разве что, случайно. Но это был сущий ребенок: он продолжал показывать винтовкой на одну из точек, нетерпеливо скаля зубы, как собака, ждущая момента, когда она сможет броситься вслед за кинутым камушком. Не выдержав, я поставил прицел на семьсот метров и пальнул. Точка исчезла. Надеюсь, что пуля прошла достаточно близко, чтобы фашист подскочил. Впервые в жизни я выстрелил в человека.

Увидев наконец-то фронт, я вдруг почувствовал глубокое отвращение. Какая же это война?! Мы почти не соприкасались с противником, я ходил по окопу в полный рост. Но чуть погода, мимо моего уха с отвратительным свистом пролетела пуля и врезалась в тыльный траверс. Увы! — Я пригнулся. Всю свою жизнь я клялся, что не поклонюсь первой пуле, которая пролетит мимо меня, но движение это, оказывается, инстинктивное, и почти все, хотя бы раз, его делают.

### 3

В окопной жизни важны пять вещей: дрова, еда, табак, свечи и враг. Зимой на Сарагосском фронте они сохраняли свое значение именно в этой очередности, с врагом на самом последнем месте. Враг, если не считаться с возможностью ночной атаки, никого не занимал. Противник — это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как бы согреться.

Попутно замечу, что за все время моего пребывания в Испании я видел очень мало боев. Я находился на Арагонском фронте с января по май, но между январем и концом марта на фронтах, если не считать Теруэльского, ничего, или почти ничего, не происходило. В марте шли тяжелые бои за Хуэску, но лично я принимал в них очень небольшое участие. Позднее, в июне, была эта злосчастная атака на Хуэску, в ходе которой несколько тысяч человек было убито в один день, я же был ранен еще до этого. Все то, что принято называть ужасами войны, почти не коснулось меня. Самолеты не сбрасывали бомб поблизости, снаряды, сколько я помню, никогда не разрывались ближе чем в пятидесяти метрах от меня. Лишь однажды я участвовал в рукопашной схватке. (Замечу, что один раз — это на один раз больше, чем нужно.) Я, конечно, часто попадал под пулеметный огонь, но обычно огонь велся с далекого расстояния. Даже под Хуэской было сравнительно безопасно, при условии, что вы принимали разумные меры предосторожности.

Здесь, среди холмов, окружающих Сарагосу, нас донимали только скука и неудобства позиционной войны, — жизнь, как у городского клерка лишенная существенных событий и почти такая же размеренная: караул, патруль, рытье окопов; рытье окопов, патруль, караул. На вершинах холмов фашисты или ре-

спубликанцы, горстки оборванных, грязных людей, дрожащих вокруг своих флагов и старающихся согреться. А дни и ночи напролет — случайные пули, летящие через пустые долины и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств попадающие в человеческое тело.

Часто, глядя на холодный, зимний пейзаж, я думал о тшете всего происходящего. Войны наподобие этой всегда заканчиваются ничем. Раньше, в октябре, за эти холмы велись отчаянные бои; а потом, когда из-за нехватки солдат, оружия и, в первую очередь, артиллерии, крупные операции стали невозможными, обе армии окопались и закрепились на вершинах тех холмов, которые им удалось захватить. Вправо от нас держал позицию небольшой отряд P.O.U.M., а левее на отроге находилась позиция P.S.U.C., перед которой высилась гора, усыпанная точками фашистских постов. Так называемая линия фронта шла такими зигзагами взад и вперед, что никто не смог бы разобратся в положении, если бы над каждой позицией не реял флаг. P.O.U.M. и P.S.U.C. вывешивали красный флаг, анархисты — красно-черный, либо республиканский — красно-желто-пурпурный. Вид был изумительный, следовало только забыть, что вершину каждой горы занимали солдаты, а крутом все было загажено консервными банками и человеческим калом. Вправо от нас сьерра поворачивала на юго-запад, освобождая место широкой, с прожилками потоков, равнине, тянущейся до самой Хуэски. Посреди равнины было разбросано несколько маленьких кубиков, напомилавших игральные кости; это был город Робрес, находившийся в руках фашистов. Часто по утрам долина тонула в море облаков, над которыми высились плоские голубые холмы, делавшие пейзаж похожим на фотонегатив. За Хуэской виднелось много таких холмов, покрытых меняющимися каждый день снежным узором. Далеко-далеко плыли в пустоте исполинские вершины Пиренеев, на которых никогда не тает снег. Но и внизу в долине все выглядело мертвым и голым. Видневшиеся напротив холмы были серы и сморщены, как кожа слона. В пустом небе почти никогда не появлялись птицы. Никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивающих ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним солдаты.

По ночам и в туманные дни в долину, лежащую между нами и фашистами, уходили патрули. Наряды эти никто не любил — слишком холодно, да и заблудиться недолго. Вскоре я выяснил, что могу идти в патруль всякий раз, когда мне вздумается. В огромных ушелях не было ни дорог, ни тропинок; нужно было каждый раз запоминать приметы, чтобы найти дорогу обратно. По прямой линии фашистские окопы находились от нас в семистах метрах, но чтобы добраться до них нужно было пройти больше двух километров. Мне доставляло удовольствие блуждать в темных долинах под свист случайных пуль, с птичьим тирликаньем пролетавших высоко над головой. Еще лучше были вылазки в туманные дни. Туман часто держался весь день; обычно он покрывал только вершины, а в долинах было светло. Приближаясь к фашистским позициям, следовало ползти медленно, как улитка; было очень трудно передвигаться бесшумно по склонам холмов, не ломая кустов и не роняя камней. Лишь на третий или четвертый раз мне удалось подобраться к фашистской позиции. Лежал очень густой туман, я подполз вплотную к колючей проволоке и начал прислушиваться. Фашисты разговаривали и пели. Но потом я вдруг со страхом услышал, что несколько из них спускаются по холму в моем направлении. Я спрятался за куст, который вдруг показался мне очень маленьким, и попытался бесшумно взвести курок. Но фашисты свернули в сторону, не дойдя до меня. За прикрывшим меня кустом я обнаружил различные следы прежних боев —



горку пустых гильз, кожаную фуражку с дыркой от пули, красный флаг, несомненно, принадлежавший нашим. Я забрал флаг с собой, на позицию, где его без всяких сантиментов порвали на тряпки.

Как только мы прибыли на фронт, меня произвели в капралы, или сабо, как говорили испанцы. Под моей командой было двенадцать человек. Должность не была синекурой, особенно на первых порах. Центурия представляла собой необученную толпу, состоявшую главным образом из мальчишек 15-18 лет. Случалось, что в отрядах ополчения попадались дети 11-12 лет, обычно беженцы с территории, занятой фашистами. Запись в ополчение была наиболее простым способом их прокормить. Как правило, детей использовали на легких работах в тылу, но случалось, что они попадали и на фронт, где превращались в угрозу для собственных войск. Я помню, как такой звереныш кинул в свой же окоп гранату, "для смеху". В Монте-Почеро, сколько мне помнится, не было никого моложе пятнадцати лет, хотя средний возраст бойцов был значительно ниже двадцати. Пользы от ребят этого возраста на фронте нет никакой, ибо они не могут обходиться без сна, что в окопной войне совершенно неизбежно. Сначала никак нельзя было наладить ночную караульную службу. Несчастных ребятшек из моего отделения можно было разбудить только вытащив за ноги из окопа. Но стоило лишь повернуться к ним спиной, как они бросали пост и ныряли в свой окопчик, или же, несмотря на дикий холод, мгновенно засыпали, стоя, опершись на бруствер. К счастью, враг был на редкость малопредприимчив. Бывали ночи, когда мне казалось, что двадцать бойскаутов с духовыми ружьями или двадцать девчонок со скалками легко могут захватить нашу позицию.

В этот период и еще долгое время спустя каталонское ополчение было организовано так же, как и в самом начале войны. В первые дни франкистского мятежа все профсоюзы и партии создали собственные отряды ополченцев; каждый из них был по сути дела политической организацией, подчиненной своей партии не в меньшей мере, чем центральному правительству. Когда в начале 1937 года была создана Народная армия, представлявшая собой "неполитическую" формацию более или менее обычного типа, в нее, — так гласила теория, — влились отряды ополчения всех партий. Но долгое время все изменения оставались только на бумаге. Соединения новой Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу лишь в июне, а до этого времени система народного ополчения оставалась без изменений. Суть этой системы состояла в социальном равенстве офицеров и солдат. Все — от генерала до рядового — получали одинаковое жалованье, ели ту же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство было основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно похлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить у него сигарету, и никто не считал бы это странным. Во всяком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял собой демократию, а не иерархическую систему подчинения низших органов высшим. Существовала как бы договоренность, что приказы следует исполнять, но отдавая приказ, вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но не было воинских званий в обычном смысле слова, не было чинов, погон, щелканья каблуками, козыряния. В лице ополчения стремились создать нечто вроде временно действующей модели бесклассового общества. Конечно, идеального равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и не предполагал, что такое приближение к равенству вообще мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть войну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи справедливым, он был все же неуместен. В данных обстоятель-

ствах ополчение не могло быть намного лучше. Современная механизированная армия не рождается на пустом месте, и если бы правительство решило ждать, пока не будет создана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встречая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополчение и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства. В действительности же, всякий новый набор ополченцев представлял собой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры называли солдат "товарищами", а потому, что всякая группа новобранцев — это всегда недисциплинированная толпа. Демократическая "революционная" дисциплина на практике гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии дисциплина — теоретически — добровольна, ибо основана на классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии, дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточное место между этими двумя типами вооруженных сил.) В ополчении никогда бы не смирились с издевательскими и скверным обращением, характерным для обычной армии. Обычные военные наказания существовали, но их применяли только в случае серьезных нарушений. Если боец отказывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взывая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имевшие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что из этого "ничего не получится", на самом же деле "получалось". Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отрядов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел, стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я короткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойцами, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев находились под огнем, и у меня не было никаких трудностей добиться выполнения приказов или найти добровольца для опасного задания. В основе "революционной" дисциплины лежит политическая сознательность — понимание, почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь нужно время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеивались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря "революционной" дисциплине отряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание. Одиночных дезертиров можно расстрелять — такие случаи были, — но если бы тысячи ополченцев решили одновременно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удержать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А ополчение держало фронт (хотя, сказать правду, на его счету было немало побед), и к тому же, оно почти не знало дезертирства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел в Р.О.У.М., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства, причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необученность, необходимость минут пять уговаривать бойца выполнить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а испанское ополчение, право, ничем не походило на английскую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно признать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожидать.

А пока дрова, дрова и снова — дрова. В дневнике, который я вел в эти месяцы, нет, пожалуй, ни одной записи, в которой не говорилось бы о дровах, вернее — об отсутствии таковых. Мы находились на высоте 700-1000 метров над уровнем моря, была середина зимы, и стоял невообразимый холод. Правда, температура не опускалась очень низко и часто по ночам не доходила даже до нуля, к тому же в полдень, примерно на час, показывалось зимнее солнце; но если в действительности и не было так холодно, нам этот холод казался очень

сильным. Иногда со свистом налетал порыв ветра, срывавший шапки и лохмативший волосы, иногда окопы заливал туман, пронизывавший до костей, часто шли дожди; достаточно было пятнадцатиминутного дождя, чтобы превратить нашу жизнь в муку. Тонкий слой земли, покрывавший известняк, превращался в слизистую жижу, по которой неудержимо скользили ноги, тем более, что ходить приходилось по склонам холма. Темной ночью я, случалось, падал пять-шесть раз на протяжении двадцати метров, а это было опасно, ибо затвор заедало из-за набившейся в него грязи. На протяжении многих дней грязь покрывала одежду, башмаки, одеяла, винтовки. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько мог унести, но многие из бойцов были одеты из рук вон плохо. На весь гарнизон, насчитывающий около ста человек, имелось всего двенадцать шинелей, которые выдавались только часовым. У большинства бойцов было только по одному одеялу. Как-то ледяной ночью я занес в дневник список надетых на меня вещей. Он любопытен, поскольку показывает, какое количество одежды способен напялить на себя человек. На мне были: толстая нательная рубашка и кальсоны, фланелевая рубаха, два свитера, шерстяной пиджак, кожаная куртка, вельветовые бриджи, обмотки, толстые носки, ботинки, тяжелый плащ-дождевик, шарф, кожаные перчатки с подбивкой и шерстяная шапка. И тем не менее, я трясся, как осиновый лист. Правда, следует признаться, что я необычайно чувствителен к холоду.

Единственное, что имело для нас значение — это были дрова. Вся штука заключалась, однако, в том, что дров-то на деле не было. Наша гора не могла похвастаться своей растительностью и в лучшие времена; теперь же, после того, как многие месяцы здесь стояли мерзнущие ополченцы, на ней нельзя было найти даже прутика толщиной в палец. Все время, свободное от еды, сна и караулов, мы проводили в долине за позицией в поисках топлива. Думая об этом времени, я вспоминаю прежде всего о том, как карабкался по почти отвесным откосам острых известняковых скал, разбивая ботинки, в попытке добраться до какого-нибудь чахлого кустика. Трем солдатам в течение нескольких часов удавалось собрать такое количество хвороста, которого хватало на час горения. Отчаянная погоня за топливом превратила нас в ботаников. Каждая былинка, росшая на склонах горы, классифицировалась в зависимости от ее "горючих" свойств; различные виды вереска и трав годились для растопки, но сгорали в течение нескольких минут, дикий розмарин и тонкие кустики дрока шли в огонь лишь тогда, когда костер уже успевал разгореться, карликовый дуб (деревце, чуть ниже куста крыжовника) почти не поддавался огню. На самой вершине, влево от нашей позиции, рос сухой, великолепно горевший тростник. Но собирать его нужно было под вражеским обстрелом. Завидев нас, фашистские пулеметчики открывали ураганный огонь, выпуская сразу целую ленту. Обычно они брали слишком высокий прицел, и пули, как птицы, пели над головами, но иногда они откалывали известняк в неприятной близости и тогда нужно было упасть и прижаться к земле. Но мы продолжали собирать тростник. Ничто не было так важно, как топливо.

По сравнению с холодом, все другие неудобства казались нам ничтожными. Мы, разумеется, ходили постоянно грязными. Воду, как и пищу, нам привозили на вьючных мулах из Алькубьерре, и на одного человека приходилось чуть больше литра в день. Вода была отвратительная, не прозрачнее молока. Официально нам выдавали воду только для питья, но мне всегда удавалось украсть вдобавок полную жестяную кружку, чтобы умыться. Обычно, я один день мылся, а брился на следующий. Чтобы проделать обе эти операции в одно и то же время не хватало воды. Позиция немилосердно воняла, за нашей небольшой баррикадой всюду валялись кучи кала. Некоторые из ополченцев испражнялись в окопе, вещь омерзительная, особенно когда ходишь в темноте. Но грязь меня

никогда не беспокоила. О грязи слишком много говорят. С удивительной быстротой привыкаешь обходиться без носового платка и есть из той же миски, из которой умываешься. Через день-два перестает мешать то, что спишь в одежде. Ночью нельзя было, конечно, ни раздеться, ни снять башмаков; следовало постоянно быть готовым к отражению атаки. За восемьдесят дней я снимал мою одежду три раза, правда, несколько раз мне удавалось раздеться днем. Вшей у нас не было из-за холода, но крысы и мыши расплодились в большом количестве. Часто говорят, что крысы и мыши вместе не живут. Оказывается, они вполне уживаются — когда есть достаточно пищи.

В других отношениях нам было неплохо. Еда была вполне приличная, вина отпускали вдоволь. Нам выдавали пачку сигарет в день и коробку спичек на два дня, а кроме того мы получали даже свечи. Это были очень тоненькие свечки, похожие на те, которыми украшают рождественские куличи. Все единодушно считали, что их украл из церкви. Каждый окоп получал по три семисантиметровых свечи в день, каждой из которых хватало примерно на двадцать минут горения. В то время свечи еще были в продаже, и я захватил с собой несколько фунтов. Позднее, нехватка свечей и спичек ощущалась мучительнейшим образом. Значение этих вещей начинаешь понимать лишь тогда, когда их лишаешься. Во время ночной тревоги, например, когда каждый хватается за свою винтовку, топча всех по пути, возможность зажечь свечу может спасти жизнь. У каждого ополченца имелись кремни с огнивом и с полметра желтого фитиля. Это было его самое драгоценное имущество, если не считать винтовки. Кремни с огнивом имели то огромное преимущество, что искру можно было высечь даже на ветру, зато она не годилась для разжигания костра. Когда спички окончательно исчезли, единственной возможностью разжечь костер стал порох, который мы высыпали из гильзы и поджигали искрой.

Мы жили необычной жизнью, тем более, что мы воевали, если это можно назвать войной. Ополченцы жаловались на бездействие, шумно добивались объяснения, почему нас не поднимают в атаку. Но было совершенно очевидно, что если враг не начнет первым, то ждать боя придется еще очень долго. Во время своих периодических инспекций Жорж Копп говорил с нами совершенно откровенно. "Это не война, — заявлял он обычно, — а комическая опера со случающейся время от времени смертью". Впрочем застой на Арагонском фронте имел свои политические причины, о которых я в то время не имел понятия; но чисто военные трудности, не говоря уже об отсутствии людских резервов, были для всех очевидны.

Эти трудности начинались прежде всего с характера местности. Фронт, и с нашей, и с фашистской стороны, прикрывали позиции, представлявшие собой исключительно сильные естественные препятствия, подойти к которым можно было, как правило, только с одной стороны. Достаточно было вырыть несколько окопов, чтобы сделать такую позицию неприступной для пехоты, разве что атакующая сторона имела бы громадный численный перевес. Дюжина бойцов с двумя пулеметами могла легко удержать нашу позицию, даже если ее штурмовал бы целый батальон противника. Так же обстояли дела и на большинстве соседних позиций. Сидя на макушке холмов, мы представляли собой заманчивую цель для артиллерии; но артиллерии у врага не было. Иногда, глядя на окружающий нас пейзаж, я мечтал, — страстно мечтал, — о нескольких батареях. Пушки раздолбили бы неприятельские позиции с такой же легкостью, с какой молоток раскалывает орех. Но у нас пушек не было совершенно. Фашисты изредка ухитрялись подтянуть одно-два орудия из Сарагосы и выпустить несколько снарядов, которые падали в пустые овраги, не причинив никакого вреда. Фашисты прекращали огонь, так и не успев пристреляться. Не имея артиллерии, под дулами пулеметов, можно было выбрать лишь один из

трех путей: зарыться в землю на безопасном расстоянии, скажем, четырехсот метров, наступать по открытой местности и дать себя расстрелять в упор, или же делать ночные вылазки, которые все равно не меняют общего положения. По существу, выбирать можно было между самоубийством и полной неподвижностью.

Вдобавок ко всему этому, полностью отсутствовали какие бы то ни было военные материалы. Необходимо некоторое усилие, чтобы представить, как скверно были снаряжены ополченцы тех дней. В военном кабинете каждой солидной английской школы было больше современного оружия, чем у нас. Мы были вооружены так плохо, что об этом стоит рассказать подробнее.

На этом участке фронта вся артиллерия состояла из четырех минометов, на каждый из которых приходилось всего *пятнадцать* мин. Само собой разумеется, что минометы были слишком драгоценны, чтобы из них стрелять, поэтому они хранились в Алькубьерре. Примерно на каждые пятьдесят человек приходился пулемет; это были пулеметы старых образцов, но из них можно было вести довольно прицельный огонь на расстоянии трехсот-четырёхсот метров. Помимо этого, мы располагали только винтовками, причем место большинству из них было на свалке. Винтовки были трех образцов. Во-первых, длинный маузер. Как правило, эти винтовки служили уже не менее двадцати лет, от их прицельного устройства было столько же пользы, как от полиманного спидометра, у большинства парезка безнадежно заржавела; впрочем, одной винтовкой из десяти можно было пользоваться. Затем имелся короткий маузер, или *mousqueton*, по существу кавалерийский карабин. Эта винтовка пользовалась популярностью из-за своей легкости и небольшого размера, удобного в окопных условиях. Кроме того *мускетоны* были сравнительно новы и имели приличный вид. В действительности же пользы от них не было почти никакой. Их собирали из старых частей, ни один из затворов не подходил к винтовке, три четверти из них заедало после первых пяти выстрелов. Наконец, было несколько винчестеров. Из них было удобно стрелять, но пули летели неизвестно куда, к тому же обойм не было и после каждого выстрела приходилось винтовку перезаряжать. патронов было так мало, что каждому бойцу, прибывавшему на фронт, выдавалось всего по пятьдесят штук, в большинстве своем исключительно скверных. Все патроны испанского производства были набиты в уже однажды использованные гильзы, и поэтому даже самую лучшую винтовку очень скоро заедало. Мексиканские патроны были сортом повыше, и мы берегли их для пулеметов. По настоящему хорошей амуниции — немецкой — у нас почти не было, ибо забирали мы ее у пленных или дезертиров. Я всегда держал в кармане обойму немецких или мексиканских патронов — на случай непредвиденных обстоятельств. Но когда такие обстоятельства наступали, я редко стрелял из своей винтовки, опасаясь, как бы эту проклятую штуку не заело, и боясь остаться без патронов.

У нас не было ни касок, ни штыков, почти не было пистолетов и револьверов, одна бомба приходилась на пятьдесят человек. Бомбой нам служила жуткая штука, известная под названием бомбы "F.A.I." <sup>1</sup>, ибо их изготовляли в первые дни войны анархисты. Она была сделана по принципу гранаты Миллса, но чеку придерживала не шпилька, а шнурок. Вы рвали шнурок и как можно быстрее старались избавиться от гранаты. У нас говорили, что это "беспристрастные" бомбы, они убивали и тех, в кого их бросали, и того, кто их бросал. Были и другие виды гранат, еще более примитивные, но, пожалуй, менее опасные, — для бросающего, разумеется. Лишь в конце марта я впервые увидел гранату достойную своего назначения.

<sup>1</sup> Federacion Anarquista Ibérica — Федерация Анархистов Иберии.

Не хватало не только оружия, но и всего другого снаряжения, необходимого на войне. Мы не имели, например, ни карт, ни схем. Полной топографической карты Испании не существовало вообще. Единственными подробными картами местности были старые военные карты, почти все оказавшиеся в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни перископов, ни полевых биноклей, если не считать нескольких личных, ни сигнальных ракет, ни саперных ножиц для резки колючей проволоки, ни инструмента для оружейников, нечем было даже чистить оружие. Испанцы, казалось, никогда не слышали о протирке и пришли в изумление, когда я изготовил нужный инструмент. Когда надо было прочистить винтовку, шли к сержанту, хранившему длинный, обычно изогнутый и царапавший нарезку медный шомпол. Не было даже ружейного масла. Винтовки смазывались оливковым маслом, если его удавалось достать; в разное время я смазывал свою винтовку вазелином, кольдкремом, и даже свиным салом. Не было также ни ламп, ни электрических фонариков. Я думаю, что в то время на всем нашем участке не было ни одного электрического фонаря, а ближе чем в Барселоне купить его было нельзя, да и там с трудом.

Шло время, и под звуки беспорядочной стрельбы, трещавшей среди холмов, я с нарастающим скептицизмом ждал событий, которые внесли бы немножко жизни, или вернее смерти, в эту дурацкую войну. Мы воевали с воспалением легких, а не с противником. Если расстояние между окопами превышает пятьсот метров, получить пулю можно только случайно. Сколько мне помнится, пятеро первых раненых, которых я увидел в Испании, были ранены собственным оружием. Я не хочу сказать, что это было сделано умышленно, — нет, они были ранены случайно или по небрежности. Серьезную опасность представляли наши изношенные винтовки. Некоторые из них имели скверную привычку стрелять, когда ударяли прикладом о землю; я видел бойца, прострелившего себе таким образом руку. В темноте свежие ополченцы всегда стреляли друг в друга. Как-то под вечер, ещё до наступления сумерек, часовой пальнул в меня на расстоянии двадцати шагов, но промазал, — пуля прошла в одном метре. Сколько раз неумение испанцев стрелять метко спасло мне жизнь. В другой раз я отправился в разведку в тумане, заблаговременно предупредив об этом командира. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой крикнул, что идут фашисты, и я имел удовольствие слышать, как командир приказывает открыть беглый огонь в моем направлении. Я, конечно, лег на землю и пули пролетали надо мной. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что огнестрельное оружие опасно. Помню, это было уже после описанных выше событий, я фотографировал пулеметную команду, сидевшую за пулеметом, нацеленным прямо на меня.

— Только не стреляйте, — полушутя сказал я, наводя на них фотоаппарат.

— Нет, мы и не собираемся стрелять.

И в ту же секунду затарахтел пулемет и струя пуль пролетела возле меня так близко, что крупинки пороха обожгли щеку. Пулеметчики выстрелили случайно, но сочли это великолепной шуткой. А всего несколько дней назад они стали свидетелями того, как политрук, балуясь автоматическим пистолетом, нечаянно застрелил погонщика мулов, всадив ему в легкие пять пуль.

Определенную опасность представляли собой и трудные пароли, бывшие в то время в ходу в армии. Нужно было помнить и пароль и отзыв. Обычно это

были высокопарные революционные лозунги, вроде: *Cultura — progreso* или *Seremos — invencibles*.<sup>1</sup>

Неграмотные часовые часто не могли запомнить эти возвышенные слова. Однажды, паролем выбрали слово *Cataluña*, а отзывом — *Eroica*. Хаиме Доменак, крестьянский паренек с лунообразным лицом, пришел ко мне в полном недоумении и спросил, что означает слово *Eroica*.

Я объяснил, что *Eroica*, это то же самое, что *valiente*, героизм. Минуту спустя, когда он в темноте вылез из окопа, его остановил криком часовой:

— *Alto! Cataluña!* <sup>2</sup>

— *Valiente!* — гаркнул Хаиме, убежденный, что это и есть отзыв.

Бах.

Впрочем, часовой промахнулся. На этой войне, все делали все возможное, чтобы не попасть в кого-нибудь.

#### 4

На этом участке фронта я пробыл три недели. Потом в Алькубьерре пришло из Англии 20 или 30 человек, присланных Независимой лейбористской партией. Меня и Вильямса присоединили к ним, чтобы все англичане были вместе. Наша новая позиция находилась немного западнее прежней возле Монте Оскуро, откуда открывался вид на Сарагосу.

Наша позиция примостилась на острой, как бритва, известняковой скале, в которой были вырыты ходы, напоминавшие ласточкины гнезда. Ходы шли далеко в глубь скалы, там было совершенно темно и так низко, что нельзя было даже стоять на коленях, не то что в полный рост. Влево от нас, на скалах оборудовали свои позиции ещё два отряда Р.О.У.М., причем одна из этих позиций привлекала особое внимание бойцов всего фронта — там кухарили три женщины. Красавицами назвать их было нельзя, но тем не менее командование сочло необходимым запретить доступ на эту позицию солдатам других укреплений. Вправо, в пятистах метрах от нас, у поворота дороги на Алькубьерре был пост, удерживаемый отрядом Р.С.У.С. В этом месте проходил фронт. Ночью видны были фары грузовиков, подвозивших нам снаряжение из Алькубьерре, и фары фашистских машин, идущих из Сарагосы. Видна была и сама Сарагоса, тонкая полоска огоньков, напоминавших корабельные иллюминаторы, примерно, в двадцати километрах юго-западнее нас. Правительственные войска любовались с этого места Сарагосой еще в августе 1936 года, смотрят они на нее и теперь.

Нас было около тридцати человек, включая одного испанца — Рамона, шурина Вильямса, — и дюжина испанских пулеметчиков. Если не считать одного-двух исключений, — война, как известно, всегда привлекает всякую шваль, — англичане были великолепные ребята, отличались выносливостью и покладистым характером. Пожалуй, самым симпатичным из всех был Боб Смайли, внук знаменитого вождя горняков, погибший потом в Валенсии совершенно бессмысленной смертью. Англичане и испанцы, несмотря на языковую преграду, всегда хорошо уживаются вместе, что несомненно следует поставить в заслугу испанцам. Как выяснилось, испанцы знали только два английских выражения. Одно — "окей, бэби", другое же — употребляемое барселонскими проститутками в разговорах с английскими моряками — боюсь, что наборщики не напечатают.

И снова на фронте ничего не происходило: лишь иногда свистела заблудившаяся пуля, либо, очень редко, падала фашистская мина, и все бежали в

<sup>1</sup> Культура — прогресс. Будем — непобедимы.

<sup>2</sup> Стой! Каталония!

траншею на вершине горы, посмотреть где она взорвалась. Враг был здесь немало ближе к нам — метрах в трехстах-четырестах. Его ближайшая позиция находилась как раз напротив нашей, и амбразуры неприятельских пулеметных гнезд постоянно соблазняли наших бойцов, напрасно тративших патроны. Фашисты редко утруждали себя винтовочной стрельбой, но зато посылали точные пулеметные очереди в каждого, кто высовывался. Тем не менее, лишь дней через десять, а то и больше, появился у нас первый раненый. Напротив нас стояли испанские войска, имевшие, как показывали дезертиры, несколько немецких унтеров. Здесь, видимо, были и мавры, — вот должно быть, бедняги, страдали от холода, — ибо на пичьей земле валялся труп мавра, одна из местных достопримечательностей. В полутора или трех километрах левее нашей позиции кончалась сплошная линия фронта, и тянулась заросшая лесом лощина, не принадлежавшая ни фашистам, ни нам. И мы и они посылали туда дневные патрули. Это была неплохая игра — в бойскаутом духе, — хотя мне не довелось увидеть фашистский патруль ближе, чем на расстоянии нескольких сот метров. Покрыв солидное расстояние, передвигаясь ползком по-пластунски, мы пересекали фронтальную линию и добирались до места, откуда виден был крестьянский дом с развевающимся монархистским флагом. В доме размещался местный штаб фашистов. Время от времени мы выпускали по этому дому винтовочный залп и сразу же прятались, чтобы пулеметчик нас не засек. Надеюсь, что мы разбили хотя бы несколько окон, ибо штаб находился в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было никакой уверенности, что на такой дистанции попадешь даже в дом.

Дни стояли ясные и холодные, иногда в полдень выглядывало солнце, но мороз не легчал. На склонах холмов попадались прогнувшиеся головки диких крокусов и ирисов; близилась весна, но шла она очень медленно. Ночи были еще холоднее, чем раньше. Вернувшись на рассвете с караула, мы разгребали остатки кухонного костра и становились на жарко-красные угли. Мы жгли подметки башмаков, зато согревали ноги. Иногда по утрам в горах занимались зори такой красоты, что для этого стоило, пожалуй, вставать в немислимую рань. Я не терплю гор, не люблю даже любоваться ими, но иногда, захваченный рассветом, поднимавшимся высоко в горах за нашей спиной, увидев первые стрелки золота, как лезвия, пронизывающие темноту, а потом внезапно нахлынувший свет и моря карминных облаков, уходящих в невообразимую даль, я переставал жалеть о том, что не спал всю ночь, что ноги мои онемели и что завтрака придется ждать не менее трех часов. В течение этих месяцев я видел больше рассветов, чем за всю ранее прожитую жизнь. Этих рассветов с меня хватит до конца дней.

Нас было немало, а это значило, что нужно было дольше простаивать в карауле, а следовательно — больше утомляться. Я начал страдать от нехватки сна, неизбежной даже на самых спокойных участках фронта. Кроме караулов и патрулей были постоянные ночные тревоги и подъемы, не говоря уж о том, что нельзя как следует выспаться в окапанной земляной норе, когда ноги так и ноют от холода. За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я около дюжины суток не спал совсем; с другой стороны, не набралось бы, пожалуй, дюжины ночей, которые я проспал бы целиком. Двадцать-тридцать часов сна в неделю были нашей нормой. Отсутствие сна сказывается не так скверно, как можно подумать, просто ходишь как ошалелый, и карабкаться по горам становится труднее. Но общее самочувствие хорошее, хотя гложущий голод не оставляет ни на минуту. Боже мой, какой голод! Всякая еда кажется вкусной, даже вечная фасоль, которую в конце концов возненавидели все, кто побывал в Испании. Воду, если мы ее получали, везли за много километров на мулах или бедных заморенных ослах. По каким-то причинам арагонский крестьянин хорошо от-



носится к мулам, но отвратительно к осликам. Если ослик заупрямится, его, как правило, сразу пинают в мошонку.

Выдача свечей прекратилась, мало осталось и спичек. Испанцы научили нас мастерить лампы, используя оливковое масло, банку из-под сгущенного молока, гильзу и кусок тряпки. Когда у нас изредка заводилось оливковое масло, мы зажигали эти лампы. Они горели, непрерывно чадя, и давали свет в четверть свечи; их света было достаточно только для того, чтобы найти в темноте свою винтовку.

Надежды на настоящий бой не было. Уходя с Монте Почеро, я подсчитал свои патроны и обнаружил, что в течение трех недель трижды выстрелил по врагу. Говорят, что нужно выпустить тысячу пуль, чтобы убить человека, следовательно, должно было пройти двадцать лет, прежде чем мне удастся убить первого фашиста. На Монте Оскуро враг был ближе и мы стреляли чаще, но я вполне уверен, что я ни в кого не попал. Следует сказать, что на этом участке фронта в этот период самым действенным оружием была не винтовка, а мегафон. Не имея возможности убить врага, мы на него накричали. Этот метод ведения войны настолько необычен, что нуждается в разъяснении.

Если вражеские окопы находились на достаточно близком расстоянии, начиналось перекрикивание. Мы кричали: "Fascistas — maricones!"<sup>1</sup>

Фашисты отвечали: "Viva Espana! Viva Franco!"<sup>2</sup>

Если они знали, что напротив находятся англичане, они орали: "Англичане, го хоум! Нам иностранцы не нужны!" Республиканские войска, партийные ополченцы создали целую технику "кричания", с целью разложения врага. При каждом удобном случае бойцов, обычно пулеметчиков, снабжали мегафонами и посылали пропагандировать. Им давали заранее подготовленный материал, лозунги, проникнутые революционным пафосом, которые должны были объяснить фашистским солдатам, что они наймиты мирового капитала, воюющие против своих же братьев по классу и т. д. и т. п. Фашистских солдат уговаривали перейти на нашу сторону. Эти лозунги выкрикивались без передышки: бойцы сменяли друг друга у мегафонов. Так продолжалось иногда ночи напролет. Пропаганда, несомненно, давала результаты; все соглашались с тем, что струйка дезертиров, которая текла в нашем направлении, была частично вызвана ею. И можно понять, что на продрогшего на посту часового, бывшего членом социалистических или анархистских профсоюзов, мобилизованного насильно в фашистскую армию, действовал гремевший всю ночь напролет лозунг: "Не воюйте с братьями по классу!" Такая ночь могла стать последней каплей для человека, колебавшегося — дезертировать или не дезертировать. Но такой способ ведения войны совершенно расходился с английскими понятиями. Должен признаться, что я был удивлен и шокирован, впервые познакомившись с ним. Переубеждать врага вместо того, чтобы в него стрелять? Сейчас я убежден, что со всех точек зрения это был вполне оправданный маневр. В обычной позиционной войне, не имея артиллерии, очень трудно нанести потери неприятелю, не потеряв самим примерно столько же людей. Если вы можете убедить какое-то число вражеских солдат дезертировать, тем лучше; по существу дезертиры для вас полезнее трупов, ибо они могут дать информацию. Но на первых порах мы все были обескуражены; нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к войне. На позиции, занимаемой справа от нас отрядом P.S.U.C., пропаганду вел истинный мастер своего дела. Иногда, вместо того, чтобы выкрикивать революционные лозунги, он начинал рассказывать фашистам, насколько нас кормят лучше, чем их. В отсутствии фантазии, при расска-

<sup>1</sup> Фашисты — трусы!

<sup>2</sup> Да здравствует Испания! Да здравствует Франко!

зе о республиканских рационах, его упрекнуть нельзя. "Гренки с маслом! — его голос отдавался раскатами эха по всей долине. — Сейчас гренки с маслом! Замечательные гренки с маслом!" Я не сомневаюсь, что как и все мы, он не видел масла недели, если не месяцы, но фашисты, услышав в ледяной ночи крики о гренках с маслом, должно быть, пускали слюнки. Впрочем, у меня самого текли слюнки, хотя я хорошо знал, что он врет.

Однажды в феврале мы увидели приближающийся к нам фашистский самолет. Как обычно, мы вытащили на открытое место пулемет, задрали его ствол вверх и легли на спину, чтобы лучше целиться. Наша стоявшая на отшибе позиция не заслуживала в глазах врага особого внимания и, как правило, те немногие фашистские самолеты, которые появлялись здесь, облетали нас стороной, чтобы избежать пулеметного огня. На этот раз самолет прошел прямо над нами, но слишком высоко, чтобы стоило в него стрелять. Из него выпали не бомбы, а белые блестящие лепестки, закружившиеся в воздухе. Несколько листов упало на нашу позицию, это были экземпляры фашистской газеты "Heraldo de Aragón"<sup>1</sup>, извенцавшей о падении Малаги.

В эту ночь фашисты сделали неудачную попытку атаковать нас. Я как раз укладывался спать, полумертвый от усталости, как вдруг над нашими головами зачастил град и кто-то, просунувшись в окоп, закричал: "Атакуют!" Я схватил винтовку и кинулся на свой пост, находившийся на вершине возле пулемета. Не видно было ни зги, и стоял дьявольский шум. Нас поливали огнем, должно быть, пять пулеметов, глухо рвались гранаты, по-идиотски выбрасываемые фашистами у своего же бруствера. Было совершенно темно. Внизу в долине, влево от нас, я мог различить зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов. Это ввязался в бой какой-то фашистский патруль. В темноте вокруг нас цокали пули — цок-цик-цак. Над головой просвистело несколько снарядов, упавших далеко от нас, да к тому же (как обычно на этой войне) не разорвавшихся. Я на мгновение не на шутку испугался, когда в тылу вдруг заговорил еще один пулемет. Пулемет оказался нашим, но мне сначала почудилось, что мы окружены. Потом наш пулемет заело, как заело всегда из-за скверных патронов, а шомпол куда-то запропастился в непроницаемой темноте. Единственное, что оставалось, это стоять и ждать, когда в тебя попадут. Испанские пулеметчики пренебрегают прикрытием, более того, они умышленно подставляют себя под пули, и я вынужден был поступать так же. Этот эпизод, хотя и не очень значительный, был чрезвычайно интересен. В первый раз я был, в буквальном смысле слова, под огнем. И к моему унижению, обнаружил, что я страшно испугался. Так, оказывается, чувствуешь себя всегда под сильным огнем — боишься не столько того, что в тебя попадут, сколько неизвестности *куда* попадут. Все время не перестаешь думать, куда клюнет пуля, и все тело приобретает в высшей степени неприятную чувствительность.

Прошел час или два, и огонь стал затихать, а потом совсем умолк. У нас был один раненый. Фашисты выдвинули на ничейную землю несколько пулеметов, но держались на безопасной дистанции и не сделали попытки штурмовать наш бруствер. По сути дела они не атаквали, а просто транжирили патроны и весело шумели, празднуя падение Малаги. Для меня главный урок заключался в том, что после этой истории я стал более недоверчиво относиться к военным сводкам, публикуемым в газетах. Спустя день или два газеты сообщили, что доблестные англичане отразили ураганную атаку кавалерии и танков (это по отвесным-то откосам!).

Когда фашисты известили нас о падении Малаги, мы решили, что это ложь, но на другой день пришли более достоверные слухи, а потом появилось и

<sup>1</sup> Вестник Арагона.

официальное сообщение. Постепенно стала известна вся эта позорная история — как город был отдан без единого выстрела, как ярость итальянцев обрушилась не на республиканских солдат, заранее эвакуировавшихся, а на гражданское население, как мирных жителей, пытавшихся бежать, преследовали на протяжении сотни километров, расстреливая из пулеметов. Эта новость оставила у солдат на передовой неприятный привкус, все ополченцы как один были убеждены, что падение Малаги — результат предательства. Впервые я услышал о предательстве и отсутствии единства. Впервые у меня появились глухие сомнения в отношении этой войны, в которой до сих пор так восхитительно просто было решить на чьей стороне правда.

В середине февраля мы покинули Монте Оскуро и были включены, вместе со всеми отрядами Р.О.У.М., стоявшими на этом участке, в армию, осаждавшую Хуэску. Грузовик вез нас километров восемьдесят по студеной равнине, вдоль подстриженных виноградников и едва проклюнувшихся ростков озимого ячменя. В четырех километрах от наших новых окопов виднелась Хуэска, маленькая и светлая, как кукольный городок. Много месяцев назад, после взятия Съетамо, генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: "Завтра мы пьем кофе в Хуэске". Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. "Завтра мы будем пить кофе в Хуэске" стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придется побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Хуэске.

## 5

До последних чисел марта на восточном участке фронта под Хуэской ничего не происходило, почти ровным счетом ничего. Мы находились в тысяче двухстах метрах от врага. Когда фашисты были отбиты и закрепилась в Хуэске, республиканская армия не проявила особого рвения в погоне за врагом, и линия фронта в этом месте выгнулась подковой. Позднее, при переходе в наступление, пришлось выпрямить фронт — задача не из легких под огнем противника, — но в настоящее время врага, как будто, вовсе не существовало. Нас занимало лишь одно — как согреться и раздобыть чего-нибудь поесть. Это не значит, однако, что у меня не было живого интереса и к целому ряду других вещей, но об этом я напишу позднее. Пока же я буду держаться ближе хронологии и попытаюсь дать представление о внутривойсковом положении на республиканской стороне.

Вначале я пренебрегал политической стороной войны, и только в описываемый период политика начала привлекать мое внимание. Если вас не интересуют ужасы партийной политики, прошу пропустить эти страницы. Я выделяю политическую часть моего повествования в особые главы именно с этой целью. В то же время невозможно писать об испанской войне с чисто военной точки зрения, — это была прежде всего война политическая. Ни одно событие, особенно в первый год, не может быть понято, если вы не разбираетесь в какой-то мере в том, что представляла собой внутривойсковая борьба, которая велась в рядах республиканцев за линией фронта.

Приехав в Испанию, я первое время не только не интересовался политикой, но даже и не подозревал о ее существовании. Я знал, что идет война, но не имел никакого представления о характере этой войны. Если бы меня спросили, почему я пошел в ополчение, я ответил бы: "Сражаться против фашизма!". А на вопрос, за что я сражаюсь, я ответил бы: "За всеобщую порядочность". Я принял определение, данное этой войне журналами "Ньюс Кроникл" — "Нью стейтсмен": защита цивилизации от вспышки безумия среди армии полковников

Блимпов <sup>1</sup>, оплачиваемых Гитлером. Меня глубоко взволновала революционная атмосфера Барселоны, но я не сделал попытки понять ее. Что касается калейдоскопа политических партий и профсоюзов с их нудными названиями P.S.U.C., P.O.U.M., F.A.I., C.N.T., U.G.T., J.C.I., J.S.U., A.I.T. — то они просто меня раздражали. С первого взгляда казалось, что Испания страдает эпидемией сокращений. Я знал, что я служу в чем-то, носящем название P.O.U.M., (я вступил в ополчение P.O.U.M., а не в другое лишь потому, что прибыл в Барселону с направлением от I.L.P.), но мне и в голову не приходило, что между партиями имеются существенные различия. Когда на Монте Почеро мне сказали, что слева позицию держат социалисты (имея в виду P.S.U.C.), я был удивлен и спросил: "А разве мы не социалисты?" Мне казалось идиотизмом, что народ, борющийся за свою жизнь, делится на партии. Я стоял на простой точке зрения: "Отбросим всю эту партийную чепуху и займемся войной". Это было то правильное "антифашистское" отношение, хитро пропагандируемое английскими газетами, главным образом для того, чтобы помешать читателям понять подлинную сущность борьбы. Но такое отношение нельзя было сохранить в Испании, особенно в Каталонии. Хотелось ему того или нет, каждый, рано или поздно, выбирал себе партию. Человека могли не интересоваться партии и их "линии", но всякому было совершенно очевидно, что речь шла о его собственной судьбе. Служа в ополчении, вы были солдатом антифашистской армии, но одновременно пешкой в гигантской схватке, которую вели между собой два политических направления. Когда я ползал в поисках хвороста по склонам гор, размышляя, война ли это или просто выдумка "Ньюс кроникл", когда я прятался от пулеметного огня коммунистов во время барселонского мятежа, когда, наконец, я бежал из Испании, преследуемый по пятам полицией, — все это происходило со мной потому, что я служил в ополчении P.O.U.M., а не в P.S.U.C. Оказалось, что разница между этими двумя сокращениями очень велика!

Чтобы понять, как произошло размежевание сил в рядах республиканцев, следует вспомнить, с чего все началось. Можно полагать, что 18 июля, в день начала боев, все антифашисты Европы вздохнули с надеждой. Наконец-то нашлось демократическое правительство, вступившее в схватку с фашизмом. На протяжении многих лет так называемые демократические страны уступали фашистам на каждом шагу. Японцам разрешили хозяйничать, как им заблагорассудится, в Маньчжурии, Гитлер пришел к власти и приступил к резне своих политических противников всех мастей и оттенков; Муссолини сбрасывал грузы бомб на абиссинцев, в то время как пятьдесят три нации (надеюсь, я не ошибся в числе) благочестиво причитали: "Руки прочь!" Но когда Франко сделал попытку свергнуть умеренно-левое правительство, испанский народ, неожиданно для всех, дал ему отпор. Казалось, что наступил поворотный пункт (не исключена возможность, что так оно и было на самом деле). Но были факты, ускользнувшие от внимания общественности. Во-первых, Франко нельзя было полностью отождествлять с Гитлером или Муссолини. Его восстание было военным мятежом, поддержанным артистократией и церковью. Целью мятежа, особенно на первых порах, было не столько установление фашизма, как восстановление феодализма. В результате, против Франко выступил не только рабочий класс, но и различные слои либеральной буржуазии, те самые круги, которые поддерживают фашизм, если он выступает в более современной форме. Еще большее значение имел тот факт, что испанский рабочий класс выступил в защиту "демократии" и статуса-кво, как это мог бы сделать, скажем, рабочий класс Англии; сопротивление испанских рабочих сопровождалось, — можно да-

<sup>1</sup> Полковник Блимп — нарицательный образ английского консерватора.

же сказать, было, — подлинным революционным взрывом. Крестьяне захватили землю; многие заводы и почти весь транспорт перешли в руки профсоюзов, церкви были разрушены, а священники изгнаны или убиты. Газета "Дейли мейл", под приветственные крики католического духовенства, представила Франко как патриота, освобождающего страну от диких орд "красных".

В первые месяцы войны действительным противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. Как только вспыхнул мятеж, организованные городские рабочие ответили на него всеобщей забастовкой, потребовали оружие из правительственных арсеналов, и в результате борьбы получили его. Если бы они не выступили стихийно и более или менее независимо, вполне возможно, что Франко не встретил бы сопротивления. Этого нельзя утверждать с полной уверенностью, но есть основания допускать такую возможность. Правительство не сделало ничего, или почти ничего, чтобы предотвратить мятеж, а подготовке которого было давно известно. А когда мятеж вспыхнул, правительство показало себя таким слабым и неуверенным, что в течение одного дня Испания переменяла трех премьеров<sup>1</sup>.

Единственный шаг, который мог спасти положение — раздача оружия рабочим, — был сделан неохотно и под давлением народных масс. Но в конечном итоге оружие было роздано, и в больших городах восточной Испании фашисты были разбиты усилиями прежде всего рабочего класса при поддержке ряда воинских частей, сохранивших верность правительству (жандармерия и т.д.). На такие усилия способен, мне думается, лишь народ, поднявшийся на революционную борьбу, то есть верящий, что он сражается за нечто большее, чем просто сохранение статуса-кво. В уличных боях в течение одного единственного дня погибло три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними динамитными пистолетами, бежали через площади городов на штурм зданий, в которых засели отлично обученные солдаты с пулеметами. Такси, мчавшиеся со скоростью 100 километров в час, с ходу давили пулеметные гнезда, устроенные фашистами в стратегически важных пунктах. Даже на зная ничего о захвате земли крестьянами и о создании местных советов, трудно было поверить, что анархисты и социалисты, эта опора сопротивления, могли видеть цель своей борьбы в сохранении капиталистической демократии, которая — особенно с точки зрения анархистов — была не более чем централизованной машиной обмана масс.

А тем временем рабочие получали оружие и на данном этапе не собирались выпускать его из рук (год спустя было подсчитано, что каталонские анархо-синдикалисты все еще имеют 30 тысяч винтовок). Во многих местах владения профашистских помещиков были захвачены крестьянами. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, делались попытки образовать зачаточные органы рабочей власти — создавались местные комитеты, рабочие патрули сменяли старую буржуазную полицию, профсоюзы формировали отряды рабочего ополчения. Конечно, этот процесс не всюду шел одинаково — в Каталонии он продвинулся дальше, чем в других районах страны. Были районы, где местные органы власти оставались почти без изменений, в других же местах они уживались бок о бок с революционными комитетами. Кое-где созданы независимые анархистские коммуны. Некоторые из них продержались около года, а затем были разогнаны правительством. В Каталонии первые несколько месяцев власть находилась почти целиком в руках анархо-синдикалистов, контролировавших большую часть основных отраслей промышленности. Таким образом, то, что произошло в Испании, было не просто вспышкой гражданской войны, а началом революции. Именно этот факт антифашистская

<sup>1</sup> Кирога, Барриос и Хираль. Первые два отказались выдать оружие профсоюзам.

печать за пределами Испании старалась затушевать любой ценой. Положение в Испании изображалось как борьба "фашизма против демократии", революционный характер испанских событий тщательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а общественное мнение обмануть легче, чем где бы то ни было, в ходу были лишь две версии испанской войны: распространяемая правыми — о борьбе христианских патриотов с кровавыми большевиками, и левая версия — о джентльменах-республиканцах, подавляющих военный мятеж. Суть событий удалось скрыть.

Чем это было вызвано? Начнем с того, что профашистская печать распространяла бессовестную ложь о зверствах республиканцев, и благонамеренные пропагандисты, отрицая, что Испания "стала красной", несомненно хотели тем самым помочь правительству. Но основной повод был иным. Если не считать маленьких революционных групп, существующих во всех странах, мир был полон решимости предотвратить революцию в Испании. В частности, Коммунистическая партия, при поддержке Советской России, делала все, чтобы предотвратить революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция окажется губительной и что стремиться следует не к переходу власти в руки рабочих, а к буржуазной демократии. Нет необходимости уточнять, почему "либералы" в капиталистических странах заняли сходную позицию. Иностранные капиталовложения играли в испанской экономике очень важную роль. Например, в Барселонскую транспортную компанию было инвестировано десять миллионов английских фунтов, а тем временем профсоюзы реквизировали весь транспорт в Каталонии. Если бы революция пошла дальше, не было бы никакой компенсации убытков, или она составила бы ничтожные суммы. Победа капиталистической республики означала бы спасение иностранных капиталов. Поскольку революцию нужно было задуть, удобнее всего было притвориться, что никакой революции вовсе нет. Это давало возможность без труда прикрывать истинную суть любого события; любой акт передачи власти профсоюзам в руки центрального правительства можно было представить как необходимую меру, вызванную военной реорганизацией. Таким образом создавалось крайне любопытное положение. Вне Испании лишь очень немногие осознали, что в стране происходила революция; в самой Испании в этом никто не сомневался. Даже газеты P.S.U.C., контролируемые коммунистами и проводившие более или менее антиреволюционную линию, писали о "нашей славной революции". А тем временем коммунистическая печать за границей трубила, что в Испании нет ни малейших признаков революции, что захвата рабочими заводов, создания рабочих комитетов и т. д. не было, а если даже они имели место, то не следует "придавать им политического значения". Газета "Дейли уоркер" от 6 августа 1936 г. заявляла, что только "гнусные лжецы" могут утверждать, будто испанский народ борется не за буржуазную демократию, а за социальную революцию. А с другой стороны член валенсийского правительства Хуан Лопез заявил в 1937 году, что "испанский народ проливает свою кровь не за демократическую республику и ее бумажную конституцию, а за... революцию". Оказывалось, таким образом, что "гнусные лжецы" были и в составе правительства, за которое нам предлагали драться. Некоторые зарубежные антифашистские газеты опускались даже до такого жалкого обмана, что утверждали, будто разорялись только те церкви, которые фашисты использовали в качестве своих укрепленных пунктов. В действительности же разгром церквей носил повсеместный характер и был явлением само собой разумеющимся, ибо для испанцев церковь была частью капиталистической шайки. За шесть месяцев моего пребывания в Испании я видел только две неповрежденные церкви, а примерно до июля 1937 года нигде не отправлялась служба, если не считать одной или двух протестантских церквей в Мадриде.

Впрочем, это было только начало революции, а не завершение ее. Даже там, где рабочие могли свергнуть правительство или полностью принять на себя его функции (безусловно в Каталонии, а возможно и в других районах), они этого не делали. Совершенно очевидно, что они не могли этого сделать, когда Франко стоял у самого порога, а часть средней прослойки населения была на его стороне. Страна находилась в переходном состоянии и могла либо взять курс на социализм, либо вернуться в положение обыкновенной капиталистической республики. Крестьяне завладели большей частью земли и собирались удержать ее, если, конечно, не победит Франко; все основные промышленные предприятия были обобществлены, но сохранение этого положения или восстановление капиталистической системы, зависело в конечном итоге от того, какая группа одержит верх. На верных порых и центральное правительство и полуавтономное каталонское правительство представляли — это можно сказать с полной уверенностью — рабочий класс. В правительство, возглавляемое левым социалистом Кабальеро, входили министры, представлявшие U.G.T. (социалистические профсоюзы) и C.N.T. (синдикалистские профсоюзы, контролируемые анархистами). Каталонское правительство было на какое-то время совершенно вытеснено Антифашистским Комитетом обороны<sup>1</sup>, состоявшим главным образом из представителей профсоюзов. Позднее Комитет обороны был распущен, а каталонское правительство реорганизовано, и в состав его были включены представители профсоюзов и различных левых партий. Но каждая последующая перетасовка правительства была шагом вправо. Сначала из него изгнали Р.О.У.М.; шесть месяцев спустя Кабальеро заменили правым социалистом Негрином; вскоре из центрального правительства был исключен C.N.T., а потом U.G.T.; после этого C.N.T. был устранен также из каталонского правительства. Наконец, через год после начала войны и революции, правительство состояло уже только из правых социалистов, либералов и коммунистов.

Общий сдвиг вправо наметился в октябре-ноябре 1936 года, когда СССР начал поставлять правительству оружие, а власть стала переходить от анархистов к коммунистам. Ни одно государство, кроме России и Мексики, не сочло нужным прийти на помощь правительству Испании; Мексика, по понятным причинам, не могла поставлять оружие в большом количестве. В результате, русские имели возможность диктовать свои условия. Нет никакого сомнения, что смысл этих условий был таков: "Предотвратите революцию, или не получите оружия". Не приходится сомневаться и в том, что первый шаг, направленный против революционных элементов — изгнание Р.О.У.М. из каталонского правительства, был сделан по приказу СССР. Отрицают, что советское правительство осуществило прямой нажим, но это не имеет большого значения, ибо известно, что коммунистические партии во всех странах проводят советскую политику, а никто не отрицал того факта, что именно коммунистическая партия была главным вдохновителем борьбы сначала с Р.О.У.М., потом с анархистами и тем крылом социалистов, которое возглавлял Кабальеро, то есть с революционной политикой в целом. Как только СССР включился в войну, триумф коммунистической партии был обеспечен. Во-первых, признательность России за поставку оружия, и тот факт, что коммунистическая партия, особенно после прибытия интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, необычайно повысили авторитет коммунистов. Во-вторых, советское

<sup>1</sup> Comité Central de Milicias Antifascistas (Центральный комитет антифашистских ополчений). Делегаты избирались в соответствии с численностью организации. Девять делегатов представляли профсоюзы, три — каталонскую либеральную партию, два — различные марксистские партии (Р.О.У.М., коммунистов и др.).

оружие распределялось через коммунистическую и союзные с ней партии. Коммунисты следили за тем, чтобы как можно меньше этого оружия попадало в руки их политических противников<sup>1</sup>.

В-третьих, провозгласив нереволюционную программу, коммунисты смогли привлечь на свою сторону всех, кого пугали экстремисты. Было легко, например, поднять крестьян побогаче против политики коллективизации, проводимой анархистами. Число членов коммунистической партии неизменно возросло, но прежде всего за счет выходцев из средних слоев — лавочников, чиновников, офицеров, зажиточных крестьян и т. д. Война по существу велась на два фронта. Борьба с Франко продолжалась, но одновременно правительство преследовало и другую цель — вырвать у профсоюзов всю захваченную ими власть. Достигалась эта цель с помощью малозаметных маневров (кто-то назвал эту политику политикой булавочных уколов), и в целом очень хитро. Явно контрреволюционные мероприятия не проводились, и до мая 1937 года почти не было необходимости прибегать к силе. Рабочих очень легко было принудить к послушанию с помощью, пожалуй, даже слишком очевидного аргумента: "Если вы не сделаете того-то и того-то, мы проиграем войну". Само собой разумеется, что от рабочих неизменно во имя высших военных соображений требовали отказаться от того, что они завоевали в 1936 году. Но этот аргумент всегда действовал безотказно, ибо революционные партии меньше всего хотели проиграть войну; в случае поражения — демократия и революция, социализм и анархия становились ничего не значащими словами. Анархисты, единственная революционная партия, достаточно крупная, чтобы заставить с собой считаться, вынуждена была уступать шаг за шагом. Процесс обобществления был приостановлен, местные комитеты распущены, рабочие патрули расформированы (их место заняла доверенная полиция, значительно усиленная и хорошо вооруженная). Крупные промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, перешли в ведение правительства (захват барселонской телефонной станции, повлекший за собой майские бои, был одним из эпизодов этого процесса); наконец, и это самое главное, отряды рабочего ополчения, сформированные профсоюзами, постепенно расформировывались и вливались в народную армию, "неполитическую" армию полубуржуазного типа, с дифференцированным жалованием, привилегированной офицерской кастой и т. д. и т. п. В тогдашних обстоятельствах это был главный, решающий шаг. В Каталонии ликвидация ополчения произошла позже, чем в других областях, ибо революционные партии были здесь особенно сильны. Совершенно очевидно, что рабочие могли сохранить свои завоевания только в том случае, если бы им удалось удержатъ под собственным контролем часть вооруженных сил. Как обычно, расформирование ополчения производилось во имя повышения боеспособности; никто не спорит, что коренная военная реорганизация была необходима. Однако вполне можно было реорганизовать ополчение и повысить его боеспособность, оставив отряды под прямым контролем профсоюзов. Главная цель этой меры была иной — лишить анархистов собственных вооруженных сил. К тому же, демократический дух, свойственный рабочему ополчению, породил революционные идеи. Коммунисты великолепно отдавали себе в этом отчет и поэтому не прекращали ожесточенной борьбы с принципом равного жалования всем бойцам, независимо от звания, проповедуемым Р.О.У.М. и анархистами. Происходило

<sup>1</sup> Именно поэтому на Арагонском фронте, где стояли преимущественно анархистские части, было так мало советского оружия. До апреля 1937 года единственным таким оружием, попавшим мне на глаза, — если не считать самолетов, которые, возможно, были советского производства, а может и нет, — был один-единственный автомат.



всеобщее "обуржуазивание", умышленное уничтожение духа всеобщего равенства, царившего в первые месяцы революции. Все происходило так быстро, что люди, приезжавшие в Испанию после нескольких месяцев отсутствия, заявляли, что они не узнают страны. То, что беглому, поверхностному взгляду представлялось рабочим государством, превращалось на глазах в обыкновенную буржуазную республику, с нормальным делением на богатых и бедных. Осенью 1937 года "социалист" Негрин публично заявил "мы уважаем частную собственность", а те депутаты кортесов, которые бежали в начале войны из Испании, опасаясь преследований за профашистские взгляды, стали возвращаться на родину.

Весь этот процесс становится понятнее, если вспомнить, что он является следствием временного союза, который заключают между собой рабочие и буржуазия, видящие опасность со стороны фашизма в некоторых его проявлениях. Этот союз, известный под именем Народного фронта, по сути своей — союз врагов. Представляется неизбежным, что в результате один партнер всегда проглатывает другого. Единственной неожиданной особенностью испанской ситуации, вызвавшей массу недоразумений за пределами страны, было то, что коммунисты занимали в рядах правительства место не на крайне левом, а на крайне правом фланге. В действительности ничего удивительного в этом не было, ибо тактика коммунистических партий в других странах, прежде всего во Франции, со всей очевидностью показала, что официальный коммунизм следует рассматривать, во всяком случае в данный момент, как антиреволюционную силу. Политика Коминтерна в настоящее время полностью подчинена (учитывая международное положение, это простиительно) обороне СССР, зависящей от системы военных союзов. В частности, СССР заключил союз с капиталистическо-империалистической Францией. Этот союз потеряет всякий смысл для СССР, если французский капитализм ослабнет, из чего и следует, что коммунистическая политика во Франции должна быть контрреволюционной. Это значит, что французские коммунисты не только идут сейчас под трехцветным знаменем и поют "Марсельезу", — значительно важнее, что они отказались от ведения эффективной агитации во французских колониях. Менее трех лет назад секретарь французской компартии Торез заявил<sup>1</sup>, что французских рабочих никогда не заставят воевать против их германских товарищей. Сейчас он один из наиболее громогласных патриотов во всей Франции. Ключ к линии коммунистической партии любой страны — военные связи — настоящие или потенциальные — этой страны с Советским Союзом. Позиция Англии, например, пока неясна, и поэтому английская коммунистическая партия все еще относится к правительству враждебно и подчеркнуто выступает против перевооружения. Если же Великобритания вступит в союз или подпишет военный договор с СССР английские коммунисты, наподобие французских, волей-неволей превратятся в хороших патриотов и империалистов; первые признаки уже палицо. Коммунистическая "линия" в Испании, совершенно очевидно зависела от того факта, что Франция, союзница России, не хотела иметь в лице Испании революционного соседа и сделала бы все возможное, чтобы предотвратить освобождение Испанского Марокко. "Дейли мейл", распространявшая рассказы о красной революции, финансируемой Москвой, была еще дальше от истины, чем обычно. В действительности, именно коммунисты, в первую очередь, предотвратили революцию в Испании. Позднее, когда контроль перешел полностью в руки правых, коммунисты показали, что они

<sup>1</sup> В палате депутатов, март 1935 года.

готовы идти значительно дальше, чем либералы, в охоте на революционных лидеров<sup>1</sup>.

Я попытался изобразить общий ход испанской революции в первый ее год, ибо это помогает понять положение сейчас. Но я не хочу этим сказать, что в феврале положение рисовалось мне именно таким, каким я его изобразил выше. Прежде всего, тогда еще не произошли те события, которые помогли мне в решающей мере осознать положение, и кроме того мои тогдашние симпатии несомненно отличались от нынешних. Частично это объяснялось тем, что политическая сторона войны нагоняла на меня скуку, и я, естественно, спорил со взглядами, которые слышал особенно часто — со взглядами P.O.U.M. и I.L.P. Большинство англичан в нашем отряде были членами I.L.P. (было также несколько коммунистов), и они, как правило, значительно лучше меня разбирались в политических вопросах. На протяжении долгих недель, в скучный период, когда в районе Хуэски ничего не происходило, я участвовал в бесконечной политической дискуссии. Представители разных направлений не прекращали споров в пронизываемых сквозняком, скверно пахнущих амбарах, в душной темноте окопов, за бруствером морозной ночью. То же самое было и среди испанцев, и большинство газет отводило внутривнутрипартийной борьбе самое видное место. Нужно было быть глухим или полным тупицей, чтобы не составить кое-какое представление об основных идеях каждой из партий.

С точки зрения политической теории значение имели лишь три партии — P.S.U.C., P.O.U.M. и C.N.T. — F.A.I., для простоты называемые анархистами. Я начну с P.S.U.C., поскольку это самая крупная партия, одержавшая в конечном итоге победу. Уже в то время P.S.U.C. заметно шла в гору.

Замечу, что, когда говорят о "линии" P.S.U.C., имеют в виду "линию" коммунистической партии. P.S.U.C. (Partido Socialista Unificado de Cataluña) — Социалистическая партия Каталонии; она была создана в начале войны в результате слияния различных марксистских партий, в том числе Каталонской коммунистической партии, но в описываемое время она находилась целиком под контролем коммунистов и была членом III Интернационала. В Испании не было больше подобных примеров официального союза между социалистами и коммунистами, но позиции коммунистов и правых социалистов можно считать полностью тождественными. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что P.S.U.C. был политическим органом U.G.T. (Union General de Trabajadores), то есть социалистических профсоюзов. Они насчитывали по всей стране примерно полтора миллиона человек. В состав U.G.T. входило много секций рабочих и ремесленников, но с началом войны в него хлынул поток представителей средних классов: в первые "революционные" дни многие сочли полезным стать членом U.G.T. или C.N.T. Эти два профсоюзных объединения были, по существу, смежными организациями, но C.N.T. имела более четко выраженный рабочий характер. Таким образом, P.S.U.C. была частично партией рабочих и в то же время партией мелкой буржуазии — лавочников, служащих, зажиточных крестьян.

Программу P.S.U.C., о которой писала коммунистическая и прокоммунистическая печать во всем мире, можно примерно сформулировать следующим образом: "В настоящее время единственная важная цель это победа. Без победы в войне все теряет свой смысл, а поэтому теперь не время говорить о расширении революции. Мы не можем допустить отчуждения крестьян, навязывая им насильственную коллективизацию, и мы не можем себе также позволить от-

<sup>1</sup> Лучше всего борьба в рядах правительственной коалиции изображена в книге Франца Боркенау "Испанская арена" (Franz Borkenau "The Spanish Cockpit"). Это наиболее убедительная книга об испанской войне, из всех вышедших до сих пор.

пугнуть средние классы, сражающиеся вместе с нами. Прежде всего необходимо положить конец революционному хаосу. Мы должны иметь сильное центральное правительство, а не местные комитеты, а также хорошо обученную регулярную армию под объединенным командованием. Цепляние за остатки рабочего контроля и бессмысленное повторение революционных фраз не только бесполезно, не только мешает революции, но помогает контрреволюции, ибо раскалывает наши ряды, а этот раскол может быть на руку фашистам. На нынешнем этапе мы боремся не за диктатуру пролетариата, мы боремся за парламентскую демократию. Тот, кто пытается превратить гражданскую войну в социалистическую революцию, помогает фашистам и, если не умышленно, то объективно является предателем".

"Линия" Р.О.У.М. расходилась с этой политикой по всем пунктам, кроме, конечно, пункта о необходимости одержать победу. Р.О.У.М. (Partido Obrero de Unificación Marxista) была одной из тех расколочивших коммунистических партий, которые появились в последнее время во многих странах, как оппозиция "сталинизму", то есть действительному или мнимому изменению курса коммунистической политики. Р.О.У.М. состояла из бывших коммунистов и членов бывшего Рабоче-Крестьянского блока. В численном отношении это была небольшая партия<sup>1</sup>, не имевшая существенного влияния за пределами Каталонии, и была сильна исключительно большим числом политически сознательных членов в ее рядах. Главным оплотом Р.О.У.М. в Каталонии была Лерида. Партия не выражала взглядов ни одного из профсоюзных блоков. Бойцы ополчения Р.О.У.М. были в своем большинстве членами С.Н.Т., но те из их числа, что состояли в партии, входили, как правило, в состав U.G.T. Но влияние Р.О.У.М. имела только в С.Н.Т. Линия Р.О.У.М. выглядела примерно так:

"Бессмысленно говорить о том, что буржуазная "демократия" выступает против фашизма. Буржуазная "демократия" — не больше, чем еще одно из названий капитализма; то же самое можно сказать и о фашизме. Борьбаться с фашизмом во имя "демократии" это значит бороться с одной формой капитализма во имя другой, которая в любую минуту может превратиться в первую. Единственная реальная альтернатива фашизму — рабочий контроль. Поставить себе более ограниченную цель, значит либо отдать победу Франко, либо впустить фашизм черным ходом. В настоящее время рабочие должны зубами держаться за все, что им удалось вырвать силой; если они пойдут на малейшие уступки полубуржуазному правительству, их, наверняка, обманут. Необходимо сохранить в нынешней форме рабочее ополчение и полицию, всеми силами препятствуя их "обуржуазиванию". Если рабочие не возьмут под свой контроль вооруженные силы, вооруженные силы установят контроль над рабочими. Война и революция неотделимы".

Программу анархистов изложить труднее. "Анархистами" называли великое множество людей, высказывающих самые различные и противоречивые взгляды. Политическим органом объединения профсоюзов С.Н.Т.(Confederación Nacional de Trabajadores), насчитывавшего около двух миллионов человек, была F.A.I. (Federación Anarquista Iberica), подлинная анархистская организация. Но даже члены F.A.I., хотя и имели, как, впрочем, большинство испанцев, некоторую анархистскую окраску, не были анархистами в подлинном смысле этого слова. После начала войны они сделали шаг в сторону обычного социализма, ибо обстоятельства принудили их принять участие в

<sup>1</sup>Р.О.У.М. насчитывала: в июле 1936 г. — 10.000 членов, в декабре 1936 г. — 70.000, в июне 1937 г. — 40.000. Но это официальные цифры из источников Р.О.У.М., враждебные партии круги сократили бы эти цифры, я думаю, раза в четыре. Единственное, что можно с уверенностью сказать о численности испанских партий, это то, что каждая партия дает завышенную оценку числа своих членов.

деятельности центральных административных органов и даже, в нарушение всех своих принципов, войти в состав правительства. Тем не менее они коренным образом отличались от коммунистов, прежде всего в том, что, как и P.O.U.M., стремились к рабочей власти, а не к парламентской демократии. Анархисты усвоили лозунг P.O.U.M. "Война и революция неотделимы!", но относились к нему менее догматично. В общих чертах, C.N.T. — F.A.I. выступали за следующую программу: 1. Рабочие каждой отрасли промышленности, т.е. транспорт, текстильные предприятия и т.д. осуществляют прямой контроль над производством; 2. Власть в руках местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Непримируемая вражда по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя и наименее четко сформулированный, был самым важным. Анархисты отличались от большинства так называемых революционеров тем, что, проповедуя довольно расплывчатые принципы, они по-настоящему ненавидели привилегии и несправедливость. В идеологическом отношении коммунизм и анархизм прямо противоположны. На практике же, то есть во всем, что касается наиболее желательной формы устройства общества, различие, в основном, заключается в том, на что каждая из этих идеологий делает основной нажим, но и эти разногласия непримиримы. Коммунисты делают упор на централизм и оперативность, анархисты — на свободу и равенство. Анархизм имеет в Испании глубокие корни и, вероятно, переживет коммунизм, когда исчезнет советское влияние. В первые два месяца войны именно анархисты, больше чем кто-либо другой, спасли положение, а гораздо позднее анархистское ополчение, несмотря на свою недисциплинированность, считалось самым боевым среди частей, стоящих исключительно из испанцев. Начиная примерно с 1937 года анархисты и P.O.U.M. в какой-то мере действовали вместе. Если бы анархисты, P.O.U.M. и левые социалисты действовали совместными силами с самого начала войны и проводили бы реалистическую политику, исход войны был бы, возможно, иным. Но в первый период, когда каждой из революционных партий казалось, что в ее руках все козыри, объединить силы было невозможно. Старинная зависть была причиной раздора между анархистами и социалистами, P.O.U.M., как партия марксистская, скептически относилась к анархистам, а с чисто анархистской точки зрения, "троцкизм" P.O.U.M. был ничем не лучше "сталинизма" коммунистов. И тем не менее, коммунистическая тактика была направлена на сближение этих двух партий. P.O.U.M. ввязался в злосчастные майские бои в Барселоне, инстинктивно приняв сторону C.N.T., а позднее, когда P.O.U.M. был запрещен, только анархисты осмелились выступить в его защиту.

Итак, расстановка сил в общих чертах выглядела следующим образом... С одной стороны C.N.T. — F.A.I., P.O.U.M. и фракция социалистов — сторонников рабочего контроля; с другой — правые социалисты, либералы и коммунисты — сторонники централизованного правительства и регулярной армии.

Легко понять, почему в то время политика коммунистов казалась мне предпочтительнее направления P.O.U.M. У коммунистов была четкая практическая программа, больше всего отвечающая доводам здравого смысла (правда, если заглядывать всего на несколько месяцев вперед). Повседневная же политика P.O.U.M., их пропаганда и все прочее было поставлено из рук вон плохо: если бы дела в P.O.U.M. обстояли лучше, они смогли бы привлечь больше последователей. Главным, однако, было то, что коммунисты — так мне казалось — действительно ведут войну, в то время как мы и анархисты топчемся на месте. В то время так думали все. Коммунисты пришли к власти и привлекли массы людей, отчасти потому, что средние прослойки населения поддерживали их антиреволюционную политику, но частично и потому, что коммунисты представлялись единственной силой, способной выиграть войну. Советское

оружие и отважная оборона Мадрида частями, которыми командовали главным образом коммунисты, превратили их в героев в глазах всей Испании. Кто-то сказал, что каждый советский самолет, пролетавший над нашими головами, служил делу коммунистической пропаганды. Революционный пуризм Р.О.У.М. казался мне тщетным, хотя я и признавал его логичность. Ведь в конечном итоге важно было лишь одно — выиграть войну.

Тем временем дьявольская межпартийная грызня шла на страницах газет, памфлетов, книг, на плакатах, одним словом — повсюду. Я чаще всего читал тогда газеты Р.О.У.М. "La Batalla" и "Adelante"<sup>1</sup>, содержащие бесконечные нападки на "контрреволюционеров" из P.S.U.C., казавшиеся мне самодовольными и нудными. Позднее, лучше познакомившись с прессой P.S.U.C., и коммунистов, я понял, что Р.О.У.М. вполне безобидна по сравнению со своими противниками, не говоря уже о том, что у Р.О.У.М. было значительно меньше возможностей. В отличие от коммунистов Р.О.У.М. не имела дружественной прессы за рубежами страны. В самой Испании, поскольку цензура была преимущественно в руках коммунистов, газеты Р.О.У.М. запрещались или штрафовались, если они публиковали неугодные коммунистам материалы. Следует признать, что газеты Р.О.У.М., хотя и были полны славословий в честь революции и цитат из Ленина, повторяемых до тошноты, обычно не опускались до личной клеветы. К тому же они вели полемику только на страницах газет. Их большие красочные плакаты (в Испании, где много неграмотных, плакаты имеют большое значение) не содержали нападок на соперничающие партии, а призывали к борьбе с фашизмом или же носили отвлеченно революционный характер. Такими были и песни, распеваемые ополченцами. Коммунисты вели себя совершенно иначе. Подробнее я остановлюсь на этом позднее, здесь же ограничусь лишь кратким описанием того, как вели свои атаки коммунисты.

На первый взгляд казалось, что коммунисты и Р.О.У.М. расходятся только в вопросах тактики: партия Р.О.У.М. выступала за немедленную революцию, а коммунисты — против. Пока все ясно: можно привести доводы в поддержку как одной, так и другой точки зрения. Далее, коммунисты утверждали, что пропаганда Р.О.У.М. раскалывает и ослабляет правительственные силы, подвергая опасности исход войны. И снова, хотя меня этот аргумент в конечном итоге не убеждает, можно сказать, что доля истины в нем есть. Но здесь раскрывается отличительная черта коммунистической тактики. Сначала потихоньку, а потом все более громко коммунисты стали заявлять, что Р.О.У.М. вносит раскол в ряды республиканцев не по ошибке, а умышленно. Р.О.У.М. был объявлен шайкой замаскированных фашистов, наймитов Франко и Гитлера, сторонниками псевдореволюционной политики, которая на руку фашистам. По словам коммунистов, Р.О.У.М. была "троцкистской" организацией, "франкистской пятой колонной". А это значило, что десятки тысяч рабочих, в том числе восемь или десять тысяч бойцов, мерзших в окопах, и сотни иностранцев, пришедших в Испанию сражаться с фашизмом, зачастую жертвуя налаженным бытом и правом вернуться на родину, оказались предателями, наемниками врага. Эти слухи распространялись по всей Испании с помощью плакатов и других средств агитации, снова и снова повторялись коммунистической и прокоммунистической печатью во всем мире. Если бы я занялся коллекционированием цитат, я мог бы заполнить ими полдюжины книг.

Итак, коммунисты называли нас троцкистами, фашистами, убийцами, трусами, шпионами. Признаюсь, в этом было мало приятного, особенно, когда я вспоминал кое-кого из тех, кто сочинял эту пропаганду. Каково было видеть пятнадцатилетнего испанского парнишку, выносимого на носилках из окопа,

<sup>1</sup> Бой. Вперед.

смотреть на его безжизненное белое лицо и думать о прилизанных ловкачах в Лондоне и Париже, строчащих памфлеты, в которых доказывается, что этот паренек — переодетый фашист? Одна из самых жутких черт войны состоит в том, что военную пропаганду, весь этот истошный вой, и ложь, и крики ненависти стряпают люди, сидящие глубоко в тылу. Ополченцы из отрядов P.S.U.C., которых я знал по фронту, коммунисты-бойцы интернациональных бригад, попадавшие время от времени на моем пути, никогда не называли меня троцкистом или предателем; это занятие они оставляли журналистам-тыловикам. Те, кто писали против нас памфлеты и смешивали с грязью на страницах газет, сидели в полной безопасности у себя дома, или, по крайней мере, в редакциях в Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Кроме оскорблений, сыпавшихся в порядке межпартийной грызни, газеты были полны обычной военной чепухи — барабанного грохота, прославления своих и оплевывания противника. И все это, как обычно, делалось людьми, не участвовавшими в боях, людьми, готовыми бежать без оглядки пока ноги несут, лишь бы удрать с поля боя. Война научила меня — это один из самых ее неприятных уроков, — что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая<sup>1</sup>.

Я был совершенно убежден, что мы — сторонники правительства — ведем войну, ничем не похожую на обычную, империалистическую войну. Но наша военная пропаганда не давала оснований для такого вывода. Едва начались бои, как красные и правые газеты одновременно начали злоупотреблять бранью. Памятен заголовок в "Дейли мейл": "Красные начинают монахинь!" В это же время "Дейли уоркер" писала, что Иностранный легион Франко "состоит из убийц, торговцев женщинами, наркоманов и отребья всех стран Европы". В октябре 1937 года "Нью стейтсмен" потчевала нас рассказами о фашистских баррикадах, сложенных из живых детей (чрезвычайно неудобный материал для возведения баррикад), а мистер Артур Брайан уверял, что в республиканской Испании "отпиливание ног консервативным купцам" дело "самое обычное". Люди, которые пишут подобные вещи, сами никогда не воюют; они, возможно, полагают, будто подобная писанина вполне заменяет участие в сражении. Всегда происходит то же самое: солдаты воюют, журналисты вопят, и ни один истинный патриот не считает нужным приблизиться к окопам, кроме как во время коротеньких пропагандистских вылазок. Иногда я с удовлетворением думаю о том, что самолеты меняют условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим то, чего до сих пор не знала история — ура-патриота, отхватившего пулю.

Для журналистов эта война, как и все другие войны, была бизнесом. Разница заключалась лишь в том, что, если обычно журналисты приберегают свои ядовитейшие оскорбления для врага, на этот раз коммунисты и P.O.U.M. постепенно стали писать друг о друге хуже, чем о фашистах. Тем не менее, в то время мне трудно было воспринимать все это всерьез. Межпартийные распри раздражали меня, вызывали отвращение, но, все же, они представлялись мне не более чем домашней склокой. Я не верил в то, что они изменяют что-либо, не верил в наличие действительно непримиримых разногласий по политическим вопросам. Я осознал, что коммунисты и либералы твердо решили задержать дальнейшее развитие революции; я не понимал, что они в состоянии повернуть ее вспять.

Почему я так думал — попятно. Все это время я находился на фронте, а на фронте социальная и политическая атмосфера оставались без перемен. Я

<sup>1</sup> Мне хотелось бы сделать одно только исключение — для газеты "Манчестер гардиан". Работая над этой книгой, я просмотрел подшивки многих английских газет. Из наших больших газет только "Манчестер гардиан" вызвала у меня еще больше уважения — за свою честность.

выехал из Барселоны в начале января, а отпуск получил лишь в конце апреля; все это время, собственно говоря, и позже, на участке арагонского фронта, контролируемого отрядами Р.О.У.М. и анархистами, — по крайней мере внешне, — ничего не изменилось. Революционная атмосфера оставалась такой же, какой я знал ее раньше. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец по-прежнему общались как равный с равным, говорили друг другу "ты" или "товарищ". У нас не было класса хозяев и класса рабов, не было нищих, проституток, адвокатов, священников, не было лизоблюдства и козыряния. Я дышал воздухом равенства и был достаточно наивен, чтобы верить, что таково положение во всей Испании. Мне и в голову не приходило, что по счастливому стечению обстоятельств, я оказался изолированным вместе с наиболее революционной частью испанского рабочего класса.

Неудивительно поэтому, что когда мои более развитые в политическом отношении товарищи говорили, что к войне нельзя относиться только с чисто военной точки зрения, что выбирать нужно между революцией и фашизмом, я был склонен смеяться над их словами. В целом я принимал коммунистическую точку зрения, сводившуюся к формуле: "Мы не можем говорить о революции, пока мы не выиграли войну", считая неприемлемой позицию Р.О.У.М., гласившую: "Мы должны идти вперед, ибо иначе мы пойдем назад". Когда позднее я понял, что прав был Р.О.У.М., во всяком случае более прав, чем коммунисты, это произошло не в области чистой теории. На бумаге позиция коммунистов выглядела убедительно; вся беда заключалась лишь в том, что их дела заставляли сомневаться в их искренности. Часто повторяемый лозунг: "Сначала война, потом революция", был выдуман для отвода глаз, хотя в него искренне верили рядовые бойцы ополчения P.S.U.C., считавшие, что после победы революция пойдет вперед. В действительности же, коммунисты вовсе не думали о том, чтобы отложить испанскую революцию на более подходящее время. Они делали все, чтобы революция никогда не произошла. Постепенно это становилось все яснее и яснее — по мере того, как у рабочего класса отбирали власть, а все больше и больше революционеров всех оттенков оказывались в тюрьмах. Каждый шаг оправдывался военной необходимостью: этот предлог был, так сказать, сшит как по заказу. В действительности же, коммунисты стремились вытеснить рабочих с выгодных позиций и загнать их в такое положение, чтобы после окончания войны они были не в состоянии противиться реставрации капитализма. Прошу обратить внимание, что я не выступаю здесь против рядовых коммунистов, и уж конечно меньше всего против тех тысяч из их числа, которые пали геройской смертью в боях под Мадридом. Не эти люди определяли политику партии. В то же время невозможно поверить, что те, кто занимал руководящие посты, не ведали, что творили.

Но в конечном итоге стоило выиграть войну, даже если революция была обречена. Однако под конец я начал сомневаться и в том, что политика коммунистов направлена на достижение победы. Очень немногие осознали, что на разных этапах войны может возникнуть необходимость в изменении политической линии. Анархисты, по-видимому, спасли положение в первые два месяца войны, но были неспособны организовать сопротивление на следующем этапе; коммунисты, видимо, спасли положение в октябре — декабре, но до окончательной победы было еще очень далеко. В Англии военную политику коммунистов приняли без всяких возражений; прежде всего потому, что лишь малая толика критических замечаний в ее адрес смогла просочиться в газеты, а также потому, что генеральная линия — ликвидация революционного хаоса, увеличение выпуска продукции, создание регулярной армии — казалась вполне реальной и дельной. Стоит указать на внутреннюю слабость коммунистической линии.

Для того, чтобы душисть в зародыше каждое революционное проявление и сделать войну как можно более похожей на войну обычного типа, необходимо было отказаться от возникавших стратегических возможностей. Я писал выше, как мы были вооружены, или лучше сказать разоружены, на Арагонском фронте. Есть все основания полагать, что оружие умышленно задерживалось, из опасения, что оно может попасть в руки анархистов, которые позднее используют его для революционных целей; в результате было сорвано большое наступление на Арагонском фронте, которое заставило бы Франко отойти от Бильбао, а быть может, и от Мадрида. Но не это самое главное. Значительно важнее другое: после того, как война в Испании превратилась в "войну за демократию", стало невозможным заручиться массовой поддержкой рабочего класса зарубежных стран. Если мы готовы смотреть в лицо фактам, мы вынуждены будем признать, что мировой рабочий класс относился к войне в Испании равнодушно. Десятки тысяч прибыли в Испанию, чтобы сражаться, но десятки миллионов апатично остались позади. В течение первого года войны в Англии было собрано в различные фонды "помощи Испании" всего около четверти миллиона фунтов, наверное, вдвое меньше суммы, расходуемой еженедельно на кино. Рабочий класс демократических стран мог помочь своим испанским товарищам забастовками и бойкотом. Но об этом не было даже речи. Рабочие и коммунистические лидеры во всех странах заявили, что это немыслимо; они были несомненно правы, — ведь они в то же время во всю глотку орали, что "красная" Испания вовсе не "красная". После первой мировой войны слова "война за демократию" приобрели зловещее звучание. В течение многих лет сами коммунисты учили рабочих всего мира, что "демократия" — это всего навсего более обтекаемое определение понятия "капитализм". Сначала заявлять "Демократия — это обман", а потом призывать "Сражаться за демократию" — тактика не из лучших. Если бы коммунисты, поддержанные Советской Россией с ее колоссальным авторитетом, обратились к рабочим мира во имя не "демократической Испании", а "революционной Испании", трудно поверить, что их призыв не встретил бы отклика.

Но самое главное было то, что ведя неревOLUTIONционную политику, было трудно, а то и совсем невозможно, нанести удар по франкистскому тылу. Летом 1937 года на контролируемых Франко территориях находилось больше населения, чем под контролем республиканского правительства — значительно больше, если считать также испанские колонии. В то же время численность войск обеих сторон была приблизительно одинаковой. Всякому известно, что, имея в тылу враждебное население, невозможно держать армию на фронте, не располагая армией сходной численности для охраны дорог, борьбы с саботажем и т.д. Отсюда понятно, почему в тылу Франко не было подлинного народного сопротивления. Нельзя себе представить, что население занятой им территории, это во всяком случае относится к городским рабочим и бедным крестьянам, любило или поддерживало Франко, но каждый шаг вправо делал преимущество республиканского правительства все более и более иллюзорным. Лучшим свидетельством этому был вопрос Марокко. Почему Марокко не восстало? Франко пытается навязать им позорную диктатуру, а марокканцы предпочитают его правительству Народного фронта! Но поднять восстание в Марокко значило придать войне революционный характер, поэтому не было даже попытки призвать к восстанию. Для того, чтобы убедить марокканцев в добрых намерениях республиканского правительства, необходимо было объявить Маарокко свободным. Можно себе представить, насколько такой шаг пришелся бы по вкусу французскому правительству! Лучший стратегический ход войны был упущен в тщетной попытке умиротворить французский и британский капитализм. Суть всей коммунистической политики сводилась к стремлению превратить



войну в обычную, неревOLUTIONионную, то есть такую, в которой все преимущества были на стороне врага. Войну обычного типа можно выиграть лишь благодаря техническому преимуществу, то есть в конечном итоге, заручившись неограниченными поставками оружия; главный же поставщик республиканского правительства — Советский Союз находился в значительно менее выгодном географическом положении, чем Италия и Германия. Отсюда следует, что лозунг Р.О.У.М. и анархистов: "Война и революция неотделимы", был, возможно, вовсе не таким уж непрактичным, каким он казался на первый взгляд.

Я объяснил, почему коммунистическая антиреволюционная политика представляется мне ошибочной. Хочется, однако, верить, что я ошибся, предсказывая ее влияние на исход войны. Здесь я хотел бы оказаться тысячу раз неправым. К тому же, нельзя, разумеется, знать, что случится дальше. Правительство может снова сделать поворот влево, марокканцы могут восстать по собственной инициативе, Англия может решить заплатить Италии за отказ от участия в войне, возможно, удастся выиграть войну чисто военными средствами — заранее знать ничего нельзя. Я оставляю изложенные выше соображения и пусть время покажет был ли прав или ошибался.

В феврале 1937 года мое положение представлялось мне в ином свете. Мне надоело до тошноты бездействие на Арагонском фронте, а главное, я чувствовал, что не сумел внести своей доли в борьбу. Мне вспоминался плакат на улицах Барселоны, требовательно спрашивающий у прохожих: "Что ты сделал для демократии?" Я мог дать лишь один ответ: "Получал пищевой паек". Вступив в ополчение, я дал себе слово убить одного фашиста — в конце концов, если бы каждый из нас убил по одному фашисту, то их скоро не стало бы совсем. Но пока я не убил ни одного, да и вряд ли имел на это шансы в будущем. И, конечно, мне хотелось попасть в Мадрид. Все бойцы, независимо от их политических взглядов, стремились в Мадрид. Это, по-видимому, означало переход в интернациональную бригаду, ибо у Р.О.У.М. было под Мадридом очень мало войска, а у анархистов — меньше, чем раньше.

Пока, конечно, нужно было оставаться в строю, но я рассказывал всем, что, когда мы пойдем в отпуск, я, если представится возможность, перейду в интернациональную бригаду, то есть под командование коммунистов. Многие старались переубедить меня, но никто не пробовал вмешиваться. Нужно признать, что в Р.О.У.М. еретиков не преследовали, может быть, относились к ним даже слишком терпимо; если вспомнить наши обстоятельства, никого, за исключением явных профашистов, не преследовали за политические взгляды. За время своего пребывания в ополчении я многократно и резко критиковал "линию" Р.О.У.М., но никогда не напоролся из-за этого на неприязни. Ни на кого не оказывалось давление с целью побудить его вступить в партию, хотя мне думается, большинство ополченцев состояли в партии. Лично я никогда в партию не вступил, о чем позднее, когда Р.О.У.М. подвергся преследованиям, успел пожалеть.

## 6

А тем временем, ежедневно, точнее, еженощно тянулась служба — караулы, патрули, рытье окопов, грязь, дожди, свист ветра и, время от времени, снег. Лишь когда окончательно утвердился апрель, ночи стали заметно теплее. Март на нашем плоскогорье напоминал март в Англии с его ярким синим небом и порывистыми ветрами. Озимый ячмень поднялся на фут от земли, на вишнях завязывались розовые бутоны (линия фронта шла через заброшенные вишневые сады и огороды), в канавах начали попадаться фиалки и дикий гиацинт, скорее напоминавший неприглядный колокольчик. У самых наших окопов

бурлил чудесный, зеленый ручеек, — впервые с момента прибытия на фронт, я увидел прозрачную воду. Однажды, стиснув зубы, я полез в речушку, чтобы искупаться первый раз за шесть недель. Купание вышло, признаться, короткое, температура воды была только чуть выше нуля.

А пока все оставалось по-прежнему, не происходило ровным счетом ничего. Англичане стали поговаривать, что это не война, а дурацкая пантомима. Прямым огнем фашисты достать нас, по существу, не могли. Единственную опасность представляли случайные пули, особенно — на выдвинутых вперед флангах. Там пули сыпались с разных направлений. Все наши потери в этот период были вызваны шальными пулями. Непонятно откуда взявшаяся пуля раздробила Артуру Клинтону левое плечо и, боюсь, навсегда парализовала руку. Изредка постреливала артиллерия, но огонь был неприцельный. Свист снарядов и грохот разрывов мы воспринимали как некоторое развлечение. Ни один фашистский снаряд не попал в наш бруствер. В нескольких сотнях метров позади нас виднелось поместье Ла Гранха, в его просторных помещениях находились наши склады, штаб и кухня. Вот в него-то и целились фашистские артиллеристы, находившиеся на расстоянии пяти или шести километров. Впрочем, они так никогда и не накрыли цель, — им удалось лишь выбить стекла и поцарапать осколками стены. В опасности был лишь тот, кто оказывался на дороге в момент, когда начиналась стрельба, и снаряды рвались в полях по обеим сторонам дороги. Почти сразу же все мы овладели таинственным искусством улавливать по звуку летящего снаряда, разорвется он близко или далеко. В этот период у фашистов были очень скверные снаряды. Имея крупный калибр (150 мм), снаряды эти делали воронки, имевшие не более 1 м 80 см в диаметре и примерно в 1 м 20 см в глубину. Кроме того, по меньшей мере один из каждых четырех снарядов не разрывался. Окопные романтики рассказывали о саботаже на фашистских заводах, о холостых снарядах, в которых вместо взрывчатки находили записки: "Рот фронт", но я лично никогда таких снарядов не видел. Дело просто в том, что стреляли в нас безнадежно старыми снарядами; кто-то поднял латунную крышку взрывателя с выбитой датой — 1917. У фашистов были такие же орудия, как у нас и того же калибра, поэтому неразорвавшиеся снаряды часто вправляли в гильзы и выстреливали обратно. Говорили, что есть один снаряд — ему даже дали особое прозвище, — который ежедневно путешествовал туда и обратно, не взрываясь.

По ночам маленькие патрули посылались на ничейную землю. Подобравшись к фашистским окопам, они слушали доходившие до них звуки (сигналы рожка, гудки автомашин), по которым можно было судить о том, что происходит в Хуэске. Фашистские войска часто сменялись, и подслушивание позволяло приблизительно определять их численность. Нас специально предупредили, чтобы мы прислушивались к колокольному звону. Было известно, что фашисты перед боем всегда отправляют мессу. В полях и садах мы наткнулись на покинутые глинобитные хибарки. Предварительно затемнив окна, мы обшаривали эти домики при свете спички и находили иногда такие полезные вещи, как широкий нож-резак или забытую фашистским солдатом баклагу (они были лучше наших и очень высоко ценились). Бывали и дневные вылазки, но днем обычно приходилось ползать на четвереньках. Как странно было ползти по этим пустынным плодородным полям, где все вдруг замерло в самый разгар урожайной страды. Прошлогодний урожай остался необранным. Несрезанные виноградные лозы змеились по земле, кукурузные початки стали твердыми, как камень, чудовищно разрослась кормовая и сахарная свекла, превратившись в бесформенные одеревенелые глыбы. Как, должно быть, проклинали крестьяне обе армии! Время от времени небольшие группы бойцов уходили на ничейную землю копать картошку. Примерно в полутора километрах от

нас, на правом фланге, где окопы сближались, было картофельное поле, на которое мы наведывались днем, а фашисты только ночью, ибо наши пулеметы занимали здесь господствующую позицию. Как-то ночью фашисты нагрянули толпой и опустошили все поле, что нас очень разозлило. Мы нашли другую делянку, подальше, но там не было никакого укрытия, и картошку приходилось копать, лежа на животе. Занятие утомительное. Когда вражеские пулеметчики засекали нас, приходилось распластываться по земле, как крыса, старающаяся прошмыгнуть в щель между дверью и полом. В это время пули взбивали землю в нескольких метрах от нас. Но игра стоила свеч. Картошки не хватало. Если удавалось собрать мешок, ее можно было обменять на кухне на баклагу кофе.

У нас по-прежнему ничего не происходило, казалось даже, что и прозойити-то ничего не может. "Когда мы пойдем в атаку?", "Почему мы не атакуем?" — эти вопросы задавали без устали и испанцы и англичане. Странно слышать от солдат, что они хотят драться, зная, чем это пахнет, но они действительно рвались в бой. В окопах солдат всегда ждет трех вещей: боя, выдачи сигарет и недельного отпуска. Теперь мы были вооружены немного лучше, чем раньше. Каждый боец имел по сто пятьдесят патронов вместо прежних пятидесяти, постепенно нам выдали штыки, каски и по нескольку гранат. Слухи о предстоящем наступлении не прекращались. Теперь я думаю, что их распространяли умышленно — для поддержания боевого духа солдат. Не требовалось специального военного образования, чтобы понять, что под Хуэской крупных боевых действий не предвидится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Стратегическое значение имела дорога в Яку, тянувшаяся вдоль противоположной стороны города. Позднее, когда анархисты перешли в наступление, стремясь захватить дорогу, нам было приказано произвести "отвлекающие атаки" и оттянуть на себя фашистские войска.

В течение шести недель на нашем участке фронта была произведена только одна атака. Наш ударный батальон атаковал Маникомо — бывший сумасшедший дом, превращенный фашистами в крепость. В рядах ополчения Р.О.У.М. служило несколько сот немцев, бежавших из гитлеровской Германии. Их свели в специальный батальон, названный ударным. С военной точки зрения они резко отличались от других отрядов ополчения, больше походя на солдат, чем какая-либо другая часть в Испании, если не считать жандармерии и некоторых соединений Интернациональной бригады. Из затеи перейти в наступление, разумеется, ничего не получилось, — да и какое наступление правительственных войск в ходе этой войны не было загублено? Ударный батальон взял штурмом Маникомо, но части, не помню какого ополчения, не выполнили приказа о захвате холма, господствовавшего над крепостью. Их вел на приступ капитан, один из тех офицеров регулярной армии, в лояльности которых были все основания сомневаться, но которых правительство, тем не менее, брало на службу. То ли испугавшись, то ли пойдя на предательство, капитан предупредил фашистов и бросил гранаты на расстоянии двухсот метров от их окопов. Я с удовлетворением узнал, что бойцы пристрелили своего капитана на месте. Но атака потеряла эффект неожиданности, сильным огнем противник скосил ряды атакующих ополченцев, принудив их отступить, а к вечеру ударный батальон оставил Маникомо. Всю ночь по разбитой дороге в Сиетамо ползли санитарные машины, добывая тяжелораненых тряской на ухабах.

К этому времени мы все обовшивели; хотя было еще довольно холодно, вшей температура устраивала. У меня большей опыт общения с насекомыми разных видов, но ничего омерзительнее вшей встречать не приходилось. Другие насекомые, например, москиты, кусаются больше, но они, по крайней мере, не обитают на вашем теле. Вошь несколько напоминает малюсенького

рачка и живет, обычно, в швах штанов. Избавиться от нее совершенно невозможно, разве что, путем сожжения всей одежды. Вошь откладывает в швах брюк блестящие маленькие яйца, наподобие зернышек риса, из которых с поражающей быстротой выводятся новые поколения. Думаю, что пацифистам неплохо бы украшать свои памфлеты увеличенной фотографией вши. Вот она — военная слава! На войне солдат *всегда* заедает вши, если, конечно, достаточно тепло. Где бы солдат ни дрался — под Верденом, под Ватерлоо, у Флоддена, под Сенляком или под Фермопилами — у него всегда в паху ползали вши. Мы боролись с насекомыми, прожаривая швы одежды и купаясь так часто, как позволяли условия. Кроме вшей, вряд ли что-либо могло заставить меня лезть в ледяную воду реки.

Все подходило к концу — башмаки, одежда, табак, мыло, свечи, спички, оливковое масло. Наша форма разваливалась, многие бойцы носили вместо ботинок сандалии на веревочной подошве. Повсюду валялись горы изношенной обуви. Как-то мы два дня жгли костры из ботинок, оказавшихся неплохим топливом. К этому времени моя жена приехала в Барселону и присылала мне чай, шоколад и даже сигары, когда ей удавалось их достать. Но и в Барселоне тоже ощущался недостаток продуктов, в первую очередь табака. Чай был манной небесной, у нас не было молока, и редко случался сахар. Из Англии в адрес бойцов постоянно отправлялись посылки, но они никогда к нам не доходили; пицца, одежда, сигареты — либо не принимались почтой, либо конфисковывались во Франции. Любопытно знать, что лишь один отправитель сумел переслать моей жене несколько пачек чая и однажды — памятный случай — коробку бисквитов. Этим отправителем были интендантские склады Военно-Морского флота. Бедняги! Армия и Флот с честью выполнили свой долг, но им, вероятно, было бы приятнее, если бы посылка шла к солдатам Франко. Больше всего нас мучила нехватка табака. Сначала мы получали по пачке сигарет в день, затем по восемь штук, а потом по пять. Наконец, нам пришлось перенести десять убийственных дней без курева. Впервые я увидел в Испании зрелище столь обыденное для Лондона — я видел людей, собирающих окурки.

В конце марта у меня выскочил нарыв на руке, нарыв пришлось вскрыть, а руку подвесить на перевязь. Не было, однако, смысла из-за такого пустяка везти меня в госпиталь в Систамо, и я остался в так называемом "госпитале" в Монфлорите, который был, по существу, перевязочным пунктом. Я провел там десять дней, часть времени пролежав в постели. Практиканты (так называли фельдшеров) украли у меня практически все ценные вещи, в том числе фотоаппарат, а заодно и все мои снимки. На фронте все воруют, это неизбежный результат плохого снабжения, но особенно отличаются госпитальные работники. Позднее, в барселонском госпитале, я встретил американца, прибывшего в интернациональную бригаду на судне, торпедированном итальянской подводной лодкой. Американец рассказывал, что когда его раненого несли на берег, то санитары, вталкивая носилки в машину, успели снять с него наручные часы.

С рукой на перевязи, я провел несколько чудесных дней, бродя по окрестностям Монфлорите. Это была обычная испанская деревушка — кучка глинобитных и каменных домов, узкие кривые улочки, изъезженные грузовиками до такой степени, что они стали походить на лунные кратеры. Сильно поврежденная церковь была отведена под военный склад. Во всей округе было только две сравнительно больших усадьбы — Торре Лоренцо и Торре Фабиан, и только два крупных здания, видимо, дома помещиков, некогда владевших этой землей. Они как бы любовались своим богатством, глядя на убогие хижины крестьян. Сразу же за рекой, неподалеку от линии фронта, стояла огромная мельница с приспособленным к ней домом. Чувство стыда и неловкости вызывал вид ржавеющих без дела дорогих машин, разобранного на дрова пола. Позднее, тыловые

части начали присылать сюда людей на грузовиках, которые принялись за дело систематически. На дрова пошла вся мельница. Солдаты обычно рвали полы ручными гранатами. В Ла Гранха, где находились наши склады и кухня, некогда, должно быть, помещался монастырь. На площади в акр, а то и больше, стояли хозяйственные постройки, в том числе конюшня на тридцать-сорок лошадей. Деревенские дома в этой части Испании в архитектурном отношении не представляют интереса, но хозяйственные постройки, сооруженные из камня и глины, с круглыми сводами и великолепными потолочными балками, имеют благородный вид. Построены они по образцам, не менявшимся, должно быть, многие века. Иногда вы, сами того не желая, вдруг понимали, что чувствуют бывшие владельцы этих усадеб — фашисты — при виде того, как здесь хозяйничают бойцы ополчения. В Ла Гранхе все пустующие комнаты были превращены в уборные — кошмарное месиво из обломков мебели и экскрементов. В примыкавшей к дому маленькой церкви, стены которой были изрешечены пулями, кал лежал сплошным толстым слоем. Тошнотворная свалка ржавых консервных банок, грязи, лошадиного навоза и разложившейся пищи украшала большой внутренний двор, где повара раздавали пищу. Вспоминались слова старой солдатской песни:

Вот так крысы,  
Ростом с кошку,  
В интендантстве завелись!

В Ла Гранхе крысы действительно напоминали размерами котов; большие, разжиревшие, они бродили по горам мусора, обнаглев до того, что разогнать их можно было только выстрелами.

Наконец-то на дворе установилась весна. Небесная синева стала нежнее, воздух вдруг пропитался пряным ароматом. В канавах шумно спаривались лягушки. Возле водопоя, куда водили мулов всей деревни, я нашел изящных зеленых лягушат, размером с маленькую монетку, такого яркого цвета, что молодая трава блекла рядом с ними. Деревенские ребяташки отправлялись с ведрами ловить улиток, которых они жарили живьем на кусках жести. Как только погода установилась, крестьяне вышли в поле на весеннюю пахоту. Испанская аграрная революция — явление настолько непонятное, что мне так и не удалось выяснить, была ли земля обобществлена или крестьяне просто разделили ее между собой. Думаю, что теоретически землю обобществили, поскольку верховодили здесь Р.О.У.М. и анархисты. Во всяком случае, помещиков не было, земля обрабатывалась, народ казался довольным. Дружелюбие крестьян по отношению к нам не переставало меня удивлять. Тем из их числа, кто постарше, война должна была представляться бессмысленной; она принесла с собой нехватку самого необходимого и ужасающе скучную жизнь для всех. Кроме того, крестьяне и в лучшие времена не любят, когда в их деревнях расквартировывают солдат. И тем не менее, они относились к нам неизменно дружелюбно, понимая, видимо, что, хотя мы и невышосимы кое в чем, мы стоим между крестьянами и бывшими их помещиками. Гражданская война явление несуразное. Хуэска лежала менее чем в десяти километрах от деревни. В Хуэску крестьяне ездили на рынок, там у них были родственники, туда каждую неделю в течение всей своей жизни они отправлялись торговать птицей и овощами. А теперь вот уже восемь месяцев непреодолимый барьер колючей проволоки и пулеметного огня лежал между ними и городом. Случалось, что они забывали об этом. Однажды я спросил у старушки, несшей маленькую железную лампу, из тех, которые наполняют оливковым маслом: "Где я могу купить такую лампу?" — "В Хуэске", — ответила она, на задумываясь, и мы оба рассмеялись. Деревенские

девушки, очаровательные создания с угольно-черными волосами и танцующей походкой, вели себя очень откровенно и непосредственно, что тоже, вероятно, было результатом революции.

Мужчины в потрепанных голубых рубашках и черных вельветовых штанах, в широкополых соломенных шляпах, шли за плугами, которые тащили упряжки мулов, ритмично шевеливших ушами. Жалкие плуги едва царапали землю, не оставляя за собой ничего похожего на настоящую борозду. Все сельскохозяйственные орудия местных крестьян безнадежно устарели, что объясняется прежде всего дороговизной металла. Когда ломался, например, лемех, его латали, потом латали снова, и так до тех пор, пока на нем не оставалось живого места. Грабли и вилы делались из дерева. Крестьяне, редко носившие башмаки, не знали лопаты; они копали землю неуклюжей мотыгой, вроде тех, которыми пользуются в Индии. Здешняя борона, видимо, не изменилась со времен каменного века. Эти бороны, величиной с кухонный стол, сколачивались из досок, в которых выдавливались сотни дырочек, а в каждую из дырочек вставлялся камень, обтесанный точно таким же способом, каким обрабатывался камень десять тысяч лет назад. Помню, что я почувствовал нечто вроде ужаса, увидев впервые это орудие в брошенной хижине на ничьей земле. Я долго рассматривал его, прежде чем до меня дошло, что это борона. Мне стало дурно при мысли о том, сколько труда нужно вложить, чтобы сделать такую штуку, от сознания бедности, заставлявшей пользоваться кремнем вместо стали. С того времени я стал относиться гораздо более доброжелательно к промышленному развитию. В деревне были и два современных трактора, видимо отобранных у крупного помещика.

Раза два я дошел до маленького огороженного кладбища, лежавшего, примерно, в миле от деревни. Убитых на фронте обычно отвозили в Сиетамо; здесь же лежали деревенские покойники. Странное кладбище, совсем не похожее на английское. Никакого почтения к мертвым! Все заросло кустами и жесткой травой, всюду валяются человеческие кости. Но особенно удивило меня полное отсутствие религиозных надписей на могильных камнях, хотя все они были поставлены до революции. Только один раз, кажется, я здесь обнаружил столь обычную для католических кладбищ надпись: "Молитесь за душу такого-то". Большинство надписей носило совершенно мирской характер, много было шуточных стихов, восхвалявших добродетели усопшего. Крест или беглое упоминание о небе попадались на одной из четырех-пяти могил, но и их почти всюду сбил долотом какой-то ревностный безбожник.

Народ в этой части Испании, как мне показалось, совершенно лишен религиозных чувств, — я имею в виду ортодоксальную религиозность. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании, я ни разу не видел крестившегося человека, а ведь это движение, казалось бы, должно стать магинальным, не зависящим от революции. Конечно, испанская церковь вернется к жизни (есть поговорка — ночь и иезуиты всегда приходят снова), но так же очевидно, что с началом революции она совершенно рухнула. Такое, думаю, не могло бы приключиться в подобных обстоятельствах даже с умирающей англиканской церковью. Для испанского народа, во всяком случае для Каталонии и Арагона, церковь — это просто-напросто обман. Христианскую веру, возможно, в какой-то степени заменил анархизм, широко распространившийся и, несомненно, имеющий религиозную окраску.

В тот день, когда я вернулся из госпиталя, мы передвинули наши окопы, примерно, на тысячу метров вперед, где им полагалось быть и раньше, и заняли позицию на берегу небольшого ручья, в нескольких сотнях ярдов от фашистов. Эту операцию следовало провести несколько месяцев назад; теперь ее цель

была отвлечь часть сил противника и помочь анархистам, атаковавшим дорогу на Яку.

Мы не спали шестьдесят или семьдесят часов, и события вспоминаются сквозь туман, точнее, отдельными картинками. Я помню, что мы подслушивали разговоры противника на ничьей земле, в сотне метров от Каза Франчеза, крестьянского дома, превращенного в часть линии фашистской обороны; семь часов сряду мы лежали в вонючем болоте, мокли в пропахшей камышами воде, чувствуя, как тело погружается все глубже и глубже. Память сохранила запах камыша, ледящий холод, неподвижные звезды в черном небе, хриплое кваканье лягушек. Стоял уже апрель, но я не помню в Испании ночи холоднее. Хотя всего в ста метрах позади нас рылись окопы, стояла полная тишина, нарушаемая лишь хором лягушек. Только один раз в течение всей ночи я услышал посторонний звук — знакомое шлепанье лопаты, трамбующей мешок с песком. Как это ни странно, время от времени испанцы вдруг проявляют чудеса организованности. За семь часов шестьсот человек отрыли тысячу двести метров траншей, защищенных бруствером, и слелали это так тихо, что фашисты не слышали ни одного звука, хотя они были на расстоянии всего 150-300 метров. В течение ночи мы потеряли только одного человека. На следующий день, конечно, потери возросли. Каждый боец точно знал, что ему нужно делать, а как только работа была закончена, сразу же явились разносчики пищи с бурдюками вина, в которое был подмешан коньяк.

Потом рассвело, и фашисты внезапно обнаружили нас прямо под своим посом. Мы находились в двухстах метрах от Каза Франчеза, но казалось, что ее квадратное белое строение нависло прямо над нами, а пулеметы, видневшиеся в заложенных песком верхних окнах, были наведены точно на наши окопы. Мы глазели на Каза Франчеза, удивляясь, почему фашисты нас не замечают, как вдруг брызнул бешеный град пуль. Все попадали на колени и начали яростно окапываться, углублять траншею, рыть боковые лисьи норы. Поскольку моя рука все еще была в перевязке, и копать я не мог, я провел большую часть дня за чтением детективного романа "Пропавший ростовщик". Содержания книги я не помню, но очень живо вспоминаются все ощущения, которые сопровождали чтение: мокрая глина на дне окопа, я все время убираю ноги, о которые спотыкаются люди, пробегающие мимо меня, визг пуль над самой головой. Томас Паркер был ранен навывлет пулей в бедро, что, как он заявил, совсем не входило в его расчеты. Мы несли потери, но их нельзя было даже сравнить с теми потерями, которые мы могли иметь, если бы фашисты обнаружили нас ночью. Позднее мы узнали от дезертира, что пять фашистских часовых было расстреляно за халатность. Но даже и сейчас они могли нас всех перестрелять, если бы догадались подтащить несколько минометов. Очень неудобно было выносить раненых по узким, тесным траншеям. Я видел, как вываливался из носилок и задыхался в агонии солдат в черных от крови бриджах. Раненых нужно было нести километра полтора, а то и больше, ибо санитарные машины никогда не подъезжали близко к фронтовой линии, даже когда к ней вела дорога. Если же санитарные машины приближались к передовой, то фашисты били по ним из пушек, с некоторым, впрочем, основанием, ибо в современной войне никто не подумает дважды, прежде чем использовать санитарные машины для подвозки боеприпасов.

(Продолжение в следующем номере)

## Борис Слуцкий

(1919-1986)

### ЧТО ОТ НАС ОСТАНЕТСЯ? ДОМА...

*Стих Бориса Слуцкого — думающий. Говоря это, я имею в виду совсем не тот случай, когда умный человек зарифмовывает, облакает в поэтическую форму результаты своих серьезных размышлений и читателю предлагается политический, публицистический или философский стихотворный трактат, а то и фельетон (в зависимости от характера этого умного человека или от характера его дарования). Нет, стихи Слуцкого — это прежде всего стихи, поэзия, в создании которой принимает участие вся человеческая натура: и ум, и душа, и сердце. Каждое стихотворение — малый или большой взрыв этой природы, при котором происходит одновременное зарождение как мысли, так и первой строки, и дальше стих, цепляя слово за слово, пестует и растит эту мысль до полного созревания. В этом участвует и гневное или умиленное сердце, и страдающая душа, и старающийся сохранить холодное спокойствие ум, и сопрягающий их дар, талант или гений. А мы, водя глазами по строчкам, присутствуем при этом процессе, видим, как мысль восстает, словно Афродита из морской пены.*

*Умная поэзия и думающая поэзия — разные, совсем разные вещи. Почти все, что написано Борисом Слуцким, позволяет увидеть и понять эту разницу. В том числе и те стихотворения, которые впервые выходят к читателю на страницах журнала "Согласие".*

\* \* \*

Что от нас останется? Дома.  
Новая Россия, шлакоблочная.  
Мы не знаем даже — прочная?  
Прочная, наверное.

Хватит лет на двести пятьдесят  
этих неуклюжих, черных, мрачных  
с комплексом молочных, прачечных  
и сапожных мастерских.

Надо написать великий том,  
сочинить стихи такого качества,  
чтоб забить архитектуру начисто,  
чтобы оценили нас потом  
за литературу, а не за  
пошлую архитектуру,  
до сих пор слезящую глаза  
каменную макулатуру.

\* \* \*

Писали по-сверхчеловечьи,  
а жили левача, ловча,  
истаивали, как свечи,  
но, в общем, смердела свеча.  
По-ангельски, по-демонски  
жили, не по-людски.  
И кончилось это демаски-  
ровкой и на куски  
разъятием, распадением  
под чьей-то сильной рукой.  
И что представлялось гением,  
оказалось трухой.



\* \* \*

Поэты лезут в чужие дела,  
а то, что традиция им отдала:  
луну и волну, соловья и розу —  
отходит в физику моря и прозу.  
Земля из-под ног у поэта уходит.

С такою проворностью это отходит.  
И вот заменил фельетон политический,  
кусачий, визгучий, лихой фельетон,  
что мотоциклеткою в уши тычется,  
былой эстетический фазтон.

\* \* \*

Времена не те, не те, не те,  
а какие времена — неясно.  
Вглядываться, видимо, напрасно.  
Не рассмотришь в темноте.

Можно стрелку на часах крутить  
и назад. Не очень долго — можно.  
Можно и обратно воротить  
правду, чтобы выглядела ложно.

Как возьмутся, как пойдет впоследствии,  
как нажмут и как потом дожмут.  
Подбирать же комплименты лестные  
времени — напрасный труд.

\* \* \*

Стыдились своих же отцов  
и брезговали родословной.  
Стыдились, в конце концов,  
истины самой дословной.

Был столь высок идеал,  
который оказывал милость,  
который их одевал,  
которым они кормились,

что робкая ласка семьи  
и ближних заботы большие  
отгалкивали. Свои  
для них были только чужие.

От ветки родимой давно  
дубовый листок оторвался.

Сверх этого было дано,  
чтоб он облагел и зарвался.

И в рухнувший домик отца  
вошел блудный сын господином,  
раскрывшимся до конца  
и блудным и сукиным сыном.

Захлопнуть бы эту тетрадь  
и, если б бумага взрывалась,  
то поскорее взорвать,  
чтоб не оставалась и малость.

Да, в ней поучение есть,  
в истории этой нахальной  
и надо с улыбкой печальной  
прочесть ее и перечесть.

\* \* \*

Вспоминаю года, что давно отбурлили.  
В книгу Васи Субботина я загляну.  
Там солдаты, взявшие рейхстаг — в Берлине  
отдыхают неделю, пока мы кончаем войну.

Находили вино и консервы в разбитых квартирах,  
выбирали покинутые отели,  
спали, сколько хотели,  
просыпались и снова засыпали опять.

По три раза на дню с прибауткой менялись часами.  
По три раза в неделю от безделья ходили в кино.  
В голове же вертелось: мы сами, мы сами  
здесь закончили то, что германец здесь начал давно.

Дело сделано. Дело. Большое, хорошее дело  
для себя, для Отечества, для всей планеты Земли.  
Так поставим пластинку, печальную, чтобы душу задело.  
Завели патефон? Завели.

\* \* \*

Со страхом и упреком,  
с упреком и со страхом  
советовался с Роком,  
но оставался прахом.

Он вызывал рыдания,  
заслуживая хохот,  
и перейдет в преданье,  
как неудачный опыт,

В картофельные склады  
преобразуя храмы,  
он получал зарплату  
и счеты вел на граммы.

как школьная задача  
простейшего решения  
и как стрельба на даче  
в знак предостереженья.

\* \* \*

При карточной системе не выдумаешь  
периодическую систему,  
и солнечная система темнее  
при той же карточной системе,  
и система Станиславского  
не срабатывает при систематически  
пустом и холодном желудке.

Карточная система — от бедности.  
Восхищаются ею — от глупости.  
Но когда она отменяется,  
очень многое изменяется  
и даже принцип систематики  
кажется более обоснованным.

\* \* \*

Бывалые люди морочат голову  
своим не слишком точным былым.  
Они уходят от факта голого  
в сторону баек, басен, былин.

в золото, во серебро оправленная,  
в то, чем сегодня богата душа.

Бывалые люди редко лгут,  
но деформируют факт нередко.  
Повествование — черный труд —  
красит расцветка. Или подсветка.

Так на дому по воле рока  
изобретают они барокко,  
от которого очень легко  
докатиться до рококо.

Истина им скучна направленная,  
она трогательно хороша

Действительность и скучна и трехмерна,  
но конь вдохновения в выси взмыл  
и — перестановка, и — перемена,  
и — вымысел преобразует смысл.

\* \* \*

Подумаем. Присядем — и подумаем.  
Запросим факты.  
Справки наведем.  
Подумаем и что-нибудь придумаем,  
до завершенья дело доведем.

Подумать — это право никогда  
не отбиралось.  
Думать было можно  
свободно, сильно, правильно и мощно.  
А если думать можно — не беда.

\* \* \*

Крепко свито, скручено крепко,  
расплести — никому не дано.  
Как же вытащить эту репку,  
в землю вросшую так давно?

Крепко сшито, скроено ладно,  
перекраивать так накладно,  
что никто и не возьмется,  
да и руки короткие.

Постепенно ледком возьмется  
взбаламученность этой реки.

\* \* \*

Политическая трескотня  
не доходит до меня.  
Ровный шум, как будто бы машины  
по шоссе спешат.  
Ровный шорох, словно бы мышинный,  
словно мыши волокут мышат.

Ровный треск,  
тусклый блеск  
трескотни политической  
производит эффект, скорее, шутейный.  
Слов, наверно, многие тысячи,  
дел малые тысячные, наверно.

\* \* \*

Заемный блеск слепит заемный блеск.  
Сенсация с сенсацией воркует.  
Она воскурит. После ей воскурят.  
Как волны, трутся. Неприятный плеск.

Звезда с звездой говорит. О чем?  
Об ихних звездных взлетах и паденьях.

Сенсация твердит об убежденьях,  
блестящих, словно терли кирпичом.

А лучшее из русских слово "свет"  
употребляют для обозначенья  
всех получивших чин и назначенья,  
хотя в них свету никакого нет.

\* \* \*

Не Рим, не Рим, а Вавилон,  
Несомый вдаль железным ветром,  
Где верят ведьме с помелом,  
А не богам Олимпа светлым.

Рим был суров, но справедлив,  
Он бурей был, а зверем — не был,  
Богами небо населив,  
Людьми не жертвовал он небу.

## ВРЕМЯ ИЛИ ПРОСТРАНСТВО

Время вышло греться на солнышке,  
кутаться потеплее в пальто,  
прижиматься опенком к пенушку  
и не претендовать ни на что.

Нет, не время нынче для времени!  
Темп такой — все часы враздрызг,  
и в каком-то ином измерении  
совершаются бег и риск.

Да, пространство одолевает  
тихий ход: от зари до зари —  
и морально устаревают  
нераспроданные календари.

На географа, на космографа  
увеличивается спрос,  
а пристроить историографа —  
это нынче большой вопрос.

*Вступительная заметка и публикация Юрия Болдырева*

---

---

## Иван Шмелев

# СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

Эпопея

### УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу... Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных — с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит — я чувю это щемящей болью, — что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни. Уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насыщенный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огородке помидоры — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить "кутюки" эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петьель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела — только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вче-

ра доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый "кальвиль" — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит "кальвиль" на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье — милое мое прошлое, изодранное по щазам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготавливать к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое всплывает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло — можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запахает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настрапают "кубиков" для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в зашуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок — груш, понизу виноградника, залиты алым гляncем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, повешали на себя тяжелые бусы-грушки — "мари-луиз".

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кафель, крепость над виноградниками, греющимися надалеко славой. Там и золотистый "сотерн" — светлая кровь горы, и густое "бордо", пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кафель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все — в садах, в виног-

радниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. С ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Каstellью, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забвения. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная издали. Время придет — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскочет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую "буздурхан", все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливают, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие укусузные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна, — и ее захватил павлин.

## ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь — ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Так и павлин — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы — соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:

— Не дашь?..

— Не дам. Видишь — ничего нету, Павка.

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распушит:

— Не дашь?!..

Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повернется-потанцует:

— Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...

И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит-позовет по балкам — пава, может, откликнется! Глядишь — уж

опять бродит у своей одинокой дачки. А то придется за горку, в Тихую Пристань, к Прибыткам: там дети — чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

— ... Э-оу-аааа!.. — пустынным криком кричит павлин.

Жалуетесь? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день — в работе. Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво голову — черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что "буздурхан" обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит — приглядывается к утру... И — молнией падает в виноградник.

— Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно:

— ...Э-оу-аааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине — все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклеывает дикий чеснок, лук гадючий, — от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит — пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добила: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклонуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни!?! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малышки. Ну, веди их т у д а ... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала "пшеничную" котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к



кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину — и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! пить! Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такою! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но — вымахнет хвостом из пшеницы и падется грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

— Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

— Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу — в такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

— А ты их сеиль?!.. Последни зерно из глоти вирьвал! Тебе нада голову шибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам — вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли — и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей — они хорошились от людей где-то — голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось — и котловина затихла.

## ПУСТЫНЯ

А что Тамарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громяют ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

— Ку-ддаа?!..

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагреня носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

— На-ззад!..

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это!? Это убивает мысли.

Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький, скромный, ти-

хий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревьям миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изьяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины — надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками. Рассыпать мысли.

Бурей задрало железо — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, — выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу — беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешинной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стекляшками смеется! Ласковы-кротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — "Свете Тихий"...

Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе — и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

— Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце...

Обманчиво-хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повыврал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря,глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу гайную их улыбку — улыбку камня.

Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человежье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями.

Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

— Ступай же... негу!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колючка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри — и так, и этак.

Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев — всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшиеся татары:

— Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрылял, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо — Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, — земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения... Одна голубая парча — на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито — все. Иссякло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится — засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она — синь-бель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах — груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок — утехой женщин; ни итальяшек с "обомаршэ"<sup>1</sup>, ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих "с веселым лицом" у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих — "мерсис"! И уральские камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с "Ялтой" — китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей "диагонали", с нафабранными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеклом за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра — звоном бахчисарайским, — щеголеватомыгко несущихся мимо просыпающихся утренних вили в глициниях и мимо-

<sup>1</sup> Название французского магазина

зах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящеюся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкокожильных, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле — у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях — к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? кому купаться?.. Все — иссякло. В землю ушло — или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на бережной дороге — ковыляет босая, замызганная баба с драной травяной сумкой, — пустая бутылка да три картошки, — с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

— А ска-зывали — все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин, — гонит с вьючком дровишек, — угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

— Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухростой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины — без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха — пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами — вино ли, кровь ли... И этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой, глядит-пялит заспанными глазами... — чего такое?.. Приметит — стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

— А-а, едренать...

Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает мордочку и мычит, протяжно — на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли — от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера — все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать — и суп будет. Хорошо чесноку добавить — дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо — обманывать единственное живое, что нам осталось, — птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, слышав обманное звяканье жестяной кружки — не зерно ли?!, — разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

## В ВИНОГРАДНОЙ БАЛКЕ

Виноградная балка... Овраг? яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы — золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно — море. И — виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители: они укрывают от пустыни. "Натюрморты" на них живут — яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: посла цветы "мохнатая оленка". Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тыгчинки. Я выбирал их, спящих — они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только — лозы... рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, — прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один — тенистый, солнцем еще не взятый; другой — золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад — синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве — синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

— Э-оу-а-ааа...

Нельзя не думать: настезь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах — кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

— Хле-а-ба-ааа... са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу... са-а-мый-са-ааа....

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

— Ах, Воводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, "нянькины дети": Ляля и Вова. Живут на тычке — бьются.

— Са-а-мый-с-а-ааа...

— Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

— Хочу са-а-ла-ааа...

— Ну, что ты из меня ду-шу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

— А-а... сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!... Ухи тебе насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: наса-лить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке, и — о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она.. в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, шупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль! Боится, что отнимут у ней какой-то коврик... Каждую ночь дрожит — вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чуть какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, — у Мопассана было... — и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?!.. гремит и сейчас: в огнях?! и люди весело и свободно ходят по улицам?!.. Париж... — а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали "человечьи бойни"! На каком это свете деется? Париж... — а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города — великих! Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных — в смокингх и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человеческих — пирам веселье, человечесьи кости — игрокам на счастье, портфели из "русской" кожи — работы северных мастеров, "русский" волос — на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святых угодников — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечесьей крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там — с ..."правами человека"? В Великих Книгах — все ли страницы целы?..

О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, прозрачный город сказки. Нездешним, как мои сны — нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его — нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

— Хле-э-ба-аааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!.

— Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!...

Кончится! Она только еще подходит. Вон — Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это — солнце обманывает, блеском, — еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, "бархатный" сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянет ливни — тогда...

А теперь... — яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится "чауш", розовая "шасла", "мускат" душистый... как смородина черная — "мускат" черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин — день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... — как это давно было! — у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

## ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.

Хлеб насущный!

— С добрым утром!

А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом — восьмилетка, косит глазом. На ней — единственная ее — белая кофточка и красная юбка, с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют — русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули — и поймали:

— Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера целых три прокатило! Это зеленых ловят...

— Все-то знаешь! А кто такие эти — зеленые?

— А которые не сдаются... в лесах по горам хоронятся... я знаю.

Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно: катит автомобиль невидный.

Перескочили на виноградник:

— Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял... А у вас сегодня Тамарка миндаль сжевала!..

— Значит, миндальное молоко будет.

Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются — выискивают дали. И глаза светло-синие, как дали.

— У Минца... корову вчера угнали... — говорит Ляля робко.

— Слыхал. А Безрукий рыженькую собачку съел?

— Какая к вам-то все прибежала, хвостик букетиком. Поляк... что ему! Они все есть могут. Он и кошку у него заманил! Ей-богу! — спешит сообщить Ляля. — У него клетка есть, с такой гирькой... на ночь привесит конятинки — хлоп! Слесарь... Мне, говорит, теперь наплевать на голод, кошками промудрую. А что, вкусные кошки?

— Ничего будто. А ты как... ела сегодня?

— Ели... — нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.

— Та-ак... Значит, ели... Верно?

— Вот придет няня... — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. — Давайте я понесу... Листу-то ско-олька-а!

Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.

— А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят что опять...

Она говорит, как взрослая — всегда серьезна. Пытливая у ней голова: все знает, что делается в округе, в городке, у моря.

— Еще что скажешь?

Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист.

— Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила!.. — косит Ляля на меня глазом, — не поговорю ли с ней об индюшке, — но я молчу. Поинтересней надо? — А у Вербы-то какое горе!

— А что такое?

Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:

— А как же... этой ночью у них гуся украли!

— Да ну-у?

— Украли, как же... и голоску не подал. Да гляньте воньте... только один гусь гуляет!..

От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит.

— Ох, некому больше, как дядя Андрей... — шепотком говорит она и глядит через балку: за пустырем павлиньим — не видная за горбом Тихая Пристань. — Уж такой-то вредный му-жик! Некому, как ему. Слышим ночью — уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть! А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то по ночам, от Бабугана... Так-то шкварочками... да сальцем... ужас!

Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь:

— А что такое случилось... учительница вчера Вербененка отчитывала? Не слыхала?

— Да как же! — оживляется Ляля и опять подбирает руки. — Идет Прибытка, учительница... из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит, в пинсях... Собаки, — сперва думала... А как пила хрипит! Подошла поближе, глядит... а это вербенята — озорники хо-о-о-рошую грушу пият! Садову грушу. "Бэру"... вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть сквозь гуляй... "Вы что тут делаете?! Разве можно пилить садовое дерево?!" — как заругалась! Они — ти-кат! Ведь не можно садовое дерево? Сколько уходу было... А стра-ху нет. Уж она их начитывала!..



— Вот что, газетка... Вот тебе маленькая лепешка... поделишься с Володей.

Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге:

— Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачем же... не надо. У нас же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

— Ну, зачем это... — у самих мало... Ну, спасибочко вам... Ба-льшое спасибо! ба-а-льшое... — смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис.

Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, — и вдруг, помчится-помчится! Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку — и слышится придушенный голос: "Володя! Володичка!" Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний белоголовый Володя — благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже... Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой, пестро заплатанной рубашке, в штанишках — наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих, белых, — кричит звонко-звонко:

— Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!

Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, не твердо глядят в глаза. Начинают рычать иные.

Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... — пусть до завтра! — это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать!

Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, — хитрый запор голодного времени! — и с гулом сплется на меня онемевшая за ночь птица.

Живы, мои родные! С новым утром!

Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна! зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве: поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка — бутылочка на ножках:

— ...Пуль-фьё... пуль-фьё...

Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь, пленкой затягиваешь глазки... И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха, упомянула оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь! Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо... А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна... Там когда-то и часы лежали... Вот, есть у меня для тебя немного... Ну? Раз, два... десять... двенадцать зерен! Чего же не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут "дяди", которые любят кушать... и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами, отбирать "излишки"! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня "излишки"... Ну, не будем думать.

Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают мохрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сон кошмарный? В плен к дикарям попался?... О н и в с е м о г у т! Не могу осмыслить. Я н и ч е г о н е м о г у , а о н и в с е м о г у т! Все у меня взять могут, посадить в под-

вал могут, убить могут! Уже убили! Не могу осмыслить (или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?!). А для чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот — на одной чашке с ними...

Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, — только она так может:

— Ай-йу-а-ай!...

Дикий, пустынный крик — похожий на крик павлина.

А, налетает ястреб! К осени ястреба лютуют.

Ее крик слышен на версты — и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, — боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все птицы... Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно — и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке вербенята, визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать "излишки" — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.

Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отликает на его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за балку, притаивается в чаще.

Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы — стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, как люди людей боятся, — людей ли? — как тычутся головами в щели, как онемело рюк себе могилы.

Ястребам простится: это ИХ хлеб насущный.

Едим лист и дрожим перед ястребами! Крылатых стервятников пугает голосок Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.

## ЧТО УБИВАТЬ ХОДЯТ

Кто-то верховой едет... кто такой?..

Подымается из-за бугра к нам, на горку... А, мелкозубый этот!.. Музыкант Шура. Как он себя именует — "Шура-Сокол". Какая фамилия-то лихая! А я знаю, что мелкий стервятник это.

Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил Ты стервятника, если Ты сотворил его? Дал ему образ подобия Твоего... И почему он Сокол, когда и не Шура даже?!

Покорный конек возит его по горкам — хрипит, а возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят: трудно возить по горкам. Покорен конек российский: повезет и стервятника — под гору повезет и в гору, хоть на Чатырдаг самый, хоть на вихор Демерджи, пока не сдохнет.

Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев? Моей работы?

Как-то, тоже в горячий полдень, нес я мешок с землею. И вот, когда я плелся по камню, и голова моя была камнем — счастье! — вырос, как из земли, на коньке стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы — беленькие, в черненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями:

— Бог труды любит!

Порой и стервятники говорят о Боге!

Вот почему я кроюсь: я слышу, как от стервятника пахнет кровью.

Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он порозовел, округлился, налился даже, а все тощат, у всех глаза провалились и почернели лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый!

Я давно его знаю, три года. Он прожил на самой высокой даче, которую называли "Чайка". Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники — живут тихо. Спускаются по балкам к морю — купаться. Любуются на горы — как чудесно! Раскланиваются с округой: "Добрый вечер!" И, конечно, исправно платят. Звонкая была "Чайка", молодая дача. И молодые женщины на ней жили — врачи, артистки, — кому необходим летний отдых.

И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивали-пили. Плясали и пели для них артистки. Скушно!

— Подать женщин веселых, поигристей!

Подали себя женщины: врачи, артистки.

— Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!

И вот, когда все, как трава, прибито, раскатывает Шура-Сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи — стervятники приглядывают с верхушек! — многие уже... "высланы на север... в Харьков..." — на том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукою... солью... Что значит-то быть хорошим музыкантом!

Что же теперь... за топливом, по балкам?.. Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены чтобы отвесные... хорошо, никого-ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе Виноградной балки... сидеть и думать... О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только о... Ни о чем нельзя думать, не надо думать! Завтра будет все то же. И дальше — то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро — ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы... Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем... Живут дикари, и ничего, счастливы! Ничего-то не знают, ничему не учены. Счастливые: нечего им лишиться! Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о т о й жизни... которая уже вбита в землю. А новой нету... И не будет. Вернулась давняя жизнь, пещерных предков.

Книги... О них я думаю часто. Войдешь в домик — вон они, в темном углу лежат сиротливой стопкой. Мои "путевые" книги... Смотреть больно. И они уже "высланы" куда-то. И к ним протянулась кровавая лапа.

Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди — зимние дожди с дремуче-черного Бабугана. Покинутые кони по холмам стояли, качались. Белеют теперь их кости. Да, дожди... и в этих дождях приехали туда, в городок, э т и, что убивать ходят... Везде: за горами, под горами, у моря — много было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость посланным, показать, как "железная метла" метет чисто, работает без от-казу. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях.

Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще: убивали и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто-просто: выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну: сделать человечество счастливым. Для этого надо начинать — с чело-вечьих боен.

И вот — убивали, ночью. Днем... спали. О н и спали, а другие, в подвалах, ждали... Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых — с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали.

Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. "Расход" и "Расстрел" — тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно.

В это утро ко мне поступали рано. Не т е ли, что убивать ходят? Нет, пришел человек мирный, хромой архитектор. Он сам боялся. А потому служивал т е м, что убивать ходят...

Вот теперь сижу я на краю Виноградной балки, вглядываюсь в солнечные горы... Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На э т о м ли они свете?!..

И вот я вспоминаю...

— Вот, пришлось и к вам... — смущенно говорит архитектор и не смотрит. — Ужасная погода... высоко живете... Приказали описывать и отбирать книги... Соберут и пошлют куда-то... Конечно, я понимаю...

Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха.

— Под страхом предания... военного трибунала! "вплоть до расстрела"!!!!..

Он смотрит округлившимися, птичьими глазами — а в них ужас.

— Знаю. И швейные машинки, и велосипеды... Но у меня здесь нет библиотеки! У меня только Евангелие и две-три м о и книги!..

— Я уж и не знаю... ну-жно!..

Архитектор, человек искусства... Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить бедняге, и... он доведен до точки!

Я уж и не знаю... Ну, хоть расписку дайте... вопрос неясный... Напишите, что отвечаете за их сохранность...

— За м о и книги?! Я... за свою работу?!..

Мы — сумасшедшие?!.. Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему расписку.

Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг "учтенных". И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, словно и Его я предал.

Дожди тогда были... Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли — покинутые кони. Стояли — ждали. И падали. А по одиночким дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги... А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный!..

Не надо думать. Какое гжучее солнце!

Выше подымается, напекает. По горам жаровая дымка, начинают синеть и мерцать горы. Двигутся, ожидают. Смотрят. И солнце — плавится и играет в море.

Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, рыжие гряды совсем разделись. Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки. Павлин стоит в тени, у своей дачки, — кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя.

А ты что же, маленькая Торпедка, не пошла со всеми?

Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю: она у х о д и т. Я беру ее на руки. Как пушинка! Что же... так лучше. Ну, посмотри на солнце... ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон — горы, синие какие стали! Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое? Это — море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки... Солнце! И в них солнце!.. только совсем другое — холодное и пустое. Это — солнце смерти. Как оловянная пленка — твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты, Торпедка моя, не виновата. Головку клонишь... Счастливая ты, Торпедка, — на добрых руках уходишь! Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто у х о д и т во тьме!.. Ни шепота, ни ласки родной руки... Счастливая ты, Торпедка!..

Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка.

Полдень высокий был. Я взял лопату. Ушел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих, выкопал ямку, положил бережно, с тихим словом — прощай, и быстро засыпал ямку.

Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это нимало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей Торпедке, совсем незнайке! Одно вам брошу: убили вы и мою Торпедку! Не поймете. Курите свои сигары.

## НЯНИНЫ СКАЗКИ

Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы... Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок — темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забиться — и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин — райская птица. Серенькие "волчки", пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки...

Как ни старайся — не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то... Плохо начался день сегодня.

— Добрый день, барин!

Насмешка теперь это слово — барин! У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет — мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охалка чубука и палок, которые она набрала дорогой, — все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы, после тяжелой болезни.

Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: ведь она — от народа, и ее слово — от народа.

— Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня... двенадцать тысяч! да и его-то нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облюте-ли!..

Она пытается меня округлившимися от тревоги глазами, но ... что тут скажешь?

— Иду-гляжу... сидит у Ялы народ, у пустых воев... убиваются — плачут! Чего такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали... все-то все отняли, кто чего в степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел... И на степи-то, сказывают, го-лод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша

валом завалена была, на годы прямо! Титьти какие дела пошли... а! Что уж рыбаки наши... вольный прямо народ... а и те заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждять... на весну ей ловиться, эн когда!..

Шура-Сокол объехал горку, нагледелся на горы-море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску — душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы — выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами.

— Налились-то как... через хлещет! По три кружки одного молока ду-ет! Вот ты и погляди-и... И курочки, и яички, и... И отку-дова что берется! А ты хоть тут подохни!.. Ко-пеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон... Стиркой, бывало, да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь... го-ры! И сала тебе, и барашка, и яички... и красненькие-то, и синенькие, и... А хлеб-то какой был, пу-ух пухом!..

Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то "слова верного". Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, — слова людские.

— Ходила в этих вот... в советских садах работать... — полфунта хлеба! да ка-кого! — одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как, говорит, отпечатаем, тогда... А говори-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детьми полфунта? А по садам кто работает, с полбутылки валютсы... голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки пьяне-ошеньки... Всем, значит, помирать скоро?..

И я говорю ей "слово":

— Что ж, и помирать придется.

Она даже бросает хворост.

— Да ведь о-бидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили — берись теперь! Я про себя не говорю — детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится... А что я вам скажу... — шепотком говорит нянька и все оглядывается, — комиссар вчерась убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слышал. Продовольственный комиссар наш, на машине ехал... хотел с деньгами на родину тикать! Сичас из лесу выходят с ружьями... отчанные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают которые... Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слазь! Жену с детьми не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горячкой полили и зажгли. Сто-рел! Мы, говорят, за народное право, у нас, говорят, до всего досмотр!.. А?!

Она пытается меня жадными глазами, все "верного слова" ждет.

— А сейчас иду по бугорочку, у приставы дачи, лошадь-то зимой пала... гляжу — мальчишки... Чего такое с костями делают? Гляжу... лежат на брюхе, копыто гложут! грызут-урчат. Жуть взяла... чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило — сблевала, простите сказать... да не емши-то... Ну, вот... за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку... а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!

Она машет рукой, забирает палки и уходит — качается, вот-вот споткнется. Не чувствует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы... с кровью! Или чувствует? Я теперь вспоминаю... В ее глазах был тогда неподдельный ужас... Часто говорила она о своем Лене — собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы...

А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, "трудоющим", и будут они жить, как господа жили. Наше будет! Слыхала она "верное слово", как орал матрос на митинге:

— Теперь, товарищи и трудоющие, всех буржуев прикончили мы... которые убегли — в море потопили! И теперь наша советская власть, которая комму-

низм называется! Так что до-жили! И у всех будут даже автонобили, и все будем жить... в ваннах! Так что не жись, а едрена мать. Так что... все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать!..

Ну, вот. Ступай и бери: виноградники, и сады, и дачи, все — бесхозьяное, все — пустое!

— А ведь забыла! — окликает нянька. — Иван Михалыч вам кланяться наказали, зайти хотели! На базаре попался. Вот уж страсти! Не узнала и не узнала... — рваный, грязный, на ногах тряпки наверхены, еле идет с палкой. Гляжу, — старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется — просит... а грек и говорит: "Господин професхор, пожалуйста вам!" В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Ма-гушки! Иван Михалыч! А дача-то какая у них была! Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с голоду помирают, ста-аренские стали. Признали меня и говорят: "Вот, Тимофевна, народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенцию-то мою воробьиный мне паек выписал!" Ведь это как сказал-то! И верно, что вы думаете... дураки-то мы, ничего не разумеем... Какой такой воробьиный? "А по фунту хлеба... на месяц!" Что вы думаете, верно! "Вот и бумажка с печатью всенародной прислана". Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще рублей на месяц, насмех! А хлеб-то нонче... двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. "Над нашей властью смеетесь, старый черт?" И всякими словами! Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься! И всех разогнал. Да еще грозился подва-лом! Какой народ дерзкий... А какая дача-то была-а...

Ушла, наконец. В Глубокую балку уйти? Рубить, рубить... А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявила, на мои руки смотрит... Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку...

Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки.

... Ну, слушай. Жил-был Иван Михалыч, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка... Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка... Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова... Даже и премию ему дали... Была у нас в Питере такая Академия наук... Буржуи, конечно, там всякие сидели, "ученая рухлядь" всякая... Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая "ученая рухлядь" за Ломоносова-то пре-мию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и... золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто... за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван Михайлыч тоже... совсем облегчился, и остались у него только... ничего не осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее по-лено! Чего ты испугалась! Ляля-то кричит... У меня спи спокойно, не дрожи... Да, полено. Очень уж он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот на прошение Ивана Михайлыча —

прислали ему бумагу, пенсию! По три золотника хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха... да уж не спугали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает... да тебе и назначили?.. Ты чего опять? Мало, что ли?! Три-то золотника?!.. Тебе бы, дурашке, гордиться надо... Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.

Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча — остов. Пройдет шага два — и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекасти-поле. Ещё ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю — море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце.

Это — кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки — в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалесь вечно, как возила тощенького старичка покойничка на кладбище, — с тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет — не встанет. Приглядывается к ней Вербина собака, Белка: чует.

Умирающие кони... Я хорошо их помню.

Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие... Ломовые и выездные. Верховые и под запряжку. Молодые и старые. Рослые и "собачки". Лили дожди. А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломались в сады, за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали — не возьмут ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй, возьмите! Под ногами — холодный камень да колючка. Над головой — дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!

Я каждый день видел их на холмах — там и там. Они стояли недвижно, мертвые и — живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря — из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаше кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, — должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и — заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги — сломался. Повел ногами и потянулся...

Если пойти на горку — глядеть на город, увидишь: белеют на солнце кости. Добрый был конь — артиллерийский, рослый.

Лярва подобралась к веранде, где вонючие укусные деревья. Вытянулись деревья — не даются. Так и будет стоять пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку — а пока землю долбит.

Некуда глаза спрятать...

По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.

## ПРО БАБУ-ЯГУ

Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину — там в ливни шумят потоки. Вид отсюда — на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного



пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни — тихий уют на старость. Там — весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и холили милые розы, привитые "собственной рукой". Где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные соиздатели — профессора, доктора, доценты, — сельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие "вы" — камням? кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые "прохождением Венеры через диск солнца", сторонники "витализма и механизма", знатоки порфиринов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели "мировой тайны"? Продумали вы свои дачки и винограднички! Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашли себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки — махом одним сволокли "рай" на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..

Бежали — зрячие. Под землю ушли — слепые. "Читают" что-то за воблу, табак и полфунта соли — уставшие.

Дачки, дачки.. Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, — угнали за горы и... "выслали на Север"... А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила:

— А вот сельдолик, дедя!

— Ну какой это сердолик! Нет, не сердолик это, а... шпат!

— Спать... А какой сельдолик, дедя?

— Такой... прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим...

Вот и поищи сердолика... а вот и бычок-шельмец!

Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой... Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любит, синий дымок пускает.

— Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!

— А... донашиваю, голубчики... казначеем когда-то был...

— Чем занимаешься?

— Бычков ловлю... да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста пенсию получаю... вольный теперь казак.

— С Дону казак? За нами!

И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко рваное, и — в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить... Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!

Некуда глаза спрятать...

Вон, под Кастелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор кастельский, и виноград поспекает раньше — от горячего камня-диорита, и фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..

Вчера ночью пришли туда — рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке: не подымать крику! Только разве Кастель услышит... Последнее забра-

ли: умирайте. А на прощанье ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той горкой...

Поторкивает-трещит по лесистым холмам — катит-мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет! Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу: то наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове... С чего бы это? Кружится голова — вот-вот упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.

Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах — дремучее... Погасает солнце, в глазах темнеет... Ночь какая упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная. Это давние те леса. Их корни везде в земле, я их вырубая мукой. О, какие они дремовые — холодом от них веет лесным подвалом! Грызть-продираться через них надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам — грохот какой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след замечает... помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит-торкает по лесам, метет. Железной метлой метет.

Гудит в моей голове черное слово — "метлой железной"! Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвил?.. "Помести Крым железной метлой"... Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно... Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза.. Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту... Да где же сказка?

Вот она, сказка-явь! Пора, наконец, привыкнуть.

Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее море пало:

"Помести Крым железной метлой! в море!"

Метут.

Катит-валит Баба-Яга по горам, по лесам, по долам — железной метлой метет. Мчит автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?

Это они, я знаю.

Спины у них — широкие, как плита, шеи — бычачьей толщи; глаза желтые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати: спины у них — узкие, рыбы спины, шеи — хрящевый жгут, глазки востренькие, с буравчиком, руки — цапкие, хлесткой жилки, клещами давят...

Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море. Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-Яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след замечает... Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя.

Время придет — прочтется.

## С ВИЗИТОМ

Опять я слышу шаги... А, какой день сегодня!

Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура... Неужели — доктор?!

Он самый, доктор. Чучело-доктор с мешковиной на шее — вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михайла Васильич — по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюжки — но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне — и нищий! Впрочем, что теперь не возможно?!

Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколодила чашку, — тот на самом тычке живет, повыше, — а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор.

— А, доктор!..

— Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко... далеко... не слышно...

— А чего слушать?..

— Мне доводится-таки слушать... матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну, и... приходится слушать всякие по-этические разговоры, эту самую "словесность". Да, язык наш очень богатый, звучный... Как у вас тихо! никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно! Горы да море... да небо...

— Есть и у нас звуки и ... знаки. Прошу, доктор!

Мы садимся над Виноградной балкой — в дневном салоне.

Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое на краю балки? эти чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за шикарная обувь... от Пиронэ, черт возьми! от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в стуле! Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из... кровельного железа!

— Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а все мои "евро-пейские" сапоги и ботинки... тью-тью! Слыхали — все у меня изъ-я-ли, все "излишки"?.. Как у нас раздевать умеют!, ка-ак у-ме-ют!.. что за народ спо-собный!..

Я слышал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паяк из врачебного союза.

— Да, кол-ле-ги... Говорят коллеги, что теперь "жизнь — борьба", а практикой я не занимаюсь! А "нетрудящийся да не ест"! И апостола за бока, на потребу если...

Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам — уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца: был когда-то таким Сергей Преподобный, Серафим Саровский... Встреть у монастырских ворот — подашь семитку.

Доктор немного странный. Говорят про него — чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик, "из лучинок", а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.

— Ведь деньги скоро ничего не будут стоить!

И вот, у него отняли все катушки, все штаны и рубашки — все "излишки". В этом году он похоронил старуху няньку, сумасшедшего сына Федю и жену — недавно.

— Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот, цингой заболела. Последние дни — все равно, думаю, опыт кончен! — купил я ей

на последнее барашка, котлетки сделал... С каким восторгом она котлетку съела! И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.

У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он — у х о д и т. Теперь на всем лежит печать у х о д а. И — не страшно.

— А слышали, какой я ей оригинальный гроб справил? — прищурился-усмехнулся доктор. — Помните, в столовой у нас был такой... угольник? оре-ховый, массивный? Абрикосовое еще варенье стояло... из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было! Четыре банки они этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенья этого не варили, но... они тоже хотят варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрия... Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь по Эйнштейну... Да, о чем это я?.. Вот так па-мять!..

Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу на мысли.

— А, угольник... Наталья Семеновна очень его ценила... приданое ведь ее было! И звали мы его все — "Абрикосовый угольник"! Понимаете вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности... поэзия такая семейная, ей одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает... У нас еще диван был, "Костей" звали... Студент-репетитор на нем спал, Костя. И "Костю" забрали... Забрали у меня, например, портрет отца-генерала... единственное воспоминание! "Генерала забрать!" Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался...

— Так вы про угольник, доктор...

— Да-да... Когда мы еще молодые с ней были... Неужели это было?! Лет тридцать тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, когда зацвел... сон!, розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна помню, сказала как-то: "Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!" А умерла она в грязь и холод в доме ограбленном, оскверненном... Да, со стеклянной дверцей, на ключике... Право, несколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шести-гранник?! Трехгранник и проще, и символично: три — едино! Под бока чурочки подложил, чтобы держался, — и совсем удобно! Купить гроб — не осилишь, а напрокат... — теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться!.. а там выпрастывают... — нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут... вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или еще хуже! А тут с о е, и даже любимым вареньем пахнет!..

И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.

— Хотели бан-даж мой взять! ремни приглянулись... Забыли! А у меня бандаж... по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе... ни... один Грабе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины — и то взяли. "Я, — говорит, — с трудом пошила!" Швырнули одну: "Ты, — говорят, — раба!" Все гармоньки взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонью... Концертные были, с серебряными ладами... Затряслись даже, как увидели... Гармонь! Тут же и перебирать один принялся... польку...

Штаны на докторе — не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в клетках.

— Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный...

Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.

— Это все пустяки, а вот... все градусники у меня отобрали, и максимальные, и... Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы... Реактивы хотели... — думали, что настойки! Схватили бутылку — спирт!! Да наша-тырный! Буржуем обозвали.

— А который теперь час, доктор?

— Де-крет! — пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. — Ча-сы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!

Нет, он не собирается уходить. Он переполнен с в о и м и разбрасывает "излишки".

— Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюль Верна...

Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.

— Помните, у Жюль Верна... Сайрус Смит в "Таинственном острове" или Паганель!.. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда о н и не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце... Сейчас... без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту... А вот в туман или вечернее время... по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без четверти десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было — взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не рассказывал?! Необходимо опубликовать! Это о-чень важно, в предупреждение человечеству! чрезвычайно важно!..

— Ну, расскажите, доктор!

## "МЕМЕНТО МОРИ"

Доктор поглядел на меня с укором.

— Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству... история с моей "луковицей"? Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то... не то чтобы роковое, а "амулетное". Как хотите толкуйте, а я говорю серьезно: во всех этих газетах, которые вот "влияют"... "Таймс" или.. как там... "Чикаго трибюн", "Ган", понятно... — непременно опубликуйте! Я уже не смогу, я без пяти минут новопреставленный раб... не божий, не божий, а... человеческий! и даже не человеческий!.. Да чей же я раб, скажите?! Ну, оставим. А вы... дол-жны опубликовать! Так и опубликуйте: "Мементо мори", или "Луковица" бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила". Это очень удачно будет: "нечеловеческого"! Или лучше: нечеловечьего!

Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно.

— Это случилось лет пятьдесят тому... в тысяча восемьсот... Нет, конечно... ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, "образовательную" поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия! Заманчивая страна свободы, Габеас-Корпус... парламент самый широкий... Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил, ну, конечно, революционная эта фебрис... Ведь без этой "фебрис" вы человек погибший! Да еще в то-то героическое время! Только-только взорвали "Освободителя", блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится со-ци-ализм, с трепетом ждет Европа... температуру-то понимаете?! Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и... "фебрис революционис"! О паспорте правительство попечение имело, а что касается "фебрис"-то этой самой... тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их во-ждей! Чуть было не

сказал — козлов! Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей: "куда козел — туда и стадо"! Разные, конечно, и вожди эти самые бывали... были и такие, что и в России-то никогда не живали... бывали и такие, что... собственную мамашу удавят ради "прямолинейности"-то и "стройности" системы своей-чужой, а ты... дрожи! Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина сто восемьдесят четвертой пробы, и из карманов носовые платки можешь... только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой — и вот тебе авансом билет на свободный вход в царство "высокое и прекрасное". И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадило не без приятного жара! Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучение поколениям "записок интеллигента Т-ва Мануфактур и К°?! Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча!..

Да, Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из теневой канавки, под дачкой, выбралась тощая Белка и огляделась.

— Как в трагедии греческой! — усмехнулся доктор. — Разыгрывается под солнцем. А "герои"-то... за амфитеатром... — обвел он рукою горы. — То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за "хор" сойти. Ибо мы, хоть и "в действии", но прорицать можем. Финал-то нам виден: смерть! Вы согласны?

— Вполне. Все — обреченные.

— До этого дойти надо! Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда... Да, "фебрис" эта... Габеас-Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарibaldi, Гладстоун!.. Странная штука, вы замечаете — все "глаголи"! Тут, обратите внимание, что-то мистическое и как бы символическое! Гла-голи! Конечно, и в Англии я глаголил. И "мощи" заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял. И даже в Гайд-Парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает: непременно хулой колыбельку свою — правда, грязенькую, но все-таки колыбельку — обдашь, грязенькие очки наденешь. И конечно: "Да здравствует Революция — с прописной буквы, понятно, из уважения, — и переат полицеа!" И вот, пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей... Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне — Ната и Нэлли, на английский манер. А теперь... на ключике в угольничке абрикосовом!.. Да так и предстанет перед Судиею на Страшный суд! — скрипуче засмеялся доктор. — Вострубит Архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу: "Эй, вставайте, все умерщвленные, на инспекторский смотр!" И восстанут — кто с чем. Из морских глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землею ртами, с вывернутыми руками... из подвалов даже — с пробитыми черепами предстанут на суд и подадут обвинение! А моя-то Наталья Семеновна — на клю-чик! Да ведь хохот-то какой, грохот подыметесь! водевиль! И еще... ах-ха-ха-а!.. с... с абри... косовым... вареньем... в мешковине... из-под картошки в мешочек обряжена!.. ведь все, все забрали у нее, все рубашечки... все платья... для женского пола своего... все "излишки"! ведь в ее-то платьях... шелковое зеленое ее помню... Настюшка Баранчик с базара, из "татарской ямки", потом выщегаливала!.. Вот бенефис-то будет! Архангелы-то рты разинут! Сам Господь Саваоф...

Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши:

— Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!..

Белка скакнула через Лярву и уюркнула за дачку. Павлин стоял в головах Лярвы, тряс радужным хвостом-опахалом и топтался.

— Глядите, он ее провожает! — воскликнул доктор. — Вот так апофеоз! Ну, как же не из трагедии?! — Он потер лоб и сморщился. — Как сон какой-то... И что за память дырявая! Сегодня я забыл — "Отче наш"! Три часа вспоми-

нал — не мог! Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом... А теперь... Да о чем же я говорил-то?..

— Пришли покупать часы, доктор...

— Да, часы... Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязый и мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах... и погода была, как раз для самоубийства: дождишко скверненько так сочился через желтый, гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем — и в полдень! И вдобавок еще липко воняло морской этой слизью рыбьей... Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий эмигрантик русский дорогу нам указал, все кашлял и плевал кровью. Местечко такое... из Диккенса. А в темных лавках, за зелеными шторками с бахромой, все антиквары, антиквары в норах своих, как пауки, в пыли, в паутине, серые, таинственные... пауки глупин жизни... шевелятся там со старьем со всяким, в губу нашептывают... Чего-то там нет только! И все — отшедшее. Секстаны ржавые, пиратские шпаги от флибустьеров и буконьеров, "боги" всякие с островов малайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человечьих костей печатки царьков диких, скальпы там, амулеты... — пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И "пауки" эти точно отбор в них делают, подчищают: кому еще, пожалуй, и пригодится!

— Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели...

Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Это и есть про часы! Я еще немного соображаю, потому и... про обстановку. Из каких "пеленок"-то я эти часы принял! Вы то возьмите, что все эти лавчонки на чем стоят? чуланчики эти человеческие?! На грабеже и хищении! на слезе, на крови чьей-то, на основном, что в недрах всей "культуры" человечьей лежит: на том, чтобы загадить и растрясти! Ну, что там лавчонки!.. это уж самый последний сорт, на манер лукошка, куда кухарка птичьи кровавые перья сует, себе на подушку... А вы "ма-га-зи-ны"-то обследуйте! где золото и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и ду-ши, ду-ши опустошенные, человеческие, глаза, истаявшие слезами!.. Ведь всякое "потрясение"-то, на высокополитическом блюде поданное, с речами, со слезой братской, бескорыстной и с "дрожью" этой самой восторженной, в подоплеке-то самой сокровенной, непременно в корешках своих на питательное доньшко упирается, на кулебячку будущую... и всегда обязательно кой для кого "кулебячки" этой и достигает! Ну, после нашего-то "потрясения" сколько лукошек-то этих с курячьими перьями создадут! А "магазины", небось, по всему свету пооткрывались...

Что такое поторкивает-трещит... к морю?.. А, это моторный катер, а может, и "истребитель". Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас; бежит за ним, крутится пенный хвост, на две косы сечется.

— Слышите?.. — шепчет доктор и зажимает уши. — "Истребитель"... За ними это...

— За кем, доктор?..

— Что по амнистии с гор спустились. Не слышали? Теперь их заберут "для амнистии". Что, трещит?.. Не могу выносить... устал.

Я вижу, как "истребитель" под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро, недавно спустившихся с гор, непокорных "зеленых" слышат в своем подвале, что пришел "истребитель"... пришел за ними.

— Теперь не трещит, доктор.

— Завтра, а может и нынче ночью... — значительно говорит доктор, — их "израсходуют"... а их сапоги и френчи, и часики... поступят в круговорот жизни.

Их возьмут ночью... Молодую женщину показывали мне сегодня, там ее муж или жених. Теперь и она слышит... Она, представьте, на что-то надеется!

— На пощаду?..

— На что-то надеется... — шепчет доктор. — Что-то может случиться. Поживем до завтра.

— Так вы про часы хотели...

— А, да... Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы: попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести, от какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана... Страсть к экзотическому у меня с детства осталась, от капитана Марриэтта, от Жюль Верна... От какого-нибудь старинного капитана, "морского волка"... выменял он, глядишь, у какого-нибудь царька людоедов, а к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского, которого выкинуло с погибшего корабля... Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Ну, попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский тысячу голов отрубил... за тысячи фунтов купят, найдутся люди! И всякому лестно иметь у себя на стенке, в кабинете, поразить гостя или девицу прекрасную: "А это вот, скажет, — даже с равнодушием в голосе, — меч, которым и т.д..." Эффект-то какой необыкновенный! Какую карьеру можно сделать! Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши, русские-то, вещички где, может, гуляют, по каким интернациональным карманам проживают!..

— Вот и забрели мы в одну такую лавчонку. Эмигрантик тот рекомендовал, за пару шиллингов. И пошептал знаменательно: "Революционер, ирландец, но виду не подавайте, что знаете". За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще шиллинг добавил! Зашли. Вонь, представить себе не можете! Треской тухлой, креветками, что ли... разлагающейся кровью, такой характерный запах. Ху-же, чем в анатомическом! Хозяин... — как сейчас его вижу. Коренастая обезьяна, зеленоглазая, красно-рыжая, на кистях шишки синие выперло, и они в рыжих волосах, косицами даже. Горилла и горилла. Ротнице губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и нос... такой-то хрящ, сине-красный! А на голове низколобой тоже шерсть красно-рыжая, ключьями. Как поглядел на него, так и подумал: если все такие революционеры ирландские, дело будет! Самый настоящий "гом-руль"! На конторке у него, смотрю, бутылка с "уиски" и осьминог соленый, небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнет ножичком двусторонним, в волосатой рукоятке с копытцем — может и от готтентота какого, — посолит красной пылью кайенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп, из горлышка прямо.

"А-а, русский! Гуд-дэй! Эмигрант? революционер? Да здравствует республика! — а сам смеется, осьминога нажевывает. Ну, конечно, поговорили... и о порядках наших, и про убийство царя-освободителя... А веки у него были вывернуты, и в них кайен и виски.

"Поздравляю, — говорит, — вас с подвигом! Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится! Способный и великодушный, — говорит, — вы народ, и желаю вам еще такого прогресса. Из-из-вэри-уэлл!"

Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на глазах у меня, у дурачка русского. Дрожал даже от "чувства народной гордости"! Сказал, помню:

"У нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать, такие люди специальные отбираются, террористы, "люди ужаса беспощадного"! как у себя этот корень-хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом!!!"



Очень это обезьяне понравилось. Зубищи-клыки выставил, кожу спруту сплюнул и смеется: "Русский экспорт, самый лучший! Ит-ис-вэри-уэлл!" И опять друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится! Альянс-то какой культурный, как именинники! Виски угостил и кусок копченого спрута-осьминога подал на китайской тарелке с золоченным драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой пир антикварно-сакраментальный был... И облюбował я у него часы-луковицу. Черного золота часы, с зеленью. Говорит: "Обратите внимание, это не простые часы, а самого Гладстоуна! Его лакей продал мне от него подарок. И стоят двадцать пять фунтов!"

Действительно, вырезано под крышкой: "Гладстоун" и замок на горе. А может быть, и сам, мошенник, вырезал. Ирландец был разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрящи эти мне претили, а по разговору и по тому, что он "ирландец", так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знал, что мошенник, а вот... "фебрис"-то эта самая! И что же сказал! "Возьмите, за полвека ручаюсь!"

Но главное-то не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул! И послушайте, что же сказал! Обратите внимание!: "Берите за двадцать два, потому что вы русский, и... за вами не пропадет! Своей доблестью... все вернет е! Еще фунт скину! Политико й...!... отдадите! И вот — вспомните мое слово! — эти часы до-хо-дят, когда у вас, в вашей России в е-л-и-к-а-я-р-е-в-о-л-ю-ц-и-я-б-у-д-е-т!"

Помню, сказал я ему: "Дай-то, Бог!" — "До-хо-дят!" — говорит. И вот — "до-хо-ди-ли"! И вот — отобрал их у меня тоже... ры-жий! и тоже... с хрящеватым носом, да-с! Товарищ Крепс! Студент бывший!! Сам и аттестовался: бывший студент, и даже... — стишками баловался! Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусники не отнимали! И знаете, куда эти часы попали?! Не угадаете.

— В музей... "Истории Ре-во-люции"?

— Хуже! В... жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса! Да-с! И это так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами — б ы в ш е русские интеллигенты, и все вокруг — только б ы в ш е е! В Ялте его на днях видали: носит себе и показывает — "Гладстоун"! Получил ордер на двадцать ведер вина из пролетарских подвалов, в вознаграждение себе, да только увезти не может, лошадей нет. Можете у татар проверить, из общественного подвала! За хлопоты-с! за — "Гладстоун"-с! Да ведь этот — младенец! Ему бы часики и винца, с девочками гулянуть. А то... Ну, думал ли когда Великий Гладстоун, что его "луковица"! Мистическое нечто... А его папаша — не Гладстоуна, конечно, — или дядя, или, быть может, брат там... — размахнулся доктор за горы, — оп-тик! и часиками торгует!.. Отлично я такой магазинчик помню на Екатерининской, а может быть и Пушкинской — тоже хорошо! — улице, фамилия врезалась, траурная такая фамилия — Крепс! Уж не ирландская ли фамилия?! Может быть даже — Краб-с! Глубин, так сказать, морских фамилия! И вот, часики мои попадут, быть может, в эту "оптическую лавочку"?! А что?! Очень и очень вероятно! И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр доктор Микстоун, скажем, приедет в страну нашу, "свободную из свободных", и гражданин Крепс, с хрящеватым носом и тоже ры-жий, продаст ему эти часы "с уступочкой", и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну отсталую и рабовладельческую, и они до-хо-дят до "великой революции" в Англии?! А какой-нибудь уже ихний сэр Крепс опять отберет назад?!.. И так далее, и так далее... в круговороте вселенной!

Доктор немного "тово", конечно... Сидит на краю балки, глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет

тленьем, он скоро уйдет, и тяжело его слушать... — но он и не собирается уходить.

Индюшка привела курочек, стоит-ждет.

— Ого, — говорит доктор, захватывая покорную индюшку, — препарат для орнитологического кабинета. — Два фунта! Ну, стойте. Мы теперь все на одной ступеньке, и почему бы не одолжить и вам!? И дети, и вы, и мы... скоро — тью-тью!

Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в кучку, а индюшка, "мать", наблюдает стойко. Когда горошина падает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет.

— Учитесь... вы! вы!! — кричит в пустоту доктор. — А я у вас засиделся... Но... надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза, поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось... Подсчитываю итоги своего о-пыта! И знаете, к чему я пришел?

— К чему вы пришли, доктор? Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого значения...

— Да, конечно. "Нос гаебит гумус"! Но... исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить...

— Говорите, доктор.

— Если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь... И озаглавлю так:

## "САДЫ МИНДАЛЬНЫЕ"

Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от Чатырдага... Прошло лет сорок. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе, и теперь не смеются. То есть теперь... ну, теперь скоро и некому будет смеяться... Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем — итоги интеллигенции. Теперь будут начинать сызнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих садах... светлых и чистых... Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе, но были миндальные сады, каждую весну цвели, давали радость. А теперь у меня — "сады миндальные", в кавычках, — итоги и опыт жизни!..

Я привык по часам ложиться, а теперь... как я могу без четверти десять? И потому бессонница. И память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается "Отче наш"... Вы представьте только, что все, все забудут, как читается "Отче наш"?! Помойка ведь надвигается. И уходит из этой помойки — в ничто!! Досадно. Досадно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить! Ибо, как после такой помойки поверишь, что там есть что-то?! И "там" обанкротилось! Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот, и рык победное воскресение из животного праха в "жизнь вечно-высокочеловеческую", к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, — это значит уже не провалиться, а вовсе не быть! Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру, и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то не к кому! И суда-то не будет, да и не было его никогда! И это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет разлюли-гармонь. Сорвали завесу с "тайны"! Дрессировщики-то, водители-то пусть даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести, а теперь хулиган пришел и сорвал... до срока сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь в школу-то не заманишь. "Отче-то наш" и забыли. И учиться не будут. С

привода сорвалось — качай! Кончилась славная поэма. А знаете... — у меня весь миндаль оборвали! Миндальные мои сады рубят... а вот зимой и все доведут до точки... У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль, пудов восемь оборвали. А было бы на всю зиму.

— Значит, еще хотите жить, доктор?

— Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие: голодом можно весь свет покоить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются там — показал он за горы, перекувыркнув ладонь, — "Психические последствия голодания". Талантливый профессор читает. Сам голодает и — читает. И голодная аудитория набивается до предела! Всем занятно! Ги-по-тезы создаются! Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый, необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный! Как если бы подвальным смертникам профессор, и он же смертник, о психологии казнимых читать взялся! Науку-то как обогащаем! Да, "Психология казнимых: лабораторное и клиническое исследование на основании изучения свыше миллиона, может быть, свыше двух миллионов, казненных, с применением разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и уровней умственного развития!" Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта! Лабораторного материала — горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция... Но тогда научной постановки не было. И потом, там как никак, а судили. А тут... — никто не знает, за что! Но каждый в подвале знает, знает! — что вот, еще день или два дня будет слабнуть — ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то, крымских подвалах и по четверке хлеба соломенного не давали, а так... теплую воду ставили — для успокоения нервов?! может быть, и хитрый профессор присоветовал, для опыта?! — так вот, каждый в подвале знает, что вот в эту или в ту ночь начнет истлевать. Где только? В яме ли тут, в овраге, или в море? И судей своих не видал, нет судей! А потащут неумолимо, и — трах! Я даже высчитал: только в одном Крыму, за какие-нибудь три месяца! — человеческого мяса, расстрелянного без суда, без суда! — восемь тысяч вагонов, девять тысяч вагонов! Поездов триста! Десять тысяч тонн свежего человеческого мяса, мо-ло-до-го мяса! Сто двадцать тысяч голов! человекских!! У меня и количество крови высчитано, на ведра если... сейчас, в книжечке у меня... вот... альбуминный завод бы можно... для экспорта в Европу, если торговля наладится... хотя бы с Англией, например... Вот, считайте...

— Пойдите, доктор... Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи...

— А-а!... мухи! И у вас мухи? Так это же анемия выражается в зрении... Если разрезать глазное яблоко голодающего животного...

— Чем вы теперь занимаетесь, доктор?..

— Думаю. Все думаю: сколько же материала! И какой вклад в историю... социализма! Странная вещь: теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для жизни не сделали, ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах всегда только и заботы, что о всечеловеческом счастье, а какая кровавенькая секта! И заметьте: только что начинается, во вкус входит! с земным-то богом! Главное — успокоили человек: от обезьяны — и получай мандат! Всякая вошь дерзай смело и безоглядно. Вот оно, Великое Воскресение... виши! Нет, какова "кривая"-то!? победная-то кривая!? От обезьяны, от крови, от помойки — к высотам, к Богу-Духу... и пропикновению космоса чудеснейшим Смыслом и Богом-Слово, и... нисхождение, как с горы на салазках, ко виши, кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей! И кому сие новое Евангелие-то с

комментариями преподнесли, карт-бляш выдали, и к т о?! Помните, у Чехова, в "Свадьбе", телеграфист-то Ять, "Ять"-то эта самая, как рассуждает про электричество и про... какие-то два рубля и жилетку? Вот теперь эти самые "яти" и получили свое Евангелие и "хочут свою образованность показать". И от кого получили? От тех же "ятей!" И вот показывают "образованность". Поэтому-то на эту подлюгу "ять" и поход. Прообраз, конечно, я, разумею. Стереть ее, окаянную! м е ш а е т! исконную, с л а - в я н - с к у ю! Всем вошам теперь раздолье, всем — мир целокупно предоставлен: дерзай! Никакой ответственности и ничего не страшно! На Волге десятки миллионов с голодудохнут и трупы пожирают? Не страшно. Впилась вошь в загривок, сосет-питается — разве ей чего страшно?! И все народы, как юный студентик на демонстрации, взирают с любопытством, что из "вшивого" великого дела выйдет. Такой-то опыт — и прерывать! Ведь полтора миллиона прививают к социализму! И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось — выплеснуть. Сеченов, бывало, покойник: "Лука, — кричит, — дай-ка свеженькую лягушечку!" Два миллиончика "лягушечек" искромсали: и груди вырезали, и на плечи "звездочки" сажали, и над ретирадами затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали, и... — махнул доктор, вот это — О-пыт! А зрители ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал! "Мы, — говорит, — всегда с людоедами торговали!" А почтенные господа коммюнеры, мандата на "вшивость" для себя еще не привыщие, но в душе близкие и к сему, если от сего польза видится, — мудрое слово Джорджево положили на сердце свое и... А-а, не все ли равно теперь! О миллиончике человеческих голов еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для о п ы т а выпишут дерзатели из кладовой человечей, а вот ошибся на бухгалтерии: за два миллиона пересегнули — и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Вот это — о п ы т! Дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровавыми глазами узревшей! И вот...

Доктор развел руками. Да: и вот! Смотрит на нас калека-дача на пустыре, с дохлой клячей под сенью вонючих "уксусных" деревьев. Глядит-нюхает из-за уголка тощая Белка, ждет. Идет за пустырем дядя Андрей в новом парусиновом костюме — ободрал недавно на дачке Тихая Пристань складные кресла полковничьи и теперь разгуливает без дела, высматривает новую "работу".

— И все это вымрет... — тоном пророка говорит доктор. — И о н и уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится... и Андрей Кривой с машковцевых виноградников... Они уже все обработали, а не чувт... Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача... Когда наступит зима... увидите результаты. О п ы т и их захватит. Вчера умер от голода тихий работающий маляр... когда-то у меня красил... А на берегу красноармейцы избili сумасшедшего Прокофия, сапожника... Ходил по берегу и пел "Боже царя храни"! Избили голодного и больного, своего брата... О-пыт! Я и сам теперь опыт делаю... Сухим горохом питаюсь.

Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину приглядывающейся к нему Жаднюхе.

— Этим самым. У меня фунтов десять имеется, в собачьей конуре припрятал, не изъяли "излишки". И вот — по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсем, а челюсти у меня украли при обыске, вынули из стакана, — золотая была пластинка! Покатаю, обмякнет — и проглочу. Ничего, двенадцатый день сегодня. И еще — миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин улечувивается, яд-то самый. Тридцать штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь — "от помойки в ничто"! Пульс ускоряется, сердце изработывается быстрее, и...

Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе...

— Мы... распадаемся на глазах... и не осознаем! Да вы взгляните, взгляните... Умремте, скорей умремте... ведь ужасно теперь... т е п е р ь!.. сойти с ума! Ведь тогда мы не сумеем уйти... может не прийти в голову у й т и! Будем ж и в ы м и лежать в могиле, как теперь Прокофий!..

На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как о н и будут бить тяжелыми кулаками... Нет, не действует. Почему?

— Доктор, чем бы мне... кур поддержать?

— Ку-ур? Как — под-держать? Зачем — поддержать? Сжарить и съесть! со-жрать! У вас есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс! Надо все сожрать и — уйти. Вчера я "опыт" тоже делал... Я собрал и сжег все фотографии и все письма. И — ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так, чья-то праздная мысль и выдумка... По-нимае, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может... Быть может, в действительности ни-ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила?! А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон! Сон-то, как материя, не с у т ь ведь?! И мы не с у т ь...

Он смотрит неподвижно, как уже не сущий. И улыбается своей мысли.

— Мы т е п е р ь можем создать новую философию реальной ирреальности! новую религию "небывтия помойного"... когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что бывое нам кажется сном. Нет, э т о невыразимо! Да, куры... вы спрашивали... У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны... Я думал было заклать ее, как жертву, и положить с покойницей в шкаф. Но... бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкончику... — последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись, — спрошу: "Ну, что Галочка, чувствуешь о п ы т-то?" А она только головкой повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в комнаты за-пираю, понятно. И вот — самоубийством покончила!

— Да что вы?!

— Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и... в страшных конвульсиях! Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду... если штук сотню сразу... лучше, конечно, в толченом виде — сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо проведать горемыку нашу, — в Па-ри-же жила когда-то! Видела сон прекрасный! А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел! Какой же отсюда вывод? Значит, Баба-Яга завелась...

— Баба-Яга?! Да. Я сам только подумал.

— Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы — последние атомы прозаической, трезвой мысли. Все — в прошлом, и мы уже лишние. А это, — показал он на горы, — это только так кажется.

Такие бывают человечьи разговоры.

Он уходит к соседке. У него подмышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет — колышется. Навстречу ему — голосок Ляли:

— Михаила Василич в гости!

И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби: последняя горсть гороха.

А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опухале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у дохлой Ляры. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется-вьется Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня ур-

чанье и влажный хруст... Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча... Вот так миленькое "трио"! Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки... Что смотришь? Вот начну тебя с лапки... что?!.. Теперь все можно. Она уснула, так скоро, доверчиво уснула...

Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит дремучее... Погасает солнце. Шумит водопадами в голове... Сорвешься туда, и камням... А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все — сказка. Баба-Яга в горах...

## ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО

В Глубокую балку пойти — за топливом?..

Там стены — глубокой чашей, небо там — сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, — во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски — солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке каменная змея — желтобрюх, заслышит шаги — поведет сонным глазом — и завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я — порожденье того же солнца. Такой же нищий. Всегда — один. А вот и она, ящерка-каменка, — вышурхнет, глянет и — обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз — икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремя — жаркое сердце балки. Вот — оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья.

Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.

Пень, иззубренный топором... Я знаю его историю.

Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставеньками-ушами; павлин, пробирающийся под кедром — к ночи, синий дымок над кухней — первого ужина... уже ночные, синюю мглою охваченные горы, намекающие душе:

— Отныне... вместе?

Теперь будут они следовать за тихой жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие — солнечные и ночные — будут глядеть на нас до светлого конца жизни...

В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. М о и деревья! Это — старый миндаль... обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это... персик? Его донимают ветры... — ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго... Увидишь старого человека, меня-другого... он сядет здесь, — поставит скамейку надо, — и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом...

Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами, в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом — я так был счастлив в тот вечер! Я тебя обнял и выкатил на свет Божий — радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить... как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далам и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет другую, родную, нить... а ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней... Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колю-

чек изрублены на тебе, горы мыслей порублены на тебе, сгорели... Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу — неродившуюся надежду.

Я разглядываю рубцы на пне — по ним ползают муравьи. Постукивают ворота?..

...Татарские кони ржут, постукивают в ворота — будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками, день жаркий-жаркий, обвисли груши в моем саду, персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья! И веранда с колоннами, с занавесками из шумящего хрустала цветного — это же не моя веранда... Надо спешить — будет прогулка в горы... Но куда же девались все?! Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота... Я хожу и зову, ищущий... Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищущий и зовущий в тревоге, пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты... Мои комнаты были проще: ласковые, покойные... Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна... Я хожу и хожу по залам... Где-то тут мои комнаты...

Опять я вижу рубцы на пне, бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вот и сад, и мои деревья... Это же сон мне снился, минутный сон... Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами.

Дико кричит павлин — что-то его испугало. Что такое? Что еще может теперь случиться?..

Я слышу воющий голос — к морю...

— Ой, люди добры-и-и... гляньте!.. Гляньте же, люди добры-и!..

Это в Профессорском Уголке, внизу.

"Уголок" давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей на завтраки, на обеды: сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело — в пули: много еще цельных голов осталось. Не доносит повечеру трели отдыхающей певицы, трио Чайковского: умолкли певицы, музыканты, раскрасили песни Чайковского, треплются по ларям базарным.

Внизу голоса режут — там еще обитает кто-то! Берлоги еще остались.

— Ой, люди добры-и-и...

Нет ни людей, ни добрых.

"Золотая роза" розовеет еще стенами. А вот и "Вилла Марина", и "Вилла Анна"... по там теперь обитают совки, мелкие совки-сплюшки: кричат по ночам тоскливо: сплю-у... сплю-у... Спите, не потревожат. Вон шафранного "Линдена" корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роца! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадешек, пожгли кадешки. Старик адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль — на суше, прохаживался с сигарой по балкону в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых, бесшумных туфлях, просоленный морями, белобородый. Променил штормы на сладкий штиль, праздный кортик — на трудовой секатор, каткую палубу — на крепкие, в гравии, дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые — из глициний, сады персика и диканки... Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю: там-то уж совсем тихо. Встал на его "корабль" огромный Коряк — дрогаль, зацепился с семьей, с коровой и ждет упорно: отойдет ему дом — дворец с виноградниками и садами — за великие труды жизни: возил адмирала на таратайке в город! Сторожит пустоту — усадьбу да помаленьку выламывает рамы.

Внизу голоса растут. По балке доходит четко — воющий бабий голос:

— Да лю-ди... добрые!.. да вы ж гляньте!..

— Усе кишки вымотаю с тебе... за мою Рябку!..

Это — Коряка голос, рык силпый.

— Да вы ж толичко гляньте... лю-ди добрые... хозяйина моего забивает!..

— Мя.. со мое подай... из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали!.. утрибку, гадюки, лопали... с моей Рябки!..

— Побий мене, Боже... да усю неделю в Ялтах крутился... да вы ж перво дознайте у сосидий... Дядя Степан, да ваша Рябка и близко не доступала! За чо-го ж вы старога чоловика забиваете?!

Человека забивают? И этот воющий голос — голос человеческий? и рык-зык этот?!

— Шку-ру, пес... мя... со мое подай! Шшо твой выблядок у мыльщици ходит... да я сам утрудящий... Буржуев поубивали, теперь своего брата губите!.. Я за свою Рябку... дьявола лютые!..

— Да я... зараз в камытет самый, рьлюцивонный... як вы генераловы сундуки ховалы...

— А тебе... шо? ма-ло?! шшо нэ подавылась?! Мало, сука, добрых людей повывадала, чужое добро ховала, на базар таскала?! Да я твой камытет этот... одна шайка! Ду-шу вытрясу... мясо мое подай!

— Чего ж вы не заступяетесь... люди добрыи?!

Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.

— У-би...ил... живого чоловика убил... люди божьи!..

— Насмерть убью — не отвечу! У мене дети малыи...

По горкам шевелятся — выползают букашки-люди. И там,и там. Где-то в норах таились. Все глядят на площадку под "Линдена"-пансионом с холмов — на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке, прилепилась мазанка: синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся — люди не люди — мошки: двое крутятся на земле; синее пятнышко бегаёт, палкой машет.

С Вербиной горки бегут ребята, орут:

— Под "Линденом" убивают! Ганька, гляди Тамарку!..

Кричит Ганька:

— Хочу... как убива-ют!..

Выглянули и соседи. Лялин голосок точит:

— Это Степан Коряк, мамочка... в белой рубашке... ногой в живот прямо, мамочка... коленком!..

— Ля-личка, не надо! Боже, какие звери... — взывает старая барыня. — Ради Бога, Ляличка... уходи, не надо... Няня, да что такое?..

— Да что... Глазкова старика Коряк за корову убивает... — доходит из-под горы нянькин голос.

Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть.

— Так и надоть, слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали, все-го-всего... Каждый божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось... мало! чужую корову зарезали! Гляди-гляди, как бьет-то! а? Насмерть теперь забьет!

Смотрит, несчастная, и не чуёт, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни: кровь крови ищет.

А на театре — хрипу и визгу больше, удары чаще.

— Люди добрые... заступитесь!..

— Печенки вырву!.. ска-жешь, вырод гадючий!.. мясо куды девал!.. мя...со-о?!..

— Эх, сыновья-то в городе... они б ему доказали! До-кажут!

— Самый большевик был, как на чужое... а самого тронули... как разоря-ется!

— За-чем... Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води ко-ровы. В покои уж стали ставить, с топором ночуют!



— Вот они, буржуи окаянные... до чего людей довели! Жили все тихо-мирно, на вот... завоевались!

На театре дело идет к развязке. Рык глуше, словно перегрызают горло:

— Ку...ды...мя... со...

— Ой, побегу, мамочка!..

С холмов воют:

— Бей его, Коряк, добивай!..

— Как так — бей?! Доказать сперва надо! Бей... Много вас, бителев!

— Он вон, в Ялтах был столько-то ден, баба его доказала!

— Звери, а не люди... Ляличка, сту-пай! ступай-ступай, нечего тебе слушать...

— Ма-мочка, я хочу...

И доктор, под зонтиком, тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородакой. Кричит в пространство:

— Трагедия... под горами! Хе-хе!.. Борьба титанов!.. волки грызут друг дружку! Валяйте, друзья мои... валяйте апо-фе-оз культуры! До скорого свиданья...

Уходит доктор к миндальным своим садам — "садам миндальным".

Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка, — ездит уже с рыбаками в море. Кричит в задоре:

— Раз Коряк взялся — шабаш! Прихватил за грудки... да как его оземь... раз! А старик живуч!

— Уйдите, уйдите все! не могу... не могу — не могу... — кричит истерично старая барыня, зажимая уши.

Вскрикнула-всполошила Ляля:

— Ястреб!.. ястреб!.. Айй-ю-уюай!..

Ширококрылый, палево-рыжий ястреб, с белым комком под брюхом, тянет по балке вниз, где Коряк душит коровореза.

— Курочку вашу!!.. вашу!!!.. — отчаянно верещит Ляля, топчет и бьет в ладошки. — Туда... за дубки спустился!.. пух-то, глядите, пух!.. Айй-ю-у-ай!..

Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют:

— К дубкам берите! Слетел, проклятый!..

Я вижу над головой — белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрыло хищной тенью уплывает стервятник по балке — к морю.

Я добираюсь до места и нахожу белую курочку — кровь и перья. Вижу отованную головку, с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по мертвым сережкам признаю Жадную. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой солнце... Прощай и ты, маленькое создание, не оставившее следа! Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.

Я беру кровавой комок в перьях. Это не кусок мяса: это наша родная собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби.

И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка, на тихий угол, где гряда камней горячих... И наложил камень, чтобы не вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка.

— Так лучше бы мне отдали!

Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля — лучше, земля покоит.

Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Ищущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схожоню в Виноградной балке.

Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком — к небу. Жмутся к ней курочки — теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои... и вам, как и всем кругом, — голод и страх, и смерть. Какой же погост огромный! и сколько солнца! Жарки от света горы, море в синем текущем блеске...

Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли Коряк — не важно. Т е п е р ь — не важно. Убил... — слово совсем пустое.

Я хожу и хожу по саду, доаживаю свое. Упора себе ищущий?.. Все еще не могу не думать? Не могу еще превратиться в камень! С детства еще привык отыскивать С о л н ц е П р а в д ы. Где Т ы, Н е в е д о м о е?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и бухгалтерии... С ними ходят подрядчики и дележки. Хочу Безмерного — дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски... ужасом постигаю З л о, облакающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный, звериный зык...

Великие мудрецы, где вы?! Туманами подымаются храмы ваши, в туманах тают... Чистый разум... призрачный мир идей... отсвет метнувшегося человеческого мозга! Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные, породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру. Свершили чудо! Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе! Или спустились вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили? В П р о п о в е д и Н а г о р н о й продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты... Пустое небо прикрывлось синью, море прикрывлось синью: стоит одно другого.

Скорей бы вечер... Я... Кто такой это — я?! Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами — камень. Жди, когда пнут ногой. Н е к у д а уходит отсюда... Глади на горы: они в блеске, воздушные. На море... — праздничное оно всегда. Безмолвие за ним, так... — туманность. На что же еще глядеть?..

Там, в городке, подвал... свалены люди там с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых — тоска и смерть. И там те с е м е р о, бродившие по горам... Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют — скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход — в могилу. "Истребитель" стоит у пристани, гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвала, напилась из подвалов и теперь спит — до ночи. И красный вымпел тоже уснул — до ночи.

Что-то говорил доктор... Что-то случиться может... В небо смотрю я: м о ж е т?

Больно глазам от света.

Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? какое чудо? К кедру приду, постою, будто ищущий чего-то. От кедра пышет. Душно от черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то?! Смотрит веранда заплаканными глазами зацвевших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тиссы перед крыльчком...

На пустыре, за балкой, возятся возле Лявры, подсовывают оглобли. Вернутся вербины собаки, Цыган и Белка.

Кричит от дороги кто-то:

— Прирезать бы да на ко-клетки!

Это дядя Андрей с исправничьей дачи — Тихая Пристань. Одет по-дачному — в парусинном костюме, в мягкой, господской, шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и — темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки... побуркивает в кустах с такими же. Ходит — подумывает.

Не отвечают на его оклик, над Ляврой возятся.

— Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься! Казанские татары за говядину признают... А вам все чтобы мя-со было! Я вот... невете... реянец! По мне, хоть и не будь его вовсе, ей-Богу! у меня от его... за-пор навсягды, сказать... вовсе для меня вредная пища, яд!..

Не отвечают ему от Ляввы. Он подходит к моей заграде:

— Гляжу-гляжу на ваше индюшечку... ужахаюсь?! Ку-да заходит! И, лих ее носит, куренков куда заводит! Какой дурной подшиб палкой — по нынешнему времени... капитал! Вон как у Вербы с гусем... ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки! А я свинку свою на ячменек выменял, да за перекопку татары вина пять ведер... до весны до самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову... Как так я в мае получил за перекопку? Это все Прибытка старая с дурной головы плетет! В мае я за энту... за осеннюю перекопку, а вчера опять получил, за обрезку, очень огромный виноградник! Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила, стерья.. тогда я, сказать, баарином ходить буду! А чего я спросить желаю... про павлина! Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар, татары богатые по случаю из хвоста позарются... татарки ихняя заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать... не вредное?..

И отходит — в прогулочку. Идет — подумывает.

Павлин... Разве он м о й еще? На табак если выменять... осталась одна щепотка, а курить надо много... К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь, не поймай. А на табак бы можно — не пшеница.

Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение... богатым. Остались еще богатые? Гляжу — прикидываю... и он глядит на меня, мой "табак". Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первые радостные утра, начинавшиеся криком его на крыше нашего дома, его топотаньем по железу... А без него будет еще чернее...

Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки — солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровавыми лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся-тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком... не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тисса и веду по земле, мету. Где теперь планы и... философия? Так и все. Чья-то слепая сила. Метет... И... солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет... Придет и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.

## ЧУДЕСНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось над Бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри... "Истребитель" приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел — добрый вечер.

Просыпаются там — ночь чувят. Похаживают, в черной коже, по палубе, пощелкивают дельфинов — чешутся у них руки.

Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела... плавится, потухает. А вот уж и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасла. Похмурился Бабуган, глядит сурово, ночной, — придвинулся. Меркнул под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью... Выстрелы бьют по ней — боятся ли, угрожают...

Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние даю вам отруби. Пришел и павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь,

Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу — будешь плясать недаром.

Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чувствует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту.

Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытается меня глазком. Ну да, больше ничего не будет.

Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, — совсем ненужный. Какое швырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды — хоть до утра. Они будут мигать, мигать... Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные, между ними, умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеемо, по мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий! Или все свято там... ни свято и ни грешно, а так — миганье?

Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают-горят, зеленые, голубые, — неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают в огнях, как сор...

Усталые, тихие шаги. Ты это... Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим. Думаем... Не о чем теперь думать. Камни так думают, тысячи лет лежат в неподвижной думе. В ничто уходят — стираются, пропадают.

Видишь — упала звезда, черкнула огневой нитью... Подумала ты, я знаю... но э т о н е м о ж е т с б ы т ь с я. Не надо пытаться и звезды: они никогда никому не сказали слова — те же камни.

— Добрый вечер!.. — доходит из темноты голос.

Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд, через цепляющие кусты шиповника.

Сидим — молчим.

— Сегодня... — начинается она с удушьем и замолкает. — Носила няня продать золотую цепочку покойного Василия Семеныча, шесть золотников. Дали шесть фунтов хлеба... Что же делать?..

Молчим. На звезды, на море смотрим. Стрелки струятся — вспыхивают на нем.

— Голова стала мутная, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем перестала спать. Хожу и хожу, как маятник.

За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку.

— Кто там?..

— Я... — слышится робеющий детский голос. — Анюта... мамина дочка...

— Кто — Анюта?.. Ты чья? откуда?..

— Анюта, дочка... мама послала... мама Настя!..

Это, должно быть, снизу, из мазеровской дачи. Там Григорий столяр, Одарюк, дачный сторож. Бывший сторож, теперь — хозяин.

Я подхожу к воротам и признаю девочку лет шести, беловолосую, с белой косичкой-хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед всегда:

— Ба-лин!.. дластвуй!..

Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой и колупает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами.

— Мама послала... дайте... маленький у нас помирает, обкричался... Крупки на кашку дайте... Папа Гриша уехал, повез кровати...

Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все, на темные массы гор, на черный провал, где город, где только один огонь — красный глаз "истребителя": один он не спит, зажегся.

Что я могу ей дать?

Она просит позволить — подобрать на земле: может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлогодних... Она и в темноте видит и возьмет — со всем грошки!

Но у меня нет жмыха. Как индюшка, глядит на меня глазком — по ее вздоху чувствую: нет жмыха?! Как и Тамарка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама... мама Настя!

Она уносит горстку крупы в бумажке.

Я стою за воротами, в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под горку, где надоедно торчит желтая днем, не видная теперь мазеровская дача. Там они погибают, пятеро.

Я припоминаю Одарюка, статного, красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел Одарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона — менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили-съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом... ну, еще будет время. Можно доменывать, что осталось, бродят и недорезанные коровы... И принялся Одарюк за рамы, снимал двери, содрал линолеум... Да еще сколько железа будет, какая крыша! А рабочая власть — своя: без хлеба человека не оставит! Того не было и при царской власти.

А ночь идет и идет.

— Вот не могу придумать... — томится старая барыня. — Есть у меня будильник...

А кому нужен теперь будильник! Уснуть — и не просыпаться.

— И еще у меня что есть... Только уж я не знаю... — говорит она нерешительно. — Вот, из горного хрусталя...

Она открывает коробочку и — будто шумит горошком — вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах.

— Чудесное ожерелье... Смотрите, какая роскошь!..

Я перебираю граненые шарики — крупные, мельче, мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах — тянутся на резинке.

— Думаю, его если...

Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное. Чудачка, что за него дадут!?

— Видите... оно для меня о-чень дорого...

Я понимаю: на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны — пропиты кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза-лица, последние улыбки-благословения, нашаренные у сердца... последние слова-ласки втоптаны сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам... — носит его ветрами.

Человеческое младенчество! Пора, наконец, покончить с этими пустяками!..

— Столько было с ним связано... Покойный Василий Семеныч в Париже его купил, на бульваре Дез'Итальян... заплатил триста франков! Тогда это была ужасная для нас сумма! Это сколько будет на наши деньги? Сто двадцать рублей на золото?! Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба!..

— Пудов... сто двадцать.

— Ка-ак!.. Этого не может быть...

— Черного хлеба можно было купить... двести пудов, больше.

— Двести... пу-дов! Значит, если нам... по два пуда на месяц... Значит, на... двадцать лет?!

— На восемь лет, — поправляю я.

— Бо-же мой! Здесь... — она прижимает ожерелье к горлу, я не вижу ее лица, — здесь б ы л о на восемь лет жизни!.. для детей!! Не может этого быть... это же сумасшествие. Мы потеряли счет... мы все, в с е потеряли! Такой дешевой был хлеб?! Пе-че-ный хлеб!..

— Да, п е ч е н ы й хлеб... — с трудом выговариваю я это странное, забытое слово: печеный! Мы потеряли не с ч е т... мы потеряли ж и з н ь! Для мертвых все — ни-че-го!

Печеный хлеб... Я вглядываюсь в это странное слово... давно забытое. И вдруг... я вспоминаю! Я слышу, так ослепительно слышу — с л ы ш у! — вязкий и пряный дух живых пекарен, вижу и темные, и черные караваны на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанные на камнях... дурманящий аромат ржаного теста... Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы... я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем... напряженные глотки, вбирающие спазмами...

— Тогда рабочий человек имел рубль в день, и больше... Шестьдесят шесть фунтов хлеба... пе-че-ного!! Теперь...

— Ти-ше! Ради Бога...

— На хлебной Волге погибают миллионы от голода... а радио оповещает мир, как все довольны...

— Ради Бога... ти-ше!

Мы молчим. Мигают звезды.

— Триста франков! Оно же удивительной работы... Я так все ясно помню, тот день. Было очень жарко, в июне месяце... сезон в Париже. В "Опера" давали "Гугенотов". У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. В тот день мы отдыхали, были в Лувре... На тротуарах... — они широкие в Париже, под полотняными маркизами — кафе, все столики, все столики... наряды, столько всякого народу... иностранцев... Прямо не верится, как будто сон... Кучера в цилиндрах, с длинными бичами. За столиками едят мороженое, буше-зефир, крокеточки... пьют цветное что-то... Столько свету!.. как сон... Господи, как сон... Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная, даже вот сейчас, как пахнет... Белые шляпы, в золотистых кружевах и лентах, такая была мода. И цветы, цветы... целые возки, в корзинах, в грудах, на руках... розы, сирени, лилии... Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем: "Вейе, месье!"<sup>1</sup>

Ему совали деньги и говорили: "Мерси, месье!" Скоро сорок лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семеныч уронил в вазочку сигару... как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: "Бон аппетита, месье!"<sup>2</sup>

И *теперь* там так?! Вижу, как дымится политая мостовая и все налитые следки подков... все блестит, блестит... Потом остановились у витрины... и вот, это... вот это самое, лежало т а м! Вот это самое. Теперь оно... з д е с ь?!!

Я перебираю шарики. Холодные, стучат: чок-чок.

— Так мне понравилось... Стою — смотрю. И вот Василий Семеныч говорит: "А, купим!" Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма... А я, как в транс... ну, не могу уйти! "Это принесет мне счастье!" Ну вот, д о л ж н а купить. Зашли... Шикарно в магазине, все сверкает... какие жемчуга... И хозяин такой изящный, милый... Француз. Сейчас вот вижу: черноглазый, в лиловом

<sup>1</sup> Смотрите, месье! (франц.)

<sup>2</sup> Хорошего аппетита, месье! (франц.)

галстук с жемчужиной, волосы курчавятся, чуть с проседью... Типа такого... бон-виван! Они какими-то... сладкими духами душатся, эти бон-виваны... нежным апельсином пахнет. "Кэ вуле ву, мадам?"<sup>1</sup>

Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него — а-ля Наполеон Третий, или кто там еще... забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат — дивно! Повел нас в комнату зеркальную, пустил рожок... Как миллионы бриллиантов, очаровательно-волшебный блеск! И все мне: "О, ля-ля, мадам! И всегда деньги, как в банк положите!" Представьте, это был шедевр! последняя работа какого-то старого итальянца... Вот эти, как это называется... да, грани! который гранил сэ фасет... недавно умер! "Такой работы уже не будет, мадам! Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был гранд артист!" И мы купили. Потом смотрели "Гугеноты", я проходила по фойе, и все так на меня глядели... должно быть, принимали за богачку! С ним я не расставалась скоро сорок лет. И вот вчера грек предложил мне за него... Ну, как вы думаете, сколько? Три! три фунта хлеба!

— За человека не дали бы и крошки.

— Вы взгляните, зажгите спичку...

Спичку... Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на трут, дымится, но получить огонь — мученье.

— В нем восемьдесят семь камней, и в каждом больше сорока фасеток! Сколько граней! И вот — три фунта!

Чудачка... Граней! А сколько граней в человеческой душе! Какие ожерелья растерты в прах... и мастера побиты...

— Я просила грека: ну, хоть де-сять фунтов! Говорит — ешь камушки! Говорю: есть у вас совесть?! "А что такое совесть? — говорит. — У нас простой коммерческий расчет! это гораздо больше, чем ваша совесть! Нужно везти на Ялту, оттуда пойдет в Америку и в Европу, к настоящим людям, где все на настоящих ногах. А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту?! Это же — на тот свет поехать! Вы думаете — ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через два часа в Ялте, а теперь я через два часа... в балке, если не добыл пропуска! А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял... но об этом надо помолчать! Четыре раза я поехал — три меня ограбил! Вы думаете — некоторые люди не любят бриллиантов и золота?! И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них три дня... три дня жизни! Вот чего стоит моя совесть!"

В море играют звезды. Я смотрю. Направо, за Каstellью — Ялта, сменившая янтарное, виноградное свое имя на... какое! Ялта... солнечная морянка, издевкой пьяного палача — Красноармейск отныне! Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, похабство одураченного раба — швырнули в белые лилии, мазнули чудесный лик! Красноармейск. Злойбой неуголимой, гнойным плевком в глаза — тянет от этого слова готтентота.

Новые творцы жизни, откуда вы?! С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! соблазнили Тебя — какими чарами? спoiли каким вином?!

Народы гордые! Попустите вы стереть имя отчизны вашей?! Крепись, старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме! Крепким щитом прикройся! Не закачайся, Лютеция, корабль пышный! не затони в зашумевшем море человеческого непотребства! Случиться может... И ты, Лондон гордый,

<sup>1</sup> Что угодно, мадам? (франц.)

крестом и огнем храни Вестминстерское свое аббатство! Придет день туманный — и не узнаешь себя... Много без роду и без креста — жадут, жадут... Много рабов готовых. Груды золота по подвалам, и много пустых карманов.

Я смотрю в сторону б ы в ш е й Ялты. Ее не видно. Но знаю я: течет и течет туда награбленное добро, поснятое с живых и мертвых. Течет — к морю. В море стекают реки. Течет через сотни рук, подымается на фелуги, на пароходы — плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон... за океаны, на Сан-Франциско... Берегись, старая Европа, скупщица! не растеряй чудесное ожерелье славы! Кто знает?!

И вы, матери и отцы родину защищавших... да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших, и дочерей, насилуемых убийцами, отдающихся ласкам за краденые наряды!..

А вы, несущие миру н о в о е, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакиваете страждущих?.. Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее: душу убили великого народа! Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых.

А она все сидит и томит-стонет:

— Ну, как же быть-то... с детьми-то как?.. Михайла Васильич принес горошку, последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки... опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже... не в себе. Ну, как же? Конечно, я отдам ожерелье... пусть хоть три фунта...

Я не могу сидеть, слушать... Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать... Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба... Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час — ходить начинают, с лицами в тряпках — в саже, поворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту. Загремят в ворота и крикнут слово, отпирающее все двери:

— Отворяй, с ордером из Отдела!..

А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать...

## В ГЛУБОКОЙ БАЛКЕ

В море начинает белеть — в море рассвет виднее, — но горы еще ночные, в долинах — мгла. Намекают по ним беловатые пятна дач. Время идти в Глубокую балку, по холодку, — рубить.

Топор и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень горки. Все — на пороге нового дня и — спит. Невесело просыпаться.

Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа... красный огонь на вымпеле!.. Не ушел еще "истребитель". С е м е р о могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза — в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. И х ведут, — запоздали? Делают э т о обычно глухую ночью. Или хотят показать как встает над родными горами солнце, в последний раз?..

Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? не погромыживает с шоссе раннею таратайкой? Или пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка — единственный знак рассвета?..

Нет... Я слышу унылый крик — неумирающий голос с минарета. Стоит над городком белая, тонкая свеча — и только одна она еще посылает измученный привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над морем, над всем, что на них и в них, пребывает Великий Бог, и будет



пребывать вечно, и все сущее — Его Воля. Вознесите в е л и к о м у молитву за день грядущий!

Пенится за кормой, и, бросая дугою след, "истребитель" уходит в море. Пошел — на Ялту.

И х было с е м е р о, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не сдавались. По Крыму их были сотни — не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, селезней на утиный "кряк". Их поймали заманкой: объявили — прощение. Они спустились с оружием — своей честью — почерневшие и худые, с тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпускали из рук винтовок. Они поглядывали к горам, где камни были для них — родное: из камня выросли их аулы. Пока — им не разрешили туда вернуться. Их возили на фэзтонах: смотрите — друзья, союзники! покорились! Их кормили бараниной и поили вином — братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках... Потом — отобрали оружие: теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали, ночью. Потом... сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море — швырнуть с камнями...

Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост.

Может быть, тут же, на берегу, их жены, матери... или из деревень горных видят черную лодочку на море и не чувят. Радуются прощенью, ждут: власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь — ослепнут. Так ослепла старая татарка, над которой сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у палачей была.

— Теперь можешь везти! — сказали.

И она, счастливая, на горной глухой дороге целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач — да камни. Да старик возница, сосед-татарик, тер кулаком глаза.

— Не плачь, горькая женщина, — сказал он. — Лучше с в о я земля.

Э т и х не выдадут.

Я отрываю себя от моря, иду — высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и Глубокая балка — конец мыслям. Теперь — бить крепче по пням дубовым, тысячелетним, в земле увязнувшим...

Здесь стены — чашей, по ним — корявые кусты граба, над головою — небо. Рубить, не думать. А толканутся думы — рвать их по зарослям, разметать, рассыпать. Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки...

Вот — канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы, — кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, — забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, — заросшее прошлое... рядом — старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты и лжи? А где-то вознесшийся черный крест, заросший... Вон он, не затеряется: прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки по-свистывает-гудит в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель — в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса: ветром загнуло-выгнуло тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос — о чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю, горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко: в осенний ветер будет гудеть-выть Крест — само естество живое — в опустевшей Глубокой балке. Будет стонать, вопить. А вопросительный знак...

Я ударом срублю знак: он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать! никаких вопросов! Конец и арфе, и канделябру, и старуку... Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков! Пусть пустота — и только.

Я вырубаю дубовые "кутюки" — с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили... оба глаза... Тьма все накроеет. Смотрят на меня ящерики, желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки — тихие жильцы балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырках — по знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного "богомол": в порыжевшей ряске, стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на Крест ли он молится, монах усохший? Или не видит, что на Кресте — бутылка?!

Если бы только это: кусты и камни, в камнях и в норах живущее! Но есть и еще, другое...

Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета, — и все, залившее кровью жизнь, ударяет меня наотмашь. Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутины...

Живут вещи в Глубокой балке, живут — кричат.

Здесь когда-то — тому три года! — стояли станом оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штывками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине — сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни — "Шишман"... Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге. Валялся в пыли, на солнце фабрикант консервов в сюртуке и манишке, с вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок, свистящих дырками на ветру. Одуревшие от вина, мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанта — много стекла кругом! — жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками, спали с девками по кустам...

Славные европейцы, восторженные ценители "дерзаний"!

Охраняемые Законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о "величайшем из опытов" — мировой перекройке жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее от покоя сердце, эти громкие побрякушки — титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата... — кучу гремучих слов, проданных за пятак беспардонно-беспутными строкописцами.

Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы дадите почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно. Ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист.

Невысока колокольня ваша: с нее не видно.

Покиньте свои почтенные кабинеты с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную

словами: увидите затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите в с'е , если только х о т и т е в и д е т ь! Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские — дворцы, "роллс-ройсы" и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, — добытое дерзаньем, — куда приятней пустых панелей бродажной жизни; что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью; что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны — можно нанять штыки.

Пойдите сами!

Но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке столичного Гранд'Отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирно в "известиях" собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лейб-поваром а-ля русс, — такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей б е з и м е н и. И покажут гордому имени волшебную панораму... в рамке!

Нет! Вы дерзните пойти б е з и м е н и, п о й т и в недра... И не смотрите через кулак. Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть в яму.

Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане — с берега. Величавое зрелище!

Пусто, глухо в Глубокой балке, но и здесь не уйти от н и х. А если подняться выше — увидишь белые петли шоссе на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же — посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта большого юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к столбам, поставили, как бутылку, и расстреляли на приз — за краги. А потом опять пили, жрали баранину и спали по кустам с девками. Пьяными глотками выли "тырционал"...

За кустами граба и дубняка виднеется деревянный шпиль и красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров, бурых и беломордых — Красулек, Полек, томно щурившихся на солнце, с ленцой жующих, когда бойкие бабы руки позванивали играючи по ведрям. Помню мудрую хлопотню, сверкающие бидоны, громающиеся к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню — пузатого мальчугана-трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке — убегающего от кур с ревом, и круглолицую голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу вязкий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!.. благодатное какое солнце!..

Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и... усохло море молочное...

Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там — пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и завидуший, курокрад недавний и словоблуд, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к работнице погибавшей фермы и недававшуюся заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети... Пели по ней панихиду бабы, кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду убийцу. Ответили бабам — пулеметом. Ушел от суда вихлястый курокрад Гришка — комиссарить дальше.

Куда ни взгляни — никуда не уйдешь от крови. Она — повсюду. Не она ли выбирается из земли, играет по виноградникам? Скоро закрасит все в умирающих по холмам лесах.

Я рублю и рублю... Довольно: полон мешок "кутюков" дубовых, довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору... Солнце залило балку, над головой день полный и жарко-жаркий. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно зудят цикады. Дремлется на жаре...

## ИГРА СО СМЕРТЬЮ

— Добрый день!

Я вздрагиваю — лечу как в пропасть. Спал я? Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела: надо нарвать листву, выпустить курочек; надо идти далеко, к татарину, просить ячменю пять фунтов за проданную рубаху...

— Кажется, вы спали... Помогу вам нести.

Стоит под Крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой соломке, в постолах татарских, показывающих пальцы-когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, и через дырья ее виднеются желтые пятна тела. По виду — с пристани оборванец.

Я его давно знаю: собрат, молодой писатель, Борис Шишкин. Он присаживается на камень, и мы молчим.

Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной, стоит-поигрывает — смеется: пожмет за горло и неожиданно выпустит — ну, дыши! Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним: то — вот отнимает жизнь, то — вот неожиданно дарует! И — сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что — не знаю. Но с ним что-то случится... Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и тяжело. Его мечта — он ее не теряет — уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет — где-нибудь на камне, на берегу моря, в заброшенном винограднике, в полнолуние — без огня. Между строк на старых газетах, чернилами из синих каких-то ягод: не достать бумаги, не купить ни за какие деньги.

И теперь, в этой балке, он говорит о том же:

— Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями... и никого чтобы, хоть бессрочно! только бы не мешали писать... Сколько у меня тем! Вы знаете... я хочу о д р у г о м писать... о детском, о таком чистом, ясном... а э т о все так давит!..

Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на сто жизней.

Он был на великой войне солдатом, в пехоте, и на самом опасном — германском фронте. Душою нежный, лобовно рассказывавший о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал, и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хоронился днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. В последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был ранен с о е ю пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли как шпиона. Его подвесили, в наказание, на столбу, за скрученные назад руки, ему "щекотали" скребками ребра до обморока и потом его опустили в шахты. В шахтах морили голодом. Он раздулся как от водянки и едва передвигал ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землю. Его засыпало взрывом с десятком пленных. Через трое су-

ток его отрыли — единственного живого: счастливо его прикрыла опрокинутая тележка. Он с полгода пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на нижнем Днепре, уже при Советской власти, и должен был поступить на службу, — выбрал себе по сердцу — подобрал беспризорных детей-сирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за комиссара и потащили, но проходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного по роте, на германском фронте. Это было, конечно, чудо. Но чего не бывает в жизни! Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке, при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо: он показал кому-то тошную книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторил: "А, черт... его не берет пуля!, м о я — возьмет!" — Взял его за плечо, сдал крепко и, повторив еще раз, жутко: "М о я... возьмет... — оттолкнул бешено: — Ступай... к черту!" Он опять поступил на службу — по приказу. Он должен был шарить по дачам и, против воли, совестливый и тихий, он отбирал кровати, столы и стулья, лампы и самовары — для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник, ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам — работать за полфунта хлеба и писать рассказы.

— Теперь я свободен! Совсем уйду из проклятого городишки... не буду ни-чего видеть, слышать... В скалах буду жить. Солнышко, да звезды, да море... У нас там ти-хо! За десять верст отсюда. Пусто под Кастелью. Там была дача у дядюшки... дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал, и мы отхлопотали, как трудовое хозяйство... будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чахотке освободили... Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем корову... Заходил к вам на дачу проститься, здесь отыскал...

Он был неопишимо счастлив. Он сидел под "крестом", наклонив голову к коленям, и что-то проглядывал в тетрадке.

— Буду писать повесть... "Радость жизни"! Я так ее чувствую теперь... Только не э т о й жизни, а... ласковой... я ее представляю себе, как голубое небо...

Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует.

— Там у нас есть древний Хаос, обвал давний... в камнях — ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели, сверху... Там хорошо писать! А вместо стола будет глыба из диорита... На будущий год посеем пшеницу. Только бы зиму перебиться! Теперь печем лепешки из желудей... у нас с прошлого года запасено, но только тошно от них...

Его опухшее желтое лицо — лицо округи — говорит ясно, что голодают. И все-таки он счастлив.

— А лучше бы было, пожалуй, т о г д а уехать... Европа! Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать, сестренку... Теперь редко буду приходить в город...

Так мы сидим под "крестом", думаем — свое каждый.

— Да!!.. — вскрикивает он вдруг. — Слышали, что случилось?!

— Что же случилось? Разве может е щ ё что-нибудь случиться!

— Убежали! сегодня ночью!..

— О н и... убежали?!! т е?!..

Перед глазами круги, шары...

— Все... все убежали... теперь уж т а м! — показывает он на горы. — Из-под самой "мушки"!

Доктор... провидец доктор! Перед смертью ему о т к р ы л о с ь?.. или ходили слухи? Но если бы были слухи, не прозевали бы т е...

— Произошло это около часу ночи. В два часа их собирались забрать на "истребитель"... везти в Ялту. За н и м и т о и прислали. Ходили слухи, что они стали слабеть от голоду — всего по четвертке хлеба да и не каждый день! а какого хлеба... вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что — неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была!.. Будут теперь аресты, возьмут заложников... Вот как было. О н и не собирались бежать первое время, надеялись, что подержат и выпустят. Но когда стали слабеть — решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию! Ну, сошлют... И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли сплотившихся с гор "зеленых", как и они, и главного кого-то, черкеса, кажется... А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда — решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали: испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут бежать. И вот решили бежать этой ночью! Как раз за час до увоза!.. подумайте — какой случай! Составили план и бросили жребий, кому собою пожертвовать... кому с часовым схватиться. Ведь безоружные! Француз не тянул жребия, отказался бежать. Верил, что его непременно освободят, неизвестно, за что схватили... Француз — и только. Теперь его повезли в Ялту: знал о побеге и не донес! Жребий выпал татарину. Они все — там были и русские, и татары, и чеченцы... они обнялись и поцеловались... простились перед судьбой... Как это... хорошо! Совсем одичали, затравлены... всюду кровь, и... такое братство перед судьбой! Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся... Татарин схватил винтовку... тот на него... о н и и ринулись! сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались... захватили винтовку... Наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей, и ночь... а и м все пути известны. Теперь перевал даст знать! Подпоручик у них лихой!.. Пощады теперь не будет... Все шестеро.

Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. О н и уже там теперь! Благодарный камень!.. и вы, леса...

— Коммунисты теперь напуганы, опять перевал отрезан. И на машине не сиганешь — обстрел! Все повороты пристреляны. Теперь ночевать бояться, будут налеты с гор. Квартиры известны... понятно, у т е х есть связь, а не нащупаешь...

Хоть шестеро жизнь отбили! Я с любовью смотрю на горы, благодатные, суровые — покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них — с в о я. Храбрыми Бог владеет! Могут быть милостивы — недвижимые. Л ю д и на них живут, укроют л ю д и. Последним куском поделается. Правда у них — с в о я. Будет продолжаться борьба, за п р а в д у, борьба за душу. И днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах... С радостью припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах... Чудо м о г л о случиться!

— Жить интересно все-таки! — восторженно говорит счастливец. — Я хорошо понимаю, что значит — у й т и от смерти! Счастье с о з н а т е л ь н о г о рождения... так чудесно!

Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворост, взвалил и мешок с тяжелыми "кутюками". Он переполнен счастьем.

— Я... сво... боден!! Чудесный сегодня день! Какие горы!.. вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье... я напишу о них! Какие бывают случаи...

Я его вижу в п о с л е д н и й раз! Ни он и никто не знает, что вот случится... Детски-наивное лицо его светится таким счастьем. А где-то плетут петли, и никто не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит.

Так доходим до домика. Нас встречает павлин тоскливым криком — стоит на воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем.

— Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано... бери только!

И я не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть. Четыре раза, шутя, играла! Сыграет в пятый, наверняка, с издевкой.

(Окончание следует.)



## Георгий Иванов

# ПОРТРЕТ БЕЗ СХОДСТВА

### Стихи

...Визу на выезд из России двадцативосьмилетний Георгий Иванов получил в 1922 году. Право на возвращение пришло к нему только лишь в 1987 году, и пришло не к самому поэту, а к его стихам, ибо Иванов, проведя тридцать шесть лет в эмиграции, умер в августе 1958 года во Франции. Но он все-таки вернулся в Россию — стихами. К нему в самом точном смысле оказались применимы слова Александра Галича: "А вы говорили — бредни! А вот через тридцать лет..."

Георгий Иванов вернулся на родину потоком журнальных публикаций — "Огонек", "Новый мир", "Знамя", "Дружба народов" и множество периферийных изданий опубликовали в общей сложности многие десятки его стихотворений. Вышла и книга — правда, недостаточная как по объему, так и по тиражу, к тому же пока что лишь одна. А ценителей его поэзии великое множество. Творчество Г.Иванова может вызвать либо преклонение, либо активное неприятие, среднего отношения не бывает. Уже одно это говорит о значительности его творчества, недаром стихи его в равной степени высоко ценили как друзья — Гумилев, Блок, Гиппиус, так и литературные недруги — Ходасевич, Набоков.

Лишь одно стихотворение Иванова — напечатанное еще в 1925 году "Над розовым морем вставала луна" — благодаря романсу Вертинского было широко известно у нас. Об остальном же, созданном поэтом, на протяжении десятилетий в СССР либо вовсе не упоминалось, либо говорилось в тоне брезгливом, уничижительном, — впрочем, с благой целью противопоставить его кому-нибудь, кого нужно было "реабилитировать" — Цветаевой, к примеру. Но неутомимый наш "самиздат" делал свое дело, и тонкие тетради стихов Георгия Иванова, отпечатанные на машинке и переписанные от руки, расходились по всей стране. Порой пронзительно нежная, порой странноватая его поэзия обрела читателя уже давно, и нынешнее "возвращение" — лишь утверждение уже существующего факта: большой русский поэт Георгий Иванов вошел в золотой фонд русской культуры.

Стихи для этой подборки взяты из двухтомного собрания сочинений поэта, готовящегося к печати в издательстве "Советский писатель".

\* \* \*

Я люблю безнадежный покой,  
В октябре — хризантемы в цвету,  
Огоньки за туманной рекой,  
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,  
Все банальности "Песен без слов",  
То, что Анненский жадно любил,  
То, чего не терпел Гумилев.

\* \* \*

Напрасно пролита кровь,  
И грусть, и верность напрасна —  
Мой ангел, моя любовь,  
И все-таки жизнь прекрасна.

Деревья легко шумят  
И чайки кружат над нами,  
Огромный морской закат  
Бросает косое пламя...



\* \* \*

Закроешь глаза на мгновенье  
И вместе с прохладой вдохнешь  
Какое-то дальнее пенье,  
Какую-то смутную дрожь.

И нет ни России, ни мира,  
И нет ни любви, ни обид —  
По синему царству эфира  
Свободное сердце летит.

\* \* \*

В тринадцатом году, еще не понимая  
Что будет с нами, что нас ждет —  
Шампанского бокалы подымая,  
Мы весело встречали — Новый год.

Как мы состарились! Проходят годы,  
Проходят годы — их не замечаем мы...  
Но этот воздух смерти и свободы  
И розы, и вино, и счастье той зимы  
Никто не позабыл, о, я уверен...  
Должно быть, сквозь свинцовый мрак,  
На мир, что навсегда потерял,  
Глаза умерших смотрят так.

\* \* \*

По улицам рассеяно мы бродим,  
На женщин смотрим и в кафе сидим,  
Но настоящих слов мы не находим,  
А приблизительных мы больше не хотим.

И что же делать? В Петербург вернуться?  
Влюбиться? Или Опера взорвать?  
Иль просто — лечь в холодную кровать,  
Закрывать глаза и больше не проснуться...

\* \* \*

Страсть? А если нет и страсти?  
Власть? А если нет и власти  
Даже над самим собой?

Что же делать мне с тобой?

Только не гляди на звезды,  
Не грусти и не влюбляйся,  
Не читай стихов певучих  
И за счастье не цепляйся —

Счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,  
Камнем в море утонуло,  
Рыбкой золотой плеснуло,  
Льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет и мы не дети.  
Вот и надо выбирать —  
Или жить как все на свете  
Или умирать.

\* \* \*

Январский день. На берегу Невы  
Несется ветер, разрушеньем вея.  
Где Олечка Судейкина, увы,  
Ахматова, Паллада, Саломея.  
Все, кто блистал в тринадцатом году —  
Лишь призраки на петербургском льду.

Вновь соловьи засвищут в тополях,  
И на закате, в Павловске иль Царском,  
Пройдет другая дама в соболях,  
Другой влюбленный в ментике гусарском...

\* \* \*

Над розовым морем вставала луна,  
Во льду зеленела бутылка вина,

И томно кружились влюбленные пары  
Под жалобный рокот гавайской гитары.

— Послушай. О, как это было давно,  
Такое же море и то же вино.

Мне кажется будто и музыка та же,  
Послушай, послушай, — мне кажется даже...

— Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.  
Мы жили тогда на планете другой.

И слишком устали, и слишком мы стары  
Для этого вальса и для этой гитары.

\* \* \*

Что-то сбудется, что-то не сбудется.  
Перемелется все, позабудется...

Но останется эта вот, рыжая,  
У заборной калитки трава.

...Если плещется где-то Нева,  
Если к ней долетают слова —  
Это вам говорю из Парижа я  
То, что сам понимаю едва.

\* \* \*

О нет, не обращаюсь к миру я  
И вашего не жду признания.  
Я попросту хлороформирую  
Поэзией свое сознание.

И наблюдаю с безучастием,  
Как растворяются сомнения,  
Как боль сливается со счастьем  
В сияньи одеревенения.

\* \* \*

Здесь в лесах даже розы цветут,  
Даже пальмы растут — вот умора!  
Но как странно — во Франции, тут,  
Я нигде не встречал мухомора.

Может быть, просто климат не тот —  
Мало сосен, березок, болотца...  
Ну, а может быть, он не растет,  
Потому что ему не растется.

С той поры, с той далекой поры —  
...Чахлый ельник, Балтийское море,  
Тишина, пустота, комары,  
Чья-то кровь на кривом мухоморе...

\* \* \*

Бредет старик на рыбный рынок  
Купить полфунта судака.  
Блестят мимозы от дождинок,  
Блестит зеркальная река.

Но Врангель — это в Петрограде,  
Стихи, шампанское, снега...  
О, пожалейте, Бога ради,  
Склероз в крови, болит нога.

Провинциальные жилища.  
Туземный говор. Лай собак.  
Всё на земле — питье и пища,  
Кровать и крыша. И табак.

Никто его не пожалеет,  
И не за что его жалеть.  
Старик скрипучий околеет,  
Как всем придется околеть.

Даль. Облака. Вот это — ангел,  
Другое — словно водолаз,  
А третья — совершенный Врангель,  
Моноклем округливший глаз.

Но все-таки... А остальное,  
Что мне дано еще, пока —  
Сады цветущою весною,  
Мистраль, полфунта судака?

\* \* \*

Мы не молодые. Но и не стары.  
Мы не мертвые. И не живые.  
Вот мы слушаем рокот гитары  
И романса "слова роковые".

О беспамятном счастье цыганском,  
Об угарной любви и разлуке,  
И — как вызов — стаканы с шампанским  
Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!  
За потерю всего дорогого!  
И за то, что могло быть иначе,  
И за то — что не надо другого!

\* \* \*

Как все бесцветно, все безвкусно,  
Мертво внутри, смешно извне,  
Как мне невыразимо грустно,  
Как тошнотворно скучно мне...

Зевая сам от этой темы,  
Ее меняю на ходу.

— Смотри, как пышны хризантемы  
В сожженном осенью саду —  
Как будто лермонтовский Демон  
Грустит в оранжевом аду,  
Как будто вспоминает Врубель  
Обрывки творческого сна,  
И царственно идет на убыль  
Лиловой музыки волна...

\* \* \*

Зима идет своим порядком —  
Опять снежок. Еще должок.  
И гадко в этом мире гадком  
Жевать вчерашний пирожок.

Разнежась, радоваться маю,  
Когда растаяла зима...  
О, Господи, не понимаю,  
Как все мы, не сойдя с ума,

И в этом мире слишком узком,  
Где всё потеря и урон,  
Считать себя, с чего-то, русским,  
Читать стихи, считать ворон.

Встаем-ложимся, щеки брем,  
Гуляем или пьем-едим,  
О прошлом-будущем жалеем,  
А душу всё не продадим.

Вот эту вянушую душу —  
За гривенник, копейку, грош.  
Дороговато? — За полушку.  
Бери бесплатно! — Не берешь?

\* \* \*

Утро было как утро. Нам было довольно приятно.  
Чашки черного кофе были лилово-черны,  
Скатерть ярко-бела и на скатерти рюмки и пятна.

Утро было как утро. Конечно, мы были пьяны.  
Англичане с соседнего столика что-то мычали,  
Что-то о испытаньях великой союзной страны.

Кто-то сел за рояль и запел и кого-то качали...  
Утро было как утро — розы дождливой весны  
Плыли в широком окне, ледяном океане печали.

\* \* \*

Туман. Передо мной дорога,  
По ней привычно я бреду.  
От будущего я немного,  
Точнее — ничего не жду.  
Не верю в милосердьё Бога,  
Не верю, что сгорю в аду.

Так арестанты по этапу  
Плетутся из тюрьмы в тюрьму...  
...Мне лев протягивает лапу  
И я ее любезно жму.

— Как поживаете, коллега?  
Вы тоже спите без простынь?  
Что на земле белее снега,  
Прозрачней воздуха пустынь?

Вы убежали из зверинца?  
Вы — царь зверей. А я — овца,  
В печальном положенье принца  
Без королевского дворца.

Без гонорара. Без короны.  
Со всякой сволочью на "ты".  
Смеются надо мной вороны,  
Царапают меня коты.

Пускай царапают, смеются,  
Я к этому привык давно.  
Мне счастье поднеси на блюдце —  
Я выброшу его в окно.

Стихи и звезды остаются,  
А остальное — всё равно!..

\* \* \*

Пароходы в море тонут,  
Опускаются на дно.  
Им в междупланетный омут  
Окунуться не дано.

Сухо шелестит омела,  
Тянет вечностью с планет...  
И кому какое дело,  
Что меня на свете нет?

\* \* \*

Отвлеченной сложностью персидского ковра,  
Суетливой роскошью павлиньего хвоста  
В небе расцветают и темнеют вечера,  
О, совсем бессмысленно и все же неспроста.

Голубая яблоня над кружевом моста  
Под прозрачно-призрачной верленовской луной —  
Миллионнолетняя земная красота,  
Вечная бессмыслица — она опять со мной.

В общем, это правильно, и я еще дышу.  
Подвернулась музыка: ее я запишу.  
Синей паутиною (хвоста или моста),  
Линией павлиньей. И все же неспроста.

\* \* \*

Я не знал никогда ни любви, ни участья.  
Объясни — что такое хваленое счастье,  
О котором поэты толкуют века?  
Постараюсь, хотя это здорово трудно:  
Как слепому расскажешь о цвете цветка,  
Что в нем ало, что розово, что изумрудно?

Счастье — это глухая, ночная река,  
По которой плывем мы, пока не утонем,  
На обманчивый свет огонька, светляка...  
Или вот: у всего на земле есть синоним,  
Патентованный ключ для любого замка —  
Ледяное, волшебное слово: Т о с к а.

\* \* \*

Всё туман. Бреду в тумане я  
Скуки и непонимания.  
И — с ученым или неучем —  
Толковать мне, в общем, не о чем.

Я бы зажил, зажил заново  
Не Георгием Ивановым,  
А слегка очеловеченным,  
Энергичным, щеткой вымытым,  
Вовсе роком не отмеченным,  
Первым встречным-поперечным —  
Всё равно какое имя там...

\* \* \*

Звезды синегот. Деревья качаются.	Все мы герои и все мы изменники,
Вечер как вечер. Зима как зима.	Всем, одинаково, верим словам.
Все прощено. Ничего не прощается.	Что ж, дорогие мои современники,
Музыка. Тьма.	Весело вам?

\* \* \*

Это звон бубенцов издалека,	...За пределами жизни и мира,
Это тройки широкий разбег,	В пропастях ледяного эфира
Это черная музыка Блока	Все равно не расстанусь с тобой!
На сияющий падает снег.	И Россия, как белая лира, Над засыпанной снегом судьбой.

\* \* \*

Мелодия становится цветком,  
Он распускается и осыпается,  
Он делается ветром и песком,  
Летящим на огонь весенним мотыльком,  
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет,  
И перевоплощается мелодия  
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,  
В рейтузы, в ментик, в "Ваше благородие",  
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.  
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,  
Серебряными шпорами звеня.

\* \* \*

Так, занимаясь пустяками —  
Покупками или бритьем —  
Своими слабыми руками  
Мы чудный мир воссоздаем.

Туманные проходят годы,  
И вперемежку дышим мы  
То затхлым воздухом свободы,  
То вольным холодом тюрьмы.

И, поднимаясь облаками  
Ввысь — к небожителям на пир —  
Своими слабыми руками  
Мы разрушаем этот мир.

И, принимая вперемежку —  
С надменностью встречая их —  
То восхищенье, то насмешку  
От современников своих.

\* \* \*

Как обидно — чудным даром,  
Божьим даром обладать,  
Зная, что растратишь даром  
Золотую благодать.

И не только зря растратишь,  
Жемчуг свиньям раздаря,  
Но еще к нему доплатишь  
Жизнь, погубленную зря.

\* \* \*

А люди? Ну на что мне люди?  
Идет мужик, ведет быка.  
Сидит торговка: ноги, груди,  
Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она природа —  
То дождь и холод, то жара.  
Тоска в любое время года,  
Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлечения:  
Страх бедности, любви мученья,  
Искусства сладкий леденец,  
Самоубийство, наконец.

\* \* \*

Еще я нахожу очарованье  
В случайных мелочах и пустяках —  
В романе без конца и без названья,  
Вот в этой розе, вянущей в руках.

Мне нравится, что на ее муаре  
Колышется дождинок серебро,  
Что я ее нашел на тротуаре  
И выброшу в помойное ведро.

\* \* \*

Был замысел странно-порочен,  
И все-таки жизнь подняла  
В тумане — туманные очи  
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись  
Пока догорала свеча.  
И все-таки струны рванулись,  
Бесмысленным счастьем звуча...

\* \* \*

Летний вечер прозрачный и грузный,  
Встала радуга коркой арбузной,  
Вьется птица — крылатый булыжник...

Так на небо глядел передвижник,  
Оптимист и искусства подвижник.

Он был прав. Мы с тобою не правы.  
Берегись декадентской отравы:  
"Райских звезд", искаженного света,  
Упоения сомнительной славы,  
Неизбежной расплаты за это.

\* \* \*

Ветер тише, дождик глуше,  
И на все один ответ:  
Корабли увидят сушу,  
Мертвые увидят свет.

Барабанит, барабанит,  
Барабанит, — ну и пусть.  
А когда совсем устанет,  
И моя устанет грусть.

Ежедневной жизни муку  
Я и так едва терплю.  
За ритмическую скуку,  
Дождик, я тебя люблю.

В самом деле — что я трушу;  
Хуже страха вещи нет.  
Ну и потеряю душу,  
Ну и не увижу свет.



\* \* \*

С бесчеловечною судьбой  
Какой же спор? Какой же бой?  
Всё это наважденье.

Свистит в сирени соловей,  
Ползет по травке муравей —  
Кому-то это нужно.

Но этот вечер голубой  
Еще мое владенье.  
И небо. Красно меж ветвей,  
А по краям жемчужно...

Пожалуй, нужно даже то,  
Что я вдыхаю воздух,  
Что старое мое пальто  
Закатом слева залито,  
А справа тонет в звездах.

\* \* \*

То, о чем искусство лжет,  
Ничего не открывая,  
То, что сердце бережет —  
Лунный свет, вода живая...

Остальное пустяки.  
Вьются у зажженной свечки  
Комары и мотыльки,  
Суетятся человечки,  
Умники и дураки.

\* \* \*

*В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похоронили вновь.*

*О.Мандельштам*

Четверть века прошло за границей,  
И надеяться стало смешным.  
Лучезарное небо над Ниццей  
Навсегда стало небом родным.  
Тишина благодатного юга,  
Шорох волн, золотое вино...

Но поет петербургская вьюга  
В занесенное снегом окно,  
Что пророчество мертвого друга  
Обязательно сбыться должно.

\* \* \*

*Роману Гулю*

Нет в Росси даже дорогих могил,  
Может быть и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы —  
Может быть и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.  
Знаю — там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,  
Если я с ним встречу, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну  
Различать в тумане и его страну.

\* \* \*

В пышном доме графа Зубова  
О блаженстве, о Италии  
Тенор пел. С румяных губ его  
Звуки, тая, улетали.

За окном, шумя полозьями,  
Пешеходами, трамваями,  
Гаснул, как в туманном озере,  
Петербург незабываемый.

...Абажур зажегся матово  
В голубой овальной комнате.  
Нежно глядя пса лохматого,  
Предсказала мне Ахматова:  
— Этот вечер вы запомните.

\* \* \*

Все чаще эти объявления:  
Однополчане и семья  
Вновь выражают сожаленья...  
"Сегодня ты, а завтра я!"

Мы вымираем по порядку —  
Кто поутру, кто вечерком,  
И на кладбищенскую грядку  
Ложимся ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:  
Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода ледяного,  
Ни капитана Иванова,  
Ну, абсолютно, ничего!

\* \* \*

Торжественно кончается весна,  
И розы, как в эдеме, расцвели.  
Над океаном блеск и тишина,  
И в блеске — паруса и корабли...

Узнает ли когда-нибудь она,  
Моя невероятная страна,  
Что было солью каторжной земли?  
А, впрочем, соли всюду грош цена.  
Просыпали — метелкой подмели.

\* \* \*

Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно...  
Какие печальные лица,  
И как это было давно.

Какие прекрасные лица,  
И как безнадежно бледны —  
Наследник, императрица,  
четыре великих княжны...

\* \* \*

Овеянный тускнеющею славой,  
В кольце святош, кретинов и пройдох,  
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,  
А жутко, унизительно издох.

Один сказал с усмешкою: "дождался!"  
Другой заплакал: "Господи, прости..."  
А чучела никто не догадался  
В изгнанье, как в могилу, унести.

\* \* \*

Жизнь продолжается рассудку вопреки.  
На южном солнышке болтают старики:  
— Московские балы... Симбирская погода...  
Великая война... Керенская свобода...  
И — скоро сорок лет у Франции в гостях.  
Жужжанье в черепках и холодок в костях.  
— Массонский заговор... Особенно еврей...  
Печатались? А где? В каком Гиперборее?  
... На мутном солнышке покой и благодать,  
Они надеются, уже недолго ждать —  
Воскреснет твердый знак, вернется ять с фитою,  
И засияет жизнь эпохой золотойю.

\* \* \*

Слава, императорские троны,  
Все о них грустящие тайком —  
Задаются вы на макароны,  
Говоря вульгарным языком.

Снится им — из пустоты вселенской  
Заново (и сладко на душе)  
Выгарцует эдакий Керенский  
На кобыле из папье-маше.

Что мечтать-то? Отшумели годы,  
Сны исчезли, сгнили мертвецы.  
Но, пожалуй, рыцари свободы —  
Те еще отчаянней глупцы:

Чтобы снова головы бараньи  
Ожидали бы наверняка  
В новом Учредительном собрание  
Плети нового Железняка.

\* \* \*

Теперь тебя не уничтожат,  
Как тот безумный вождь мечтал.  
Судьба поможет, Бог поможет,  
Но — русский человек устал...

Устал страдать, устал гордиться,  
Валя куда-то напролом.  
Пора забвеньем насладиться,  
А, может быть, пора на слом...

...И ничему не возродиться  
Ни под серпом, ни под орлом!

\* \* \*

Рассказать обо всех мировых дураках,  
Что судьбу человечества держат в руках?

Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,  
Что уходят в историю в светлых венцах?

Для чего? Тишина под парижским мостом.  
И какое мне дело, что будет потом.

\* \* \*

Я не стал не лучше и не хуже.  
Под ногами тот же прах земной,  
Только расстоянье стало уже  
Между вечной музыкой и мной.

Жду, когда исчезнет расстоянье,  
Жду, когда исчезнут все слова,  
И душа провалится в сиянье  
Катастрофы или торжества.

*Вступительная заметка и подготовка стихотворений к печати — Евгения Витковского.*

---

---

## Владимир Крупин

### КРЕСТ И ПРОПАСТЬ

Исконный враг рода христианского — сатана более всего боится не столько нашей Веры в Бога, он и сам лучше многих знает о существовании Господа, сколько нашей действительной работы во имя этой Веры. Не нами замечено: когда утепляя свою жизнь, мы покрываемся одеялом страстей и пороков, тогда бесы пляшут от радости, а когда мы действуем — бесы неистовствуют. И сколько же нужно было страданий, чтобы понять: невозможно без Господа не только построить государство, даже единой жизни осмысленно прожить. Смысл жизни высвечивается только Божественным светом. Во имя чего живет человек? Во имя освобождения от первородного греха, от грехов собственных, во имя хоть крохотного приближения к естеству и подобию Божию. Но как же те, кто и знать не знает о таком условии? Ответ один — они живут бессмысленно, и их жалко.

Неугодное небесам строительство Вавилонское, разрушенное в назидание и посрамление гордыни человеческой, научило людей, с точки зрения вечности, ненадолго. Как же была слаба наша натура, что вновь обольстилась мыслью о достижениирая на земле. Разве мы перестали быть смертными, разве кому-то удавалось захватить в могилу зарплаты и привилегии, звания и награды, разве кого-то похоронили не в одном, а в трех костюмах с тремя галстуками? Нет, только того и добились, что миллионы неотпетых душ витают в ближайшем пространстве, наводя на живых ужас новыми обликами прежней нечистой силы.

Когда незачем жить, то незачем любить детей, родителей, землю, траву, птиц. Но есть, есть моменты в жизни каждого, когда гремит гром небесный над головой, когда понимает человек все несовершенство своей природы, понимает, как слаб он, как беспомощен и как стремительно летит жизнь к земному пределу. Оглянется он вокруг и увидит, что почти все так живут, этим и утешит себя. Но нет, не все. Но как спастись? Таинственен и недостижим Господь и небесное Его воинство. Но понятны и доступны праведники. Они ходили по этой же земле, что и мы, смотрели на то же небо, видели такие же деревья. И от этой мысли, что внешне праведник походил на любого из нас, идет понимание достижимости спасения. Если земной человек достиг такой святости, такой способности к проникновению времен и пространств, значит, и нам не заказаны их пути. Но как ступить на эти пути? Постом и молитвой, исповедью и причащением? Да, но это доступно и фарисею. Что же еще? А еще — и главное — труды, труды во славу Отечества, той земли, на которой впервые увидел свет Божий. Восстановление погранных национальных святынь, воссоздание храмов и алтарей, возжигание лампад и в нарядном соборе и в тесном жилище.

Ни одной земли не оставил Господь без праведников. И мы верим в то, что прежде чем послать в какие-либо пределы своих апостолов, Христос сам посетил их. И праведники, просиявшие в Российской земле, шли господними тропами. Среди них нет иерархии, как нет и отдыха у престола Господня, заботы о нас одинаковы тяжелы и легки им, но кажется, что более всего молитв из Российской земли возносится к Преподобному Сергию Радонежскому. С горных высот слышал он Божественные глаголы, а нам, грешным, дано слышать его неумолкающий наставляющий зов. Мы оттого идем к Преподобному, что заблудились в своей жизни, оттого припадаем к золотому шитью пелены над

его мощами, чтобы вдохнуть неизъяснимой свежести и сладости, сразу заставляющих чаще и чище биться наше сердце.

Как неизъяснимо тревожно и благодатно стоять затем среди других, впитывая растворенной душой древний, вечный распев: "Господи, помилуй", — а самому глядеть и глядеть, как бесконечно притекают к Преподобному мужчины и женщины, старцы и юные, как золотятся огоньки на вершинках свечей, как целая роща их, постоянно изгорая, не убывает никогда. Как отражаются огни в окладах икон, как нарядно освещают ворох поминальных листочков, а на них сотни и сотни имен.

Какие светлые лица, какие ясные взгляды, какая высота смирения и какая сила в этих людях. Не нам пытаться степень их Веры в Господа, не нам знать промыслы Господни, но нам знать, что крест, на нас возложенный, надо нести с радостью и безропотно.

Священник, живущий близ Лавры, рассказал мне притчу о крестонесении. Вот она:

Каждый несет свой крест и каждому определен крест по силам. А одному человеку показался очень тяжелым свой крест. Он устал от его тяжести. И решил отпилить его. И отпилит. Крест сразу стал легким, человек пошагал легко и быстро обогнал другого человека, который не уменьшал тяжести креста. На легке человек шел по дороге, шел быстро до тех пор, пока дорога не оборвалась пропастью. Человек положил через пропасть свой крест. Крест еле-еле достал края пропасти. Человек пошел по нему и оборвался. Второй человек подошел к пропасти и перешел ее по своему кресту как по мосту, крепкому и прочному. Так что не только роптать нельзя на тяжесть креста, напротив, радоваться, что крест становится все тяжелее.

Кажется, уже некуда быть тяжелее российскому кресту, но это еще не предел. Зато грядущие пропасти мы перейдем благодаря ему. И если с нами такие люди, как Преподобный Сергей, киево-печерские и оптинские старцы, соловецкие угодники и мученики, то разве можно чего-то бояться. Споткнувшись, встанем, подпояшемся и вновь примем на себя крест по силам, и почувствуем с радостью, что легко бремя Христово, что радостен труд и собственного спасения, и спасения заблудших, и спасения многострадального Отечества. И тем более, что все более и более крепнет уверенность, что неоткуда миру ждать спасения, кроме как от пределов Российских.



---

---

## Валентин Берестов

### ВЕСЕННИЙ ЗОВ

Весенний зов... Кто кличет? Далеко ли  
Куда и с кем? В поход или в полет?  
(Светлица как темница. В даль! В раздолье!).  
А может, просто из избы да в поле,  
В весеннее оттаявшее поле,  
Куда из века в век, из года в год, —  
Охотник, бортник, пахарь, скотовод, —  
К земной страде стремился, как на волю,  
Общепланетный наш мужицкий род.

### ВЛАСТЬ ИСКУССТВА

Перейдешь перекресток, и ты — на войне,  
Если мамы близости нету.  
Ты — соперник для тех, кто на той стороне,  
И соратник — для тех, кто на этой.  
В чем причина вражды вековой и злой  
И чего мы никак не поделим,  
Знали, может быть, этот мужчина с пилой  
Или этот вот дядька с портфелем.  
И, конечно, забыли, когда подросли,  
Где источник обид и трагедий,  
И другие мальчишки на смену пришли —  
Презирать ненавистных соседей.  
И конца не видать поношеньям и злу.  
Но катилось дело к развязке.  
Поселился мальчишка у нас на углу,  
И умел он рассказывать сказки.  
Оба воинства с жадностью слушают их,  
Мы — на лавке, они — под забором,  
И когда замолкает рассказчик на миг, —  
"А что дальше?" — кричат они хором.

### НОЧНОЙ ОГОНЬ

Фонарь зажегся для меня,  
Чтоб шел спокойно по дорожке,  
Но бьются вокруг его огня  
Ночные бабочки и мошки.

Маяк зажжен для кораблей,  
Чтоб мирно шли, минуя скалы,  
Но сердцу от него светлей  
И манят в ночь его сигналы.

## ОТРАЖЕНЬЕ — ИСКУССТВО ПРИРОДЫ

Памяти Т.И.Александровой,  
художницы и сказочницы.

"Отражение — искусство природы", —  
Говоришь ты и смотришь на воды.  
— Это ж рабская копия! — "Нет,  
Это подлинник, — слышу в ответ. —  
Вон береза в пруду, как царица  
Надо всеми, кто в воду глядится.  
А найди ее на берегу!"  
Я ищу и найти не могу.  
Так и образ твой, скромница, странница,  
И запомнится, и останется,  
И как эта береза в пруду,  
Вдруг возникнет у всех на виду.

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (1936 год)

— Берестов, — отцу сказали, —  
Признавайся: ты — эсер.  
Доказательства искали,  
Пыль в архивах поднимали,  
В украинских, например,

А теперь мы их предъявим.  
Ты не зря эсерство скрыл.  
Что в Екатеринославе  
Ты на съезде говорил?

С чем ты шел к эсерам этим?  
Что сказал им про террор  
В тысяча девятьсот третьем?  
— Что сказал? Наверно, вздор.

Что еще сказать в то время  
Мог ребенок лет восьми?  
— Как восьми? У, вражье семя!  
Выкрутился, черт возьми!



Вячеслав В. Иванов

## ПЕРЕВЕРНУТОЕ НЕБО

Фрагмент из книги о Б. Пастернаке

### 1

Мне было лет восемь. Врачи нашли у меня костный туберкулез и велели лежать неподвижно. Зимой отец вез меня на санях, мне это заменяло прогулку. Отец легко подгалкивал сани, они катились вниз по дороге от нашего дачного городка к мосту через Сетунь. Мама шла рядом. Мать с отцом разговаривали. Прислушиваясь к их разговору, я узнал имя писателя, о котором отец говорил, что за границей его считали бы великим поэтом. Так имя Пастернака, первые слова о его непризнанности на родине и возможной славе в других странах связались в моей памяти с переделкинской дорогой к мосту, той самой, где потом мы шли с Борисом Леонидовичем однажды осенним вечером, когда он делился предчувствием готовящейся трагедии, и где мы встретились с ним позднее в разгар этой трагедии, в октябрьской темноте, грозившей смертью, арестом и изгнанием. Сейчас этой же дорогой ходят к нему на могилу.

### 2

Вскоре после этого разговора моих родителей Пастернак стал нашим соседом по даче. Как я узнал много спустя, он поселился в Переделкине в дачном поселке, принадлежавшем Литературному фонду, сначала рядом с дачей Пильняка — своего друга. Вскоре после ареста Пильняка он переехал на дачу, где до того жил Малышкин, тогда уже умерший. Дача эта находилась между дачами Федина, дружившего в те годы с Пастернаком, и моих родителей. Разбирая после смерти отца его бумаги, я нашел записки 1937 года, где Пастернак звал его к себе на дачу вечером, говоря, что пока дамы будут играть в карты, "мы покурим в углу". Пастернак стал приходить к нам в гости. Иногда я должен был встречать Зинаиду Николаевну и его у калитки в лесу, чтобы проводить их до дачи: у нас было несколько собак, от которых нужно было охранять гостей. Как-то раз гостей никто не встретил, и наша немецкая овчарка укусила Пастернака. Мама в таких случаях настаивала на прививках (однажды в раннем детстве меня по ее настоянию собирались прививать, когда меня клюнула курица, хотя врачи и заикнулись было робко насчет того, что у кур не доводилось наблюдать случаев бешенства). В то время меня тоже поцарапала одна из наших собак, и меня с Пастернаком на пастеровской станции среди невообразимой толчеи свела вместе эпидемия бешенства (как бы в виде репетиции к тому,

что случилось после присуждения ему Нобелевской премии). Потом медицинская сестра у нас на даче день за днем делала прививки ему и мне: все, что в мире ранит поэта, овеществилось в шприце для вспрыскиваний. Кругом взрослые говорили, что Пастернак стесняется этих уколов: для них он оставался один в нашей большой столовой, отделанной под дуб и оттого казавшейся темной; дверь плотно притворяли; я ему сочувствовал.

До меня доносились и серьезные разговоры взрослых, касавшиеся Бориса Леонидовича. По их словам, как-то в кабинете моего отца он целый вечер рассуждал о русском народе, приводя в пример сторожа, жившего у него на участке, в сторожке возле той самой лесной калитки, где мне нужно было встречать его и Зинаиду Николаевну. На следующее утро отец говорил, что все, сказанное Пастернаком, неверно.

Тех рассуждений Бориса Леонидовича, о которых так отозвался отец, я не слышал, и мне остается теперь только гадать о причинах их несогласия. Моему отцу, выходцу из сибирского села, пробродившему всю молодость по азиатской России, самое привычное деление на интеллигенцию и народ было чуждым: граница проходила внутри него самого. То, что о народе говорили городские жители, часто казалось отцу неосновательным. К народу он, как и Горький, относился без всякого сентиментального восторга. Борису Леонидовичу, с детства "льнувшему к беднякам", никогда не хотелось отделять себя от простых людей. С ними, в отличие от собратьев по перу, которых чаще всего чурался, он не терял случая поговорить или хотя бы обменяться двумя-тремя словами: через забор до меня доносилось гулкое "Бог в помощи!", брошенное им на ходу копавшим землю крестьянам. Иной раз узорчатая ткань его речи, обращенной к простолюдинам, напоминала куски просторечия в его прозе, но лубочной она могла показаться Набокову, а не тем, кто сам говорил еще мудреннее. Помню, как-то во время войны к нам зашла по делу деревенская баба и долго хитро толковала о своем деле обиняками. Когда она ушла, отец заметил, что она рассуждала так же сложно, как пишет он сам или как говорит Пастернак. Я полагаю (основываясь и на том, что говорил при мне сам Пастернак), что и в его близости к моему отцу, которого он выделял даже из своих друзей-писателей, помимо интереса Пастернака к его вещам (особенно ранним) и к его дарованию, крылось и другое: в нем Пастернак не без причин видел многое от человека из народа. Но именно тогда, после середины тридцатых годов, отец вместе с другими своими современниками проходил тягчайшее испытание. Власти требовали постоянного печатного возобновления присяги на верность, платя за это сохранением жизни и имущественными льготами. Отец очень неохотно, но шел на это (сколько раз потом мне приходилось думать, что значила при писании этих вынужденных статей, а потом и книг, семья и особенно я сам с моей болезнью, вынуждавший жить целые годы на дорого стоившей огромной даче, мы были постоянно в долгах, отец-книголюб продавал книги, мама в те дни просила, чтобы я его утешал). Время знакомства, а потом разрыва со Сталиным (еще до того, как тот стал полноправным диктатором) было давно позади, отец почти никому об этом прошлом не говорил, но знал, что Сталин считает, будто Всеволод Иванов "все себе на уме" (так Сталин сказал ему сам на той самой встрече с писателями у Горького, где они были объявлены инженерами человеческих душ). Гораздо более поздняя попытка сближения со Сталиным-диктатором, построенная отчасти по образцу пушкинских отношений с Николаем ("Столетье с лишним — не вчера..."), у Пастернака закончилась незадолго до описываемого времени: тридцать седьмого года он не принял полностью (отец же был корреспондентом на процессах и писал статьи, перечитывать которые больно и страшно). Мама считала Сталина всемогущим.

За завтраком родители обсуждали при мне разговор мамы с Фадеевым накануне вечером во время какого-то приема. Мама доказывала Фадееву, что Пастернак должен встретиться со Сталиным: "Сталин его убедил бы".

Среди осколков разговоров, услышанных тогда же и навсегда застрявших в памяти, остались и воспоминания о бедности Пастернака. После одного из вечеров, когда у нас были гости, мама говорила с грустью о том, что Борис Леонидович был в изношенном пиджаке, обмохрившуюся полу которого он прикрывал рукой. Впрочем, я никогда не замечал и позднее, в пору относительной обеспеченности Бориса Леонидовича, чтобы тот избегал носить обветшалую одежду. Мне казалось, что ему нравилось быть в неброском или старом костюме, в особенности, во время работы — писательской или крестьянской — у себя наверху в кабинете на даче или на огороде перед дачей.

Но те годы были временем материального неблагополучия для семьи Пастернаков. Позднее мама мне рассказывала, что Зинаиде Николаевне приходилось иногда для заработка заниматься переписыванием нот; Борис Леонидович был вынужден продать свой пай в жилищном кооперативе (квартиру в доме на Лаврушинском он получил только потому, что из кооперативного его превратили в государственный).

Шли разговоры вокруг награждения писателей орденами, когда весной 1939 года Борису Леонидовичу не дали ордена (позднее я понял: это было связано с его поведением в предшествующие годы, в особенности с тем, что он не подписал письма с требованием расстрела одной из групп крупных людей, которых судили на больших процессах 37-го-38-го годов; в те годы называли Бухарина, но в воспоминаниях Зинаиды Николаевны речь идет о Тухачевском). Как говорили, Пастернак был задет тем, что его обошли при раздаче орденов. Вскоре после награждения писателей у нас в Москве были гости, среди них и Борис Леонидович. Потом мама говорила, что она в тот вечер боялась тостов по поводу орденов и поощряла любые другие тосты, лишь бы те не относились к этой запретной теме: например, по предложению одного из детей пили за Сталина, за человека, "благодаря которому у нас супы не из ворон" (в газетах тогда писали о голоде на западе, где супы варят из ворон).

Мои друзья, присутствовавшие на одном из вечеров Бориса Леонидовича в конце войны или сразу после войны (сам я на этом вечере не был), рассказали, что он, отвечая на чей-то вопрос, воскликнул: "Поэзия — это ведь не что-то орденосное!" Отзвук тех же настроений звучит и в одном из стихотворений о поэте:

**"Твое творение — не орден,  
Награды назначает власть,  
А ты — тоски пеньковый гордень,  
Паренья парусная снасть".**

Году в 44-м я записал рассказ Евгении Владимировны (первой жены Бориса Леонидовича) о телефонном разговоре Жени (их сына) с отцом. У Бориса Леонидовича сидят гости (кажется, родные — если не ошибаюсь, брат, Александр Леонидович, с которым Борис Леонидович на моей памяти не был дружен; думаю, что причину можно увидеть в одном его письме, адресованном О.М.Фрейденберг — Пастернака ужасало, что брат его ходит чуть не в чекистской форме). Должно быть, ему не хочется говорить с ними. И он занимается гостей, разговаривая по телефону с Женей, но так, чтобы и те слышали этот разговор, благо голос у него звучный. Женя говорит отцу: "Приходи кушать кулич". На это Борис Леонидович отвечает: "Если ты встретишь Тихонова или Эренбурга (тогда я фамилий из осторожности не записывал, восстанавливаю

по памяти, но, кажется, точно), то скажи им, чтобы мне дали орден". — "Да, но ты приходи, тогда и поговорим". — "Так ты скажи им..." Очень долго (чуть не целый час) он говорит так с Женей по телефону. Тот был поражен: "Какой папа странный!" (От самого Жени, с которым мы подружились позднее, я об этом не слышал).

Как-то в гостях у нас Борис Леонидович рассказывал, что Поликарпов (партийный чиновник, в годы войны правивший Союзом писателей, а потом перекочевавший в ЦК и оттуда продолжавший вершить судьбами и всей литературы, и Пастернака, пытаясь использовать и О. В. Ивинскую, чтобы на него влиять) позвонил ему, чтобы сообщить, что Пастернаку дали медаль (должно быть, за оборону Москвы — а в ней он участвовал, сбрасывая бомбы с крыши). "Хорошо, я пришлю за ней сына с доверенностью", — простодушно ответил Борис Леонидович. — "Это вам не бидон с керосином", — вспыхнул Поликарпов. Время, когда и для Пастернака что-то значили ордена и медали, ушло.

## 3

Во время войны в библиотеке отца мне попала в руки вышедшая перед войной книга избранных переводов Бориса Леонидовича с надписью моим родителям, где он называл их своими утешителями в житейской нескладице. Душевную надпись на книге стихотворений Бориса Леонидовича я встретил и в библиотеке нашего соседа по даче — покойного Афиногенова, когда с разрешения его вдовы Дженни жил у нее на даче. Афиногенову Пастернак посвятил короткую прощальную заметку, напечатанную во время войны в "Литературной газете". Мои родители, Афиногеновы, Федин, Леонов, Сельвинские до войны составляли тогда то переделкинское общество, которое собиралось то у нас на даче, то на дачах Афиногенова и других; Пастернак обычно присутствовал на этих вечерах, где друг другу читали новые вещи (среди них проза Пастернака — наброски начала романа), обсуждали, спорили. Я склонен думать, что эта среда (как литературная среда вообще) много значила для Бориса Леонидовича. Одной из отличительных его черт был глубокий профессионализм, отчетливей всего сказавшийся в его переводческой работе. Начиная с Центрифуги и Лефа, Пастернак никогда не оставался безразличным к тому, что делалось вокруг в литературе. А с какого-то времени его отклик, в том числе и на то, что делали прежние сотоварищи (Бобров, потом лэфовцы) становился прежде всего возражением. Но ему нужно было, на что возражать. Он вовсе не хотел писать в вакууме, без читателей, без слушателей и без друзей-писателей. Последнее очень важно. Это объясняет его отношение к Союзу писателей, в создании которого он в горьковские времена принял самое деятельное участие. Оттого для него так тягостно было исключение из Союза писателей после присуждения ему Нобелевской премии.

Предвоенные годы, когда уже обозначилась его немилость у властей, в какой-то мере для Пастернака скрашивались еще теплившейся на переделкинских дачах литературной жизнью. При всем его одиночестве — или именно благодаря ему — для него никогда не были безразличны люди, его окружавшие (поэтому я и дальше собираюсь вносить в эти записи не только заметки о самом Борисе Леонидовиче, но и о людях вокруг него, в особенности, об их толках и рассказах о нем).

## 4

С моим отцом Борис Леонидович был знаком давно (на моей памяти они всегда были на ты). Отец мне рассказывал, что еще в двадцатые годы, ког-

да он приехал из Петрограда в Москву, Пильняк познакомил его с Пастернаком. Он вспоминал, как впервые пришел к Борису Леонидовичу: его поразила совершенная пустота комнаты. Я часто думал об этом рассказе, когда видел огромный кабинет Бориса Леонидовича у него на даче, где долгое время не было ничего, кроме стола, стула и почти пустых книжных полок около стола (в пятидесятых годах там стояли "Фауст" по-немецки и Библия, английский Шекспир, когда переводился "Макбет", потом число книг стало увеличиваться, много присылали из-за границы). Эту пустоту рабочего помещения я бы сравнил с простотой костюма, в котором работал Борис Леонидович. Здесь мне приходит на ум еще и другое: как-то — по поводу судьбы искусства у нас после революции Борис Леонидович заметил, что по его мнению для искусства не нужно, чтобы вокруг все было ярким, наоборот, необходим серый обыденный фон, на котором ярче будет само искусство. Эти слова, сказанные по поводу отношения между искусством и историей, как мне кажется, объясняют и такую частность, как обстановка его кабинета...

В тех случаях, когда я такие разговоры с Борисом Леонидовичем не записывал сразу же или когда я их не помню дословно, я передаю только то общее содержание их, которое не зависит от понимания отдельных слов. Разумеется, что тем менее его стиль передается, когда я пересказываю его речь с чужих слов.

Из рассказов моих родителей и старшей сестры, относящихся к первым годам их совместного знакомства с Борисом Леонидовичем, в памяти остались толки о том, как к нам (еще в то время, когда мы жили на Старой Мещанской, т.е. в самом начале тридцатых годов) были приглашены в гости писатели — по случаю юбилея "Красной Нови", но и с целью примирения или объединения "попутчиков" (к которым относили Бориса Леонидовича и моего отца) и рапповцев (видимо, те, вскоре готовившиеся к превращению из палачей в жертвы, уже предчувствовали надвигавшиеся на них гонения и пытались искать союзников). Вечер кончился полной неудачей — вместо примирения произошло схватка, Пастернак и Фадеев боролись — будто бы по началу миролюбиво (пьяный Фадеев любил мериться силами), но дело дошло до кровопролития — Фадеев ударился об стул и разбился в кровь. Моя старшая сестра Таня рассказывает, что кто-то из гостей прятался в уборной. Кажется, пострадала мебель хозяев-примирителей — пошли в ход стулья из карельской березы.

К более позднему времени относится рассказ отца о поездке писателей на авиационный парад в Тушино. Долго ехали на автобусе, наконец приехали. Как только вылезли из автобуса, кто-то объявил, что сейчас машина пойдет назад в Москву, нет ли желающих ехать. Пастернак очень обрадовался, сказал, что он поедет на этой машине, и тут же уехал — к удивлению оставшихся смотреть парад. Как я потом понял, это было одно из тех кажущихся чудачеств, в которых сказывалось нежелание принимать устанавливающиеся формы сотрудничества с властью.

Другую историю этого же рода мне пересказывали со слов Л.Ю.Брик. Писатели должны были подписывать какое-то обычное официальное воззвание. Пастернаку очень не хотелось ставить свою подпись, его долго уговаривали. Наконец, чтобы от него отвязались, он подошел к лежавшей на столе бумаге и что-то написал. Потом выяснилось, что подписи Пастернака под этим письмом нет — его рукой была написана вымышленная фамилия "Свистунов".

## 5

Встречи, участвовавшие во время дачной жизни в Переделкине, продолжались после нашего переезда в Москву (где мои родители и Борис Леонидо-

вич поселились в одном доме, только что отстроенном для писателей на Лаврушинском переулке). В этих встречах кроме переделкинской компании участвовали Кончаловские, Асмусы. Еще в Переделкине (году в 38-м) в разговорах, которые остались в памяти, упоминались вечера у Кончаловских, где бывали мои родители и Мейерхольд, тогда впавший в немилость. Ольга Васильевна Кончаловская при мне с восторгом рассказывала моему отцу, как Мейерхольд читал Кончаловским воспоминания о fin de siècle — конце века (что случилось с этими записками после ареста Мейерхольда, я не знаю). В этой компании оказался и Фадеев, что, по словам моего отца, стало гибельным для Мейерхольда. На встрече Нового года в застольном разговоре участвовали Мейерхольд, Фадеев и мой отец; Мейерхольд сказал Фадееву, что никакого социалистического реализма нет, он в него не верит. Фадеев это высказывание Мейерхольда вскоре привел в одном из своих публичных выступлений. В том же году Мейерхольд был арестован. Фадеев позвал моего отца на далекую прогулку в Переделкине и там, в разговоре с глазу на глаз среди околокунцевских тогда еще не застроенных лесных просторов, сказал отцу, что Мейерхольд был одновременно агентом нескольких иностранных разведок...

Когда я вспоминаю возникавшее у меня в годы войны впечатление от внешности Бориса Леонидовича, его плаща и шляпы (совсем не от сфинкса, а из старого быта), подчеркнутой учтивости, от слов, им употреблявшихся, оборотов вроде "кланяйтесь своим" при прощании, его любви к запискам и письмам, посылаемым с дачи на дачу, я не могу отделаться от мысли о старомодности, притом такой старомодности, которой он как бы нарочито придерживался во всем своем обиходе (как бы не утверждал он обратного, он во многом принадлежал девятнадцатому веку, был рожден для того, чтобы ездить в диккенсовских дилижансах, и с годами это усиливалось; если когда он и был футуристом, то скорее из викторианского "Зазеркалья" Алисы). Я думаю, что и эти встречи с гостями для Бориса Леонидовича были не светской жизнью, а продолжением пира во время чумы; о таких пирушках и пирах он писал всю жизнь:

**"Пью горечь вечеров, ночей и модных сборищ".**

**"И поняли мы,  
Что мы на пиру в вековом прототипе,  
На пире Платона во время чумы".**

**"И наши вечера — прощанья,  
Пирушки наши — завещанья,  
Чтоб тайная струя страданья  
Согрела холод бытия".**

Присутствие Пастернака, его увлеченность самим пиром и осознание им каждого такого пира как случайно дарованного отдыха на пути, которому суждено стать крестным, придавали каждой из таких встреч, на которых я бывал позднее, особенный отблеск, их преобразивший и лишавший отпечатка будничности. Отец при мне несколько раз подробно рассказывал об одном из таких пиров у нашего соседа по дому (жившего этажом выше) — Тренева. Отец говорил тогда же, что он подробно записал свои впечатления от вечера. Но в его бумагах этой записи я не нашел, то ли он ее уничтожил вместе с другими, бывшими в той же тетради, то ли она пропала во время войны, когда дача сгорела, а в нашей квартире жило в наше отсутствие много людей. Мне остается только воспроизвести рассказ отца по памяти. Вечер начался с того, что Пас-

тернак прочитал только что им конченный перевод "Гамлета". Как говорил отец, слушатели потрясены и поэзией этого перевода, и захватывавшим душу чтением Пастернака, столь внутренне близкого Гамлету. Говорили, что незачем давать эту роль актеру и переодеть его — пусть Пастернак, оставаясь в своем пиджаке, и говорит слова Гамлета — это будет лучшим исполнением. Все остальное после чтения предстало в ином свете. Разговор принял неожиданный оборот, разгорелся ожесточенный спор, ругали Художественный Театр, тогда окончательно ставший официальным (многие мхатовцы присутствовали), как вспоминал отец, "даже такой почтенный человек, как Александр Николаевич Тихонов, сказал, что Художественный Театр ходит в одних подштанниках". Но, МХАТ принял к постановке Гамлета в переводе Пастернака. Ливанов, ставивший и игравший Гамлета, бывая у нас, много говорил о постановке. До нас доходили и рассказы о том, что Анна Радлова хотела бы, чтобы ставили ее перевод, и сама, кажется, приезжала по этому поводу к Борису Леонидовичу. В конце концов "Гамлет" был запрещен: говорили, что Ливанов на одном из приемов спросил у Сталина, как ему играть Гамлета, а тот ответил, что "Гамлет" нам вообще не нужен.

6

После вечера у Треневых рукопись перевода "Гамлета" оставалась у нас, помню, как за ней заходил Борис Леонидович. Другой раз какую-то рукопись (мне кажется, того же перевода) я должен был передать Борису Леонидовичу в Переделкине. Войдя в лесную калитку, я увидел его тут же — у колодца, он доставал воду. Взяв у меня сверток с рукописью, Пастернак положил его на землю у колодца. Уважение к искусству Пастернака мне было уже внушено в такой мере, что соседство рукописи и колодца меня угнетало. Борис Леонидович продолжал спокойно поднимать ведро, расспрашивая меня о газетных новостях. Это было начало сентября тридцать девятого года, первые дни мировой войны. Я рассказывал Борису Леонидовичу, что немцы подошли к Ченстохову. Газет он в то время не читал и радио не слушал.

В те годы меня занимала политика, я хорошо знал все, что писалось в газетах, и мог об этом толково рассказать — с рвением мальчишка, долго из-за болезни не ходившего в школу. Из наук меня одно время привлекала палеонтология. Как-то, когда Борис Леонидович (вместе со своим сыном Женей) был у нас на даче, он сказал мне, что, гуляя, нашел для меня аммонит (окаменелую раковину), которую спрятал у ручья. Я с интересом спросил его, где он нашел ее. Вопрос относился только к месту находки окаменелости, но он не понял этого, рассмеялся и сказал, обращаясь к взрослым: "Он думает, что я ему не отдам!" (кстати, потом Борис Леонидович забыл об этой раковине, я ее так и не увидел). Такое же сочетание сердечности с иронической (не всегда безошибочной) наблюдательностью, проявляющейся тут же, на месте, я замечал (по отношению к себе и другим) и позже: например, после того, как я (лет восемь спустя) впервые прочитал Борису Леонидовичу свои стихи (когда он был у нас в гостях) и он много сочувственно говорил о них, разговор перешел на другие темы, потом Борис Леонидович, посмотрев на меня, со смехом обратился к присутствующим: "А он думает, почему мы не о его стихах говорим?"

К годам перед самой войной относятся случайные обрывки воспоминаний: как-то днем, зайдя к Погодиным (жившим в нашем доме на Лаврушинском), я застал у них Бориса Леонидовича за обеденным столом, он оживленно разговаривал. Погодины принадлежали к тому же переделкинско-лаврушинскому кругу знакомств, но были самыми преуспевающими, тогда я слышал, что они и помогали Пастернакам во время нужды: давали займы деньги. Из

разговоров в Переделкине помню толки о том, что Борис Леонидович заболел радикулитом после того, как купался круглый год в ручье (впрочем, привычки к этим купаниям не оставил и после).

В феврале сорокового года Пастернаку исполнилось пятьдесят лет. Я должен был отнести ему на квартиру подарок — старую книгу — один из первых русских переводов "Гамлета" с длинной папиной надписью, под которой подписались все наше семейство. Дверь мне открыла Зинаида Николаевна, она занималась хозяйством (кажется, мыла пол). Зинаида Николаевна, взяла у меня книгу, сказала, что Бориса Леонидовича нет дома, что он вернется только вечером (дело было среди дня). Потом говорили, что он ушел (или сказался отсутствующим), потому что не хотел праздновать пятидесятилетие.

От мамы, с которой Борис Леонидович советовался по поводу своих домашних дел (мама рассказывала, что на следующий день после этого она получила от него корзину цветов), много позже я узнал, что незадолго до этого Борис Леонидович хотел переменить свою жизнь и даже уйти из дому (может быть, вернуться к Евгении Владимировне и выписать своих родителей из Англии), но все сложилось иначе, потому что родился Леня, а потом заболел старший сын Зинаиды Николаевны — Адик. Помню Новый год, который Борис Леонидович встречал у нас в Москве, — во время празднования пришло известие о рождении Лени.

Зиму перед войной Борис Леонидович проводил один в Переделкине. Как-то приехав на дачу из города, мои родители со мной вместе зашли к Борису Леонидовичу. В столовой на первом этаже Пастернак топил печку, нас поили чаем. Борис Леонидович рассказывал, что к нему приходил Фадеев, объяснял, как было дело, когда решали, кому дать ордена. Шел разговор о болезни Адика. Потом Борис Леонидович читал стихи, написанные незадолго до того — они вошли в книгу "На ранних поездках". Помню необычайный восторг моего отца по поводу этих стихов, которые он вспоминал по возвращении в Москву, говоря о том, какой великий поэт Пастернак и сопоставляя его с Тютчевым, Блоком.

В день начала войны меня послали на дачу к Пастернакам сказать, что они могут прийти послушать речь Молотова, безостановочно передававшуюся по радио (у них на даче радио не было). Они уже знали, что война началась, слушать радио им было незачем. Я застал у них Федина, который просил меня передать родителям, что, если они будут в Москве, он просит их позвонить Доре Сергеевне и сказать ей, что, по его мнению, Москву бомбить не будут. Я с развязанностью мальчишки, считающегося вундеркиндом во всем, что касалось газетных новостей, возразил, что это не так, что налеты на Москву будут. Константин Александрович повторил, что он просит передать Доре Сергеевне: Москву бомбить не будут. Федин уже тогда привыкал к двоедушию и обманам.

Писательских детей, в том числе нас с Мишей и маленького Леню Пастернака, увезли в эвакуацию в Татарию — в Берсут, оттуда в Чистополь. В Чистополе в сентябре в интернате писательских детей был устроен литературный вечер — встреча с Асеевым. Асеев с ужасом и возмущением говорил о том, что Пастернак в Москве стоит на крыше и ловит бомбы: "Это все равно, что поставить на крышу Леонардо да Винчи". Мой отец, вместе с Пастернаком и другими писателями, жившими на Лаврушинском, дежурил на крыше во время налетов и рассказывал мне потом, что его изумляла храбрость Бориса Леонидовича (то как он непринужденно разговаривал в своем духе, стоя на крыше и ловя зажигательные бомбы). О том же говорили и другие очевидцы (мне рассказывали, что из писателей, стоявших на крыше, смелостью отличались мой отец, Пастернак и Глебов, упомянутый в стихах Пастернака: "Я и Анатолий



Глебов"). Тогда же Борис Леонидович очень исправно проходил стрелковую подготовку.

Перед московской паникой в октябре сорок первого года писателей уволили в Чистополь (поездом до Казани и оттуда пароходом). Мама ехала в том же эшелоне, где были Пастернак и Ахматова. Мама рассказывала, как Борис Леонидович сказал Ахматовой, что он отдал ее письма (для сохранности, должно быть) перед отъездом своей знакомой (кажется, Екатерине Крашенинниковой).

Вскоре после маминого приезда в Чистополь мы получили от папы телеграмму: он уехал с Совинформбюро из Москвы в Куйбышев, мы должны были ехать к нему. Борис Леонидович в Чистополе зашел к нам проститься, посидел недолго, уходя, расцеловал на прощание Мишу и меня. Никто не знал, что нам предстоит.

Из Куйбышева мы переехали в Ташкент, где прожили весь сорок второй год. Приблизительно весной этого года (или в конце зимы) мои родители получили из Чистополя письмо от Бориса Леонидовича. Это большое письмо очень обрадовало папу и маму и очень им понравилось, его несколько раз читали вслух (в том числе приходившим в гости московским знакомым — В. Б. Шкловскому, бывшему в Ташкенте проездом из Алма-Аты, Корнелию Зелинскому, жившему в Ташкенте — о нем мне еще придется говорить). Как раз после того, как письмо по папиному предложению было прочитано Зелинскому, мама попросила больше его никому не читать, боясь, что могут возникнуть какие-нибудь кривотолки и осложнения. Я хорошо разбирал витиеватый почерк Бориса Леонидовича, поэтому должно быть, во время этих чтений вслух я дважды или трижды был чтецом и запомнил несколько фраз из него. Думаю, что маму в этом письме испугало замечание, относившееся к пьесе Алексея Толстого об Иване Грозном: Борис Леонидович, осуждая эту пьесу, писал, что ему надоела эта апологетика жестокости. Полностью это письмо приведено в воспоминаниях моей мамы. Здесь я напомним только эти строки: "из отчета Живова в "Лит(ературе) и иск(усстве)" (кто-то принес с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном... Все повесили головы, в каком-то отношении лично задеты. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так резко противопоставленных Толстым и Иванов и Курбских. Итак амфир всех царствований терпел человечность в разработке истории и должна была прийти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличиванием бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке!..." В том же письме Борис Леонидович писал, что он подумывает о том, чтобы переехать в Ташкент, где, как он знает, ему будут рады ("по-разному") Евгения Владимировна и Женя (поселившиеся к тому времени в одном доме с нами — в бывшем помещении Сельскохозяйственного банка, заселенном писателями и их семьями), мы и Погодины (Евгения Владимировна была удивлена этим сопоставлением)...

7

Переезд Бориса Леонидовича в Ташкент не состоялся, он остался в Чистополе. Рассказывали о его жизни там в отдельной маленькой комнатке, о его сближении с М. Петровых; позднее я узнал, что он читал там на вечерах свои переводы. Мы же вернулись в Москву и летом сорок третьего года собирались жить в Переделкине на даче у кого-нибудь из знакомых, потому что собственная дача сгорела — ее сожгли по неосторожности наши военные, кажется, девица, работавшая при штабе подразделения, которое стояло постоем в писательском городке. Телеграммой запросили Пастернаков, они ответили тоже теле-

граммой, из которой было видно, что они сами собираются вернуться в Москву и жить в Переделкине. Мы поселились на даче у Сейфуллиной — через одну дачу от нашей прежней, начали возделывать огород и сторожили от мальчишек клубнику, растущую на нашем собственном участке; на него грустно было смотреть, особенно папе: среди остатков нерастащенного на кирпичи фундамента валялись обгорелые книги огромной и замечательной библиотеки отца (в том числе невосполнимого собрания книг по истории православной церкви), погибшей при пожаре. На даче Пастернаков были выбиты стекла, пустые рамы были заклеены картинами отца Бориса Леонидовича — изображениями наружу. Вещи своего отца Борис Леонидович перед отъездом из Москвы частично поместил на сохранение к нам на дачу — по-видимому, весь этот сундук погиб во время пожара нашей дачи. Часть же полотен его отца была вывешена на поругание ветру и дождю. Когда мы проходили мимо дачи Бориса Леонидовича, папа каждый раз ужасался бесчинству наших военных, которые так поступили с картинами Пастернака-отца (именно в это время наши газеты проклинали фашистов за то, что они вытворяют с произведениями искусства). Папа говорил, что Борису Леонидовичу должно быть тяжело из-за этого приехать в Переделкино. В сторожке, где прежде жил сторож, служивший для Бориса Леонидовича воплощением русского народного характера, поселился вредный старик-кашка, который готовился в сорок первом году стать старостой у немцев. Он женился на молодухе — жене бывшего сторожа, ушедшего в армию, и очень не хотел возвращения хозяев дачи — чуть ли не собирался им писать подметные письма.

Я увидел Бориса Леонидовича впервые после эвакуации (вероятно, в конце весны) возле трамвайной остановки на Полянке. Я ехал в зал Чайковского смотреть ансамбль Моисеева; меня позвала Тата Сельвинская, с которой мы дружили с детства; по этому случаю я нарядился в костюм, как у взрослого, и надел галстук. Увидев меня в таком виде, Борис Леонидович радостно воскликнул: "Да это не Кома, а Петр Петрович Кончаловский!" Толстый мальчик, повзрослому одетый, видимо, напомнил ему грузного Петра Петровича.

В ту весну во всех трамваях и очередях в Москве можно было услышать, что немцы и мы готовимся к большому наступлению у Орла и Курска. Меня очень удивило то, что этот секрет, известный всем городским сплетникам и домохозяйкам, считался военной тайной не только тогда, но и до сих пор — мне приходилось много лет после войны читать о внезапности немецкого наступления под Орлом в газетной статье, написанной по случаю юбилея сражения.

Вскоре после начала курско-орловского сражения несколько писателей, среди них мой отец и Борис Леонидович, поехали на фронт; поездку устроил журналист Березовский, сын "писателя" (известного доносчика). Помню, как к даче Сейфуллиной, где мы жили, подъехал вездеход (по-моему, американского изготовления, как большинство военных машин, встречавшихся в Москве и под Москвой) и отец сел в него; потом он рассказывал, что он сидел (вроде как на корточках) рядом с местом около шофера, отведенным Серафимовичу (мест было меньше, чем писателей) и время от времени спрашивал того, как он себя чувствует; Серафимович каждый раз отвечал громким и бодрым голосом: "Отлично!"

После возвращения отец рассказывал, что, пока они ехали, его беспокоило, как Пастернака — сложного и отвлеченного поэта — примут на фронте. И вдруг в первый же вечер оказалось, что генералы и их жены, принимавшие у себя в гостях писателей, очарованы Пастернаком, его манерой говорить, поэтичностью его речи. Именно с ними он нашел общий язык.

Как-то, лет семь спустя, папа рассказал об этом, когда у нас на даче в гостях был Борис Леонидович. Тот с большим удовольствием стал вспоминать о

людях, которых они тогда встречали вместе на фронте. Тогда же, говоря о зареве, увиденном во время артиллерийского огня, Борис Леонидович сравнил его с брызнувшим во все стороны соком, который выдавливают из фруктов; такие сравнения, которыми изобилует речь Бориса Леонидовича, заставляют меня думать, что однообразное письмо (как и тяжеловесные, — перегруженные философскими символами размышления, в которые вплеталось самое обыденное просторечие) для него было естественным способом выражения, и более обычная, сдержанная манера изложения, ему не свойственная, давалась с большим трудом и была почти монашеским воздержанием или следствием внутреннего примирения с непониманием читателей, желанием во что бы то ни стало преодолеть это непонимание.

В папиных бумагах сохранялась страница с пометками Бориса Леонидовича, касавшихся подробностей сражений, происходивших у них на глазах.

В то лето, после возвращения писателей из поездки на фронт, я если и видел Бориса Леонидовича в Переделкине, то мельком, во время его редких выездов на дачу, где, сколько помню, в то лето поселился Ленечка с няней Марусей. Но слышал я о нем, потому что литературный мир, толки которого окружали мое отрочество, не переставал о нем судить и сплетничать. Эти пересуды я слышал с детства, запоминал их, как все, произошедшее тогда при мне, хотя чужие разговоры и не всегда влияли прямо на мое отношение к миру и людям. Я слышал не только хорошее, одни упрекали Бориса Леонидовича за излишнюю практичность, за то, что он знает, с кем надо водиться, чтобы знакомые помогли деньгами, другие сплетничали по поводу его влюбчивости и якобы часто сменявшихся увлечений; женщины, постоянно его окружавшие и очаровывавшиеся им, то сами судили, то оказывались предметом для сплетен; наконец, в то же лето я услышал впервые и один из неодобрительных пересказов разговора Пастернака со Сталиным о Мандельштаме, к которому я еще вернусь позднее.

Но именно в сорок третьем году я впервые сам стал думать о Пастернаке-поэте на свой лад и самостоятельно.

Весной сорок третьего года, в Ташкенте, поправляясь после тифа, когда мне даже в бреду мерещились какие-то собственные вирши, я вдруг на этажерке у своей кровати (меня во время болезни переложили в другую комнату, где лежали книги отца и сестры) нашел томик Блока (третью книгу стихов) и "Две книги" Пастернака. Два эти мира впервые начали приоткрываться мне, хотя настоящее знакомство с "Сестрой моей жизнью" еще предстояло в следующем году.

## 8

После того, как в конце лета сорок третьего года мы вернулись с дачи, возобновились московские встречи людей искусства у нас дома. На некоторых из них я уже мог присутствовать, и несколько записей того времени помогают мне восстановить обстоятельства и подробности речей Бориса Леонидовича с большей точностью.

Я думаю, что омерзение, естественно охватывающее каждого при мысли о тридцать седьмом годе и обо всем, что за ним следовало, может помешать понять тот духовный подъем, который после перелома в войне ощущали лучшие из знакомых мне людей поколения Бориса Леонидовича и моего отца. Эти люди начали складываться во времена юности доктора Живаго, когда, как хорошо сказано в романе Пастернака, открылись новые пути в русском искусстве, науке, религии, во всей российской судьбе и в каждой отдельной судьбе русского человека. Люди этого поколения пережили продолжение этого взлета в

семнадцатом году (особенно летом этого года) и медленное тление, а потом и умирание общества после. И впервые после стольких лет полного духовного застоя и безвыходности те немногие из них, кто остался в живых и сохранился внутренне, снова почувствовали намек на возвращение такого же общерусского подъема. В этом была прежде всего надежда на небесмысленность пролитой в войне крови, на прилив тех молодых, созидательных сил, которые всегда медленно продолжали свою работу — даже под толстой коркой льда.

Но этим настроениям, так отчетливо сказавшимся в заключительных главах того же романа Пастернака, отчасти способствовали и внешние обстоятельства, между прочим, и то, что власти временно вынуждены были пойти на небольшие уступки интеллигенции. В то время стихи Пастернака печатались в "Правде" (где еще в 1942 году, благодаря молодой корреспондентке из Ташкента — Фриде Вигдоровой, появилось и стихотворение Ахматовой) и в других газетах, в журналах можно было читать настоящие вещи. С одной из них — книгой Зоценко "Перед восходом солнца", печатание которой в "Октябре" было потом прервано властями и цензурой — для меня связаны первые впечатления — еще весной сорок третьего года, когда Зоценко читал нам эту книгу — об этой тонкой духовной жизни. Зоценко, вернувшись из эвакуации из Алма-Аты, на короткое время поселился в Москве.

Сразу же по приезде в Москву Зоценко поспешил познакомить писателей — своих друзей с большой новой вещью, которую он окончил в Алма-Ате.

Я присутствовал в мае 1943 года на первых чтениях книги Зоценко "Перед восходом солнца". Слушателями были жившие тогда в Москве (или оказавшиеся в ней в то время на пути в Ленинград из эвакуации) писатели — "Серапионовы братья" и их жены: мои родители, Федины, Слонимские. Первое чтение, как я убедился из сохранившейся в дневнике записи, состоялось 9 мая в номере гостиницы "Москва", в котором жил Зоценко. Я приведу эту короткую запись не меня сегодняшнего, а восьмиклассника, которому еще не исполнилось 15 лет:

"Зоценко читал нам отрывки из своего романа о поисках несчастного происшествия, испортившего ему жизнь. Маленькие новеллы, составляющие содержание первых двух отделов, вступление, первая глава — все это сделано с замечательным мастерством. Он верил в свое открытие фанатически, говорит даже, что занимался врачеванием. Он, по-видимому, весь ушел в эту книгу. Когда он объясняет ее содержание, сюжетное развитие перед чтением отрывков, он буквально повторяет выражения и фразы, которые потом читает".

Сколько я могу вспомнить сейчас тридцать пять лет спустя, и всему чтению, и отдельным открывкам Зоценко предпосылал подробное объяснение причин, по которым он написал книгу. Он считал очень важным, что ему на собственном примере удалось открыть, откуда происходит нестерпимая тоска, всю жизнь его преследовавшая. Он полагал, что сделанное им открытие поможет и всем другим людям, страдающим такую же тяжелой меланхолией.

Но вернусь к маю сорок третьего года. Из второй записи в своем дневнике я узнал, что следующее чтение состоялось через два дня 11 мая на квартире у Федина в доме писателей в Лаврушинском переулке. Здесь читались собственно научные части — те, что сравнительно недавно были напечатаны в "Звезде" как "Книга о разуме".

Я и сейчас, как много лет назад, продолжаю думать, что так же как некоторые из новелл книги принадлежат к шедеврам русской прозы, ее часть, касающаяся бессознательной памяти, еще найдет себе внимательных читателей, прежде всего среди тех, кто занимается символической — языком знаков бессознательного. Я пишу о книге Зоценко в главке своих очерков истории науки о знаках в нашей стране. И эту главку, посвященную развитию науки о бессозна-

тельном, я назвал "Перед восходом солнца". Но перед восходом солнца — это и была атмосфера тех лет, о которых я рассказываю.

В разгар войны эта атмосфера была много дальше от дешевого публицистического либеральничания и может быть именно в сорок третьем и сорок четвертом годах больше всего приблизилась к русской глубокой традиции девятнадцатого века. Поэтому я склонен именно общим духом тех лет объяснить зарождение замысла "Доктора Живаго"; между прочим, не равняя себя с теми, о ком пишу, и свою собственную духовную родословную, источник всего последующего я нахожу в том же времени. Мне не просто посчастливилось быть сыном своего отца и близко знать такого его друга, как Пастернак: мне довелось видеть их в пору, когда еще не растраченные душевные силы собирались снова, когда мерещилось или казалось явным продолжение давно прерванного писания всерьез. Для Пастернака таким продолжением потом и был его роман. Поэтому и дальнейшую связь своей жизни, во всяком случае биографических событий, с судьбой романа Пастернака считаю естественной.

Лучше всего общие чувства, охватывавшие людей, собиравшихся у нас в те годы, выразил сам Пастернак в тосте, сказанном им 24 февраля 1944 года (когда собрались в день рождения отца): "Я никогда не верил ни в четвертое измерение, ни в чертей. Но 1950 год — это и будут черги и четвертое измерение. Вопросы, важные для человека, подняты, но не решены — а кажется, будто они решены. Сейчас — вал между вставанием и решением. Мы как частицы в вихре". То же ощущение сквозит в его словах, записанных мной в конце октября 1944 года: "Я шел в метро, там пробивают проход между двумя выходами, и слышно, как капает вода. Это очень похоже на наше время".

На встречах того времени сами собой возникали и воспоминания о начале этого русского возрождения — еще перед первой мировой войной. Кажется, этот разговор начал мой отец, который любил вспоминать, сколько ярких художников, поэтов, ученых внезапно появилось именно в то время. Борис Леонидович радостно подхватил этот разговор, вспомнил о живописных направлениях 10-х годов, о "Бубновом валете", "Голубой розе", "Ослином хвосте" — "Все это было нужно". Он вовсе не говорил об этом, как о чем-то для него все еще длящемся, но в этом разговоре моего отца с ним отчетливо слышалась подспудная — и, может быть, не до конца осознанная для них самих — переключка того времени, о котором они вспоминали, с их собственными надеждами (недаром в бумагах отца сорок четвертого года я нашел запись о пробуждении, приходящем к человеку независимо от всего окружения, и о сокровищах, которые он нашел в себе — "война многому научила"). У Бориса Леонидовича такие чувства были уже в Чистополе — это видно и из того его письма в Ташкент моим родителям, которое я упоминал раньше.

Вернувшись из Чистополя, Борис Леонидович жил у Асмусов. Зимой сорок третьего-сорок четвертого годов он несколько раз приходил к нам вместе с ними. Он мимоходом упоминал о том, что обедает в театральной столовой (не то Дома актера, не то Дома работников искусств, не помню) и из разговоров в этой столовой черпает художественные новости. Как-то заговорили о только что открывшейся выставке в Третьяковке, где был триптих Корина на исторические сюжеты. Кажется, мой отец заметил, что триптих напоминает картины мюнхенской школы; Борис Леонидович живо откликнулся на это, сказав, что слышал уже о том же в своей столовой.

Разговоры Бориса Леонидовича в ту зиму вовсе не касались только надежд на будущее. Уже тогда он с горечью говорил об уступках, которые делались властям, как-то раз заметил: "Достаточно раз на всю жизнь затвердить несколько неправильных положений, чтобы жить этим всю жизнь". Уже начались снова гонения на некоторых писателей, в октябре 1943 года во время какого-то

из проработочных заседаний, кажется, Пастернак хотел прийти — выступить в защиту обвиняемого, но потом раздумал (из-за краткости полузашифрованной заметки в своей записной книжке не могу сейчас восстановить, о ком именно шла речь). Однажды, когда в гостях у нас был Пастернак, пришел Сельвинский — перед тем, как прийти к нам, он был у "трех толстяков" — Маленкова, Жданова и Щербакова, составляющих тогда триумvirат, правивший страной от имени Сталина. Три толстяка долго ругали его за стихи о России, о которых уже появилась злобная заметка в "Правде". Рассказывали, что на заседании Политбюро по поводу строчек "Грачей, разумных как крестьяне" (в перечислении того, что поэт любит родину), Калинин сказал: "Что я — грач?" Сельвинский вел себя мужественно и у нас был спокоен, хотя это давалось ему нелегко. Он читал стихи об Аджимушкае (очень понравившиеся присутствующему тогда же Кончаловскому) и второе стихотворение о России (где говорится о том, что Россия приглубит любого уroda). Когда он ушел, Борис Леонидович без восторга отозвался именно об этих стихах, но зато очень хвалил то первое стихотворение о России, из-за которого Сельвинский подвергался гонениям: "Конечно, не потому, что там обо мне говорится!" (имелось в виду четверостишие:

**Люблю прекрасный русский стих,  
Еще не понятый однако,  
И всех учителей моих  
От Пушкина до Пастернака;**

помню, с каким удовольствием об этом стихотворении говорил еще в Ташкенте мой отец, узнавший его от Зелинского; он тогда говорил, что должна была случиться война и все беды на фронте, чтобы Сельвинский мог его написать, запись об этом, кажется, есть и в ташкентских дневниках моего отца).

Неудовольствие по поводу стихотворения о мертвецах Аджимушка у Бориса Леонидовича было неслучайным. Более подробно о таком виде поэзии, появившемся во время войны, зашла речь у нас дома другой раз — в конце октября или начале ноября 1943 г. Перед этим примерно те же люди собирались у Надежды Алексеевны Пешковой, где читалась поэма о блокаде Ленинграда. У нас дома Надежда Алексеевна попросила Бориса Леонидовича сказать свое мнение о поэме (видимо, во время чтения он уклонился от высказываний). Он ответил, что подвижничество чуждо ему; что в поэме ему понравились аксессуары, очень важные в искусстве. "Героика лишения не может существовать. Мы устроены так, что требуем от искусства праздничного, украшения, дебри и чащи. Наглядная жизнь — вот что важно". Потом Пастернак говорил о тяге к реализму, о том, как ему хочется, чтобы "можно было б свободно писать яркие, красочные вещи из современной жизни. Жизнь сама по себе красочна, удивительна, потрясающа".



Евгений Канчуков

## ПОСТИЖЕНИЕ МЕТОДА, ИЛИ ОПЫТ НОВОЙ АНТИУТОПИИ

*Как каменный лес, онемело,  
Стоим мы на том рубеже,  
Где тело — как будто не тело,  
Где слово — не только не дело,  
Но даже не слово уже.*

А. ГАЛИЧ

### I. Вокруг да около.

Публикации знаменитых романов Е.Замятина, Д.Оруэлла и О.Хаксли ожидалось мало сказать с нетерпением — было здесь что-то от чувств куда более сложных и сильных, восходящих если и не к священному ужасу наших предков перед живым огнем, то уж во всяком случае к чему-то столь же исконному, способному пошатнуть самые основы нашей в ту пору уже, впрочем, довольно азартной жизни. Шутка сказать: классика антиутопии планировалась к изданию миллионными тиражами, притом широко анонсировалась, принималась к подписке и распространялась в розницу! Что-то непременно должно было перевернуться в мире от такого посева...

Антиутопия как таковая. Ничего, как водится, не перевернулось. Кажется, даже не подвинулось ни на йоту. Заметим только, что сама по себе ситуация неожиданно обнаружила признаки жанра, с которым связывали мы свои, увы, вполне утопические мечтания.

И едва только все это обнаружилось, в пору стало припомнить слова еще одного классика антиутопии, существовавшего, нужно сказать, абсолютно легально все эти годы, когда мы с вами задыхались от недостатка свободной мысли: "Обыкновенно думают, что от книг

переходят мысли в общество. Так! Но только те, которые нравятся обществу, не нравящиеся обществу мысли падают незамеченными. Большую часть книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляющихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе" (В.Ф.Одоевский).

Князь, живи он сейчас, среди "книг появляющихся", надо думать, числил бы и задержанную литературу. Во всяком случае закон, сформулированный им, оказался, вполне работает и применительно к ней. Ведь получив в качестве сильнодействующего лекарственного средства вышеозначенные сочинения, общество пока что обнаружило действительно слабую восприимчивость к интеллектуальному опыту, заложенному в них, хотя и довольно быстро среагировало на конъюнктурные возможности жанра как такового.

В принципе это нормально, ибо антиутопия (равно как и полярная ей утопия) в качестве материала пользуется концентрированной реальностью и только этим по существу отличается от общепризнанных до недавнего времени жанров, таких как "просто" роман, повесть, новелла и т.д. Поэтому детальный анализ двух небольших по объему повестей (А.Кабачков "Невозвращенец" и Вяч. Рыбаков "Не успеть"), напечатанных первоначально в журналах "Искусство кино"(1989, № 6) и "Нева"

(1989, № 12), и одной пьесы М.Веллера "Нежелательный вариант", опубликованной в эстонском молодежном журнале "Радуга" (1989, № 9), пусть и покажется кому-то, быть может, излишней честью для них, на деле, право, стоит того, чтоб его провести. Тем более, что даже беглого взгляда на эти произведения довольно, чтоб убедиться в необходимости разговора именно о новой антиутопии. Ведь, если классика жанра занималась исследованием общественной ситуации, пытаясь понять происходящее через возможные негативные последствия, то возрожденная антиутопия носит откровенно констатационный характер, ставя своей главной задачей — ожог читателя от соприкосновения со сгущенной реальностью. И, кстати, декларируется это вполне открыто.

"Надо создавать "учение до ошибок", — напишет, в частности, Вяч. Рыбаков. — Запрет на прикосновение к огню вырабатывается не только у того, кто обжегся сам, но и у того, кто видел, как обжегся кто-то"...

Мировоззрение такого рода сформировалось, конечно, не на пустом месте. Ему, например, совершенно очевидно предшествовала теория общественного спасения, названная "алармизмом" (от английского Alarm — переполох, тревога), яркими проповедниками которой и по сей день являются такие замечательные писатели как Алесь Адамович и Юрий Карякин.

Но главное все же в ином.

**Антиутопия и соцреализм.** Не раз уже было замечено, что, пользуясь теми или иными словами, мы часто не до конца понимаем, что они значат на самом деле. В числе таких слов понятий, без проникновения в суть которых, мы (теши́м себя), слава богу, прожили сколько-то там лет и, даст бог, проживем, что осталось, — среди таких слов, одно из первых и наиболее почетных мест должно бы занять слово "соцреализм".

Слыша и произнося его в самых нереальных сочетаниях мы полагали, что заявляем при этом особый метод работы с реальностью. Собственно, так оно и было, с той только оговоркой, что и сама социалистическая реальность, ставшая материалом для метода, вошла в него как основополагающая составная часть. Говоря так, я имею в виду ее собственную неадекватность действительной реальности.

Поэтому тонкость понятия "соцреализм" как раз и заключается в том, что с о ц и а л и с т и ч е с к и й метод изначально предполагал работу с о ц и а л и с т и ч е с к о й реальностью. То есть не с реальностью как таковой, а с представлениями о реальности, выработанными на основе властвующей идеологии.

Точка отсчета была незаметно и как-то очень естественно отнесена в сторону, так что художники даже "самые честные и талантливые" очень часто пускались в отсчет шагов к

своему "кладу" не от известного поворота в нашей истории (или какой-нибудь метки по-мельче), а от его отражения в специальном зеркале и получали, как следствие, не "клад", а только представления о нем, искренне радуясь при этом достигнутому, высверкивая горделиво-правительственными наградами и лауреатскими значками.

Конечно, каждый из нас вправе уверить себя, что уж к нему-то сказанное не имеет ни малейшего отношения, но в том-то и дело, что нормы не убежишь. Норма — это и есть мы, в данном случае — советский народ. Иначе говоря, это то, что худо-бедно объединяет всех нас, столь непохожих друг на друга, в некую этническую цельность.

Давайте посмотрим, например, как норма сказала на литературных исканиях последних лет, тем более, что такой разговор, по идее, как раз и должен вывести нас к новой антиутопии, весьма естественно закруглив таким образом подзатыннувшееся уже, пожалуй, отступление.

**О прошлом по имя будущего.** В качестве универсального критерия процессов, происходящих в литературе последних лет, чаще всего выдвигался литературный герой. Само собой разумеется, что и художники, хорошо осведомленные об этом, делали героя своей главной заботой, чтобы комар — носал...

Работа с героем шла не на уровне костяка (не говоря уж о более тонких материях), а именно на уровне внешнего облика. Труд литератора при этом неумолимо стал напоминать "работы по восстановлению (на основе скелетных остатков) внешнего облика ископаемых людей и ряда исторических личностей..." ("Советский энциклопедический словарь"), одно время проводимые в нашей культуре доктором исторических наук, лауреатом М.М.Герасимовым. С той только разницей, что для литературных героев, в отличие от антропологических, и костяки предусматривались типовые, отработанные до мельчайших косточек целыми поколениями разноталананных бойцов советского литературного фронта.

Кризис подошел к середине семидесятых. Кажется, одним из первых, кто открыто обозначил его, был В.Семенов, заметивший, в частности, столь очевидную вроде бы вещь как зависимость художника от строго определенной комбинации исходных данных, которой невозможно пренебречь так, чтобы это не сказалось на результате. Ю. Трифонов дал этой комбинации имя, назвав ее Временем. Дело осталось за малым: добраться до этой комбинации, рассмотреть Время, заблудливо скрытое под многими напластованиями, и "...худо-бедно, в меру своих сил — как-то выразить в книгах" (Ю. Трифонов).

Чуть раньше, впрочем, свою атаку на метод првел А. Битов, и хотя отечественному



читателю она, в целом оставалась неизвестной за отсутствием в те годы публикаций "Пушкинского дома", вспомнить о ней теперь, пожалуй, было бы уместно. Уже хотя бы потому, что А. Битов там был предельно точен в определении корней нашего (соцреалистического) существования, когда заметил, что все мы "...живем, превеличавая чужие чувства к себе и недооценивая свои, и время подступает к нам вплотную. Мы стоим супротив и отделяемся тем, что не видим на близкие расстояния. В будущем мы близоруки, в прошлом — дальноворки. Ах, выпишите мне очки для зрения с е й ч а с! — возопил он и тут же ответил себе — Таких нет".

Пока не оспаривая, заметим только, что после столь направленной атаки, метод, казалось бы, обречен, однако устоял, да еще и укрепился. И объяснить сей феномен с помощью одного только "закона кн. В. Ф. Одоевского", боюсь, не удастся. Конечно, общество конца 60-х, начала 70-х годов нашего века, наверное, было не слишком готово к "переходу" в него указанных мыслей, но дело-то еще и в том, на мой взгляд, что сами мысли, греша вроде бы против метода, на деле сохраняли его, ибо работали, снова-таки, не с понятиями, а с представлениями.

Философ Георг Зиммель, лет сто примерно назад, заметил, что "время есть жизнь, если оставить в стороне ее содержание". И хотя сказано это было совсем по другому поводу, что-то подобное хочется изречь и теперь, сталкиваясь тот тут, то там с понятием, "пушечным" когда-то с самыми благими намерениями и абсолютно бессмысленным сейчас, хотя и непрерывно повторяемым: время, время, время... Но дело-то в том, что не просто Время призван выразить художник в своих произведениях, но Будущее Время. Он должен суметь различить его в настоящем и указать таким образом путь для всех остальных.

Именно разрушение Будущего (читай: Веры) и было главным следствием повсеместного внедрения метода.

Вспомним мудрый (партийный) лозунг из романа Д. Оруэлла "1984": "Кто управляет прошлым, — гласил он, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым".

Глоток свободы конца 1950-х, начала 1960-х годов возродил в людях веру в настоящее, приоткрыв перед ними прошлое, что тотчас же привело к появлению будущего и в жизни, и в литературе. Но это было иллюзорное будущее, построенное на несколько перелицованных представлениях о настоящем.

Метод был сохранен и с течением времени снова дал плоды: вместе с верой в представление о настоящем из жизни (а значит и из литературы) улетучилось и будущее. Примерно в это же время критика вновь отпави-

лась на поиски положительного героя и чуть погодя обнаружила героя амбивалентного, главный признак которого (а он ясней всего различим, на мой взгляд, все-таки в героях Ю. Трифонова) и есть по существу отсутствие будущего. Все "кувыркания" по жизни этого героя напоминают полет бумажного змея, у которого вдруг лопнула ведущая его нить.

Спустя еще некоторое время будущее вновь появилось в поле, вначале, правда, лишь бокового зрения наших наиболее чутких литераторов. Было оно отнюдь не радужным и привело, как следствие, к росту эсхатологических настроений последнего десятилетия.

## II. Метод сохранен.

Хотя внешне все кажется совершенно наоборот. Чем больше всматриваешься, сопоставляя "старую" и "новую" антиутопии, тем больше обнаруживаешь между ними различий, имеющих подчас очень принципиальный характер.

Прежде за основу антиутопии неизменно закладывалась не просто реальность в ее негативных проявлениях, как это делается сегодня, но — господствующая в этой реальности социальная идея, которая формирует, по мнению художника, основные тенденции развития общества и таким образом — будущее. Теперь социальная идея остается за кадром, обнаруживая себя лишь изредка и в крайне опосредованном виде.

Авторов новой антиутопии все-таки больше интересуют следствия, чем причины. Точнее говоря, они рассматривают теперешние следствия вчерашних процессов в качестве причин вероятного будущего, полагая тем самым, что работают на уровне корней, тогда как реально это даже не ствол, а бог весть что: может быть ветки, а может быть уже сучья. Всерьез прогнозировать что-либо, отталкиваясь только от настоящего и выпустив при этом из поля зрения прошедшее, конечно, нельзя. Потому что это и будет утверждение метода.

Назначается конец света. Чтобы представить себе мир, построенный на этой основе, не обязательно располагать буйной фантазией. Собственно, единственное, в чем наши авторы так и не находят общего языка, это вероятность атомной войны. М. Веллер все же не отказывает в ней своим героям, представляя им разбираться в нынешних проблемах уже после того, как... Что же до А.Кабакова с Вяч.Рыбаковым, то они в названных повестях ограничиваются:

- первый — военным переворотом;
- второй — глубоким и всесторонним кризисом общества, усугубленным генетическими изменениями вида.

И то и другое, впрочем, думаю, совсем не принципиально для них, поскольку просто назначается в качестве исходных данных смоделированной ситуации. Говорю об этом столь уверенно, потому что в других случаях теми же авторами в качестве подобного же фатального перелома в жизни может назначаться и война (Вяч. Рыбаков. "Пришло время"), и просто фантазмагория (А.Кабаков. "Салон").

То же касается и сроков, когда предполагается очередной конец света, — они абсолютно условны и, если у А. Кабакова, назначены довольно твердо и недвусмысленно не позднее, чем на 1993 год ("...как Гюго прочитал, так и возникло желание..." — вставляет один из героев "Невозвращенца"), то в пьесе М.Веллера, например, они отнесены в более туманную перспективу, хотя с нынешней частотой проведения съездов лозунг "Решения XXXII съезда партии — в жизнь!", вывешенный в декорациях пьесы, вполне может означать не слишком и отдаленное будущее.

Столь же необязательны, на мой взгляд, (во всяком случае в своем подавляющем большинстве) и сами декорации, в которых разворачивается действие.

О пьесе М. Веллера в этой связи, пожалуй, вообще говорить не стоит, ибо всех декораций там, кроме упомянутого лозунга, — пыльные стены бункера да портрет вождя. А вот А. Кабаков и Вяч. Рыбаков здесь обстоятельны и подробно.

Подробности этих миров взяты, как уже сказано, главным образом из газет или, если авторы вдруг решатся настаивать на этом, тогда — из жизни, но на газетном уровне ее прочтения. Художественная деформация при этом, конечно, присутствует, но минимально и носит по преимуществу интонационный характер.

Так ироническая усмешка современного интеллектуала разбавляет у Вяч. Рыбакова впечатление от демонстрации с лозунгами: "Не позволим вбить клин между народом и партией, героически взявшей на себя ответственность за результаты своих действий и возглавившей процессы обновлений" Или: "Критикуя война, ты критикуешь всю армию! Критикуя всю армию, ты оскорбляешь память павших!"

Эта же усмешка без труда различима и в радиокомментариях, которые слушают герои "Невозвращенца" А.Кабакова и согласно которым, например: "...Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословивший своей последней бездарной книжонкой "Материк Сибирь" кровавый мятеж повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате, Владикавказе" и т. д.

И там, и тут (у А. Кабакова и Вяч. Рыбакова) образ мира лепится бесконечными скопле-

ниями людей, то загнанных в какие-то умопомрачительные очереди, то спущенных в запыленную, изгаженную "подземку", то выстроенных в колонну арестованных "третьим отделом первого направления Комиссии Народной безопасности Российского Союза Демократических партий", а то и захваченных в районе помойки в качестве заложников "организации Революционный Ка-амитет фундаменталистов Северной Персии", (чуть было не написал: Пресни — настолько необязательны здесь слова). И все это, добавим, накладывается на фон битых стекол, осыпавшейся штукатурки, грязи, блевотины, безобразной нечистоплотности человеческих отношений и прочего в том же духе.

Строго говоря, материалом, с которым работают авторы в этих случаях, становится все то, что обыкновенно называется мусором, все то, что вылезает наружу при сходе снегов и, в общем, легко подчищается на первом же коллективном субботнике. Вспомним М. М. Жванецкого, можно было бы сказать, что борьба здесь ведется с плесенью, а не с сыростью.

Однако есть тут одно очень серьезное "но", заставляющее вновь и вновь возвращаться к нему. Дело в том, что все они написаны интеллектуалами (это абсолютно очевидно), и оттого их явно фельетонный облик не может нестораживать. Как-то не хочется верить в то, что "пострадать" да "позубоскалить" и было предельными задачами, которые ставили перед собой, пусть и весьма насмешливые умы наших современников. Поэтому воздержимся от успешных выводов (в свою очередь утверждающих метод).

**Явление героя.** Конечно, авторы далеко не всегда ограничиваются просто изображением "мира зла". Время от времени в этом мире кто-нибудь непременно произносит тот самый вопрос "почему?", который вроде бы и должен увести нас вглубь, вслед за героями, пробующими на него ответить. Но те ответы, которые мы получаем от героев, по сути не проясняют ситуацию, хотя и выглядят чуть ли не сокрушающими основы.

"... У вас был шанс, — выставляет, к примеру, свои претензии правительству Памятливый в пьесе М. Веллера. — Вы им не воспользовались. У вас был шанс в начале восьмидесятых. Все могло быть иначе. И ведь вам поверили, поверили! Кооперативы создали, фермы, парламент, по крохам начали жизнь создавать. Но вы и это сломали, и это обманули. А вот теперь мы пожинаем результат".

На что правительство в лице Патрбосса незамедлительно и без раздумий отвечает огулшительной тирадой: "Это такие горлопаны и экстремисты, как вы, все погубили! Вам говорили — не орите! Говорили — не митингуйте! Говорили — не торопитесь! А вы?! Скорей, сейчас! Все мало, давайте больше! А в резуль-

тате эти гориллы (кивает на генерала) подгребли все под себя..."

Подобная словесная перепалка (кстати, очень похоже повторенная и в "Невозвращенце" А. Кабакова) напоминает вполне "реальную", однажды случившуюся в знаменитой булгаковской квартире "50", где Бегемот, помнится, встречал пальбой из браунинга представителей известного ведомства. Там, впрочем, никто не пострадал, поскольку простые пули для нечисти безобидны, а сам кот проявил тогда несвойственную ему гуманность, отвечая на них холостыми выстрелами.

Вот и с героями новой антиутопии происходит что-то подобное: при замечательной поставленной пиротехнике ни малейшего ущерба никому не причиняется. Мысли их так и остаются сами по себе — мыслями, фразы — только фразами, поступки — всего лишь поступками, не выстраиваясь в логику действия (разве что случайно).

Похоже, это хорошо чувствуют и авторы. Во всяком случае именно пустотелость героя вольно или невольно занимает одно из центральных мест в этих произведениях, а иногда даже становится доступной пониманию самих героев.

"... Эти объятия были как бы обман, имитация, — будет страдать от нее герой Вяч. Рыбакова в интимной ситуации, — они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл — и не давали ее; и потому как бы samozабвенно ни распаивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощутив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, не защищающая нежность — я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня".

Герой А. Кабакова идет еще дальше, замечая не просто пустотелость в своей напарнице по путешествию через Москву образца 1993 года, но, как бы это сказать... моральную безынерционность ее, что ли.

"Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... — обратит он на эту безынерционность внимание читателя и тут же пожмет плечами, не настаивая на значительности этого наблюдения, — хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между ними не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки".

Сама по себе безынерционность такого рода давно и подробно анализируется в мировой литературе, в том числе и в "старых" антиутопиях, с которыми герои "новых" не очень знакомы. В противном случае они бы знали

совершенно твердо, что "прежние" понятия исчезают из сознания людей не сами по себе и, уж абсолютно точно, не потому, что "эти понятия и прежде были им не слишком близки". Заблуждение такое вызвано, видимо, не совсем точным представлением героев о разнице между "прежним" и "нынешним". Тогда как величина ее давно определена и составляет ни много ни мало — личность человека, его, если хотите, идеальную сущность или, по определению Е.Замятина, — корень квадратный из -1. И вопросы, связанные с методами формовки и деформации личности, стали основой уже не одного и не двух произведений, а целых литературных направлений, чтоб не сказать: всей литературы XX века.

Не знать об этом позволительно героям будущего "мира зла", где победило тоталитарное государство и значит, в общем, уже решена проблема чистки мозгов и душ, но проходить мимо этого героям, явившимся в новомир из иного, много более свободного (А. Кабаков), или героям, усвоившим интеллектуальный опыт великих мира сего, в частности А.Солженицына (Вяч. Рыбаков), в высшей мере странно, настолько, что, нет-нет, да и появляется временами ощущение в неслучайности подобной слепоты героев.

Это важно. Подтверждение ощущения будет означать сохранность метода или, говоря иначе, — определенную абберацию зрения самих авторов.

Читатель уже заметил, по-видимому, что рассуждения о мире новой антиутопии привели нас к рассуждениям о человеке в этом мире и, стало быть, следующий шаг, который углубляясь, нам предстоит сделать, теперь, должен перевести нас во внутренний мир его.

Что там внутри? Разговор о человеческой сущности — это в конце концов разговор об идеалах. Или, если стремиться к еще большей точности в определениях, разговор о противостоянии "внутри" и "снаружи" — идеального и реального миров, поскольку главное, что связывает их между собой, и есть человеческая личность.

Идеалов как таковых в произведениях М. Веллера, А. Кабакова, Вяч. Рыбакова мы не обнаружим. Не скажу, что герои их совсем уж отпетые циники. Нет, но то, что сами они, возможно, и сочли бы своими идеалами, на деле всего только жалкий атавизм, остатки былой силы человеческих чувств, желаний и веры.

Любовь, то самое чувство, которое неизменно спасало героев "старых" антиутопий, выводя тех из-под "благодетельного ига Государства" (Е. Замятин), иногда даже возвышая, уже никому из них не способна помочь.

Горько и обреченно усмехнется герой А. Кабакова, заглянув в подвешенные зажималкой непроницаемые глаза героини.

Из всех чувств, которых сможет добудить-ся в Глебе Пойманове — герое Вяч. Рыбакова, его Мария Магдалина по имени Тоня, только и будут жалость того к самому себе и выстроенное на этой основе сострадание к жизни героини.

Но за плечами главных героев и А. Кабакова, и Вяч. Рыбакова — не такое уж и выжженное поле. Там — семья, жены, которые, к слову, и составят в конечном счете основную их заботу, когда придет время делать выбор, решая вопрос, как жить дальше? Куда только и денутся любовь, смятение души и проч.

Нет, право же, в этом ряду более симпатичными кажутся Рокер с Девницей из пьесы М. Веллера, требующие по принципиальным соображениям выпустить их из бункера в радиоактивный мир.

"Слушай, рвем отсюда, — скажет Девница Рокеру. — Команда такая дерьмовая, и трахаться я при них не хочу, они все старые и слюни пускают". Исполать!

Герои же А. Кабакова и Вяч. Рыбакова, как уже сказано, делая выбор, вроде бы предпочитают семью. Однако и здесь все происходит понарошку как-то, кукольно. Признаться, совсем неочевидна нужда перемены в "Невозвращенце" традиционного по своей сути тепла домашнего очага (жена с английским романом и стаканом чая с молоком) на ту персональную революционную борьбу, которую затевает в финале повести герой. И которая, будь она трижды прогрессивной, заведомо ничего не построит, а будет только рушить, рушить и еще раз рушить — во имя идеалов, разумеется, не замечая, что их уже давно нет.

Однако, что же это за цель, которая якобы оправдывает идеалы?

**Аллегория.** Мы не случайно заговорили о цели, только добравшись до внутреннего мира героев. Во имя него, собственно, и затевают в конечном счете свои эксперименты авторы новой антиутопии. Но то ли для самих авторов цель этих экспериментов не до конца ясна, то ли сказывается, опять-таки метод — выучка работать по вторичному признаку, то ли цель сама по себе занимает авторов в более локальном, чем, положим, того хотелось, объеме, или дают себя знать многолетние эзоповы традиции нашей литературы — бог весть. Только как бы то ни было, а на лицо здесь совершенно очевидное желание избежать открытого разговора о вещах и о р м а л ь н ы х для всех нас и оттого, вероятно, мало кого способных заинтересовать без пряных приправ, которыми и пользуются наши авторы, и которые мы, не разделяя их сейчас на конкретные литературные приемы, обозначим одним словом "аллегория", имея в виду его главное значение — иносказание.

Различить основу этих иносказаний вовсе не трудно. Во всех трех случаях, взятых нами в

качестве примеров, это главное, в общем-то, идентично и связано напрямую с идеей ухода человека от мира (правда, безо всяких сакральных прочтений) и от самого себя. Другими словами, герой новой антиутопии — это человек, затерянный в мире, человек, никому не нужный, кроме специальных ведомств, но главное, это человек, который уже и сам ни в ком не нуждается.

Пьеса М. Веллера, в отличие от повестей А. Кабакова и Вяч. Рыбакова, на первый взгляд, кажется, не стыкуется с таким определением, хотя бы потому, что фактически не имеет главного героя. Однако на самом деле герой такой в ней есть, во всяком случае место для него заготовлено, и место это занимает читатель или зритель, проявивший интерес к написанному, то есть мы с вами, сколь бы нежелательным вариантом нам это не представлялось.

Здесь самое время заметить, что и авторы новой антиутопии тоже ведь из "нас с вами", ибо даже располагая особым талантом формирования иной реальности, влияния реальности существующей они едва ли способны избежать, что и подтверждают в конце концов их произведения.

Оттого, думаю, столь часты и очевидны в текстах совпадения не только на уровне ощущений и мыслей, но и на уровне сюжетных ходов, ведь выхоленные понятия не имеют достаточного количества степеней свободы, чтоб обеспечить разнообразие даже для собственного использования.

Вот и садятся друг за дружкой герои и героини повестей на скамейки в загаженных сквериках (эзрац природы), вот и тянутся, как заведенные, руки героев под кофточку ли, под юбки ли героинь (эзрац любви), вот и относятся герои к своим женам, как к мебели, которую в зависимости от ситуации можно переставлять в более или менее подходящие места (эзрац семьи), вот и нет в их мирах детей, а если и есть, то будущее все равно никак с ними не связывается, соотносаясь только с персональным "я" героев (эзрац личности), при которых, возможно, в свою очередь найдутся места и для близких.

А над всем этим — обобщающим законом — изолгавшееся государство, все еще продолжающее уничтожать своих подданных физически, нравственно, интеллектуально, уничтожая таким образом себя, долдона на новоязе Партбосса из пьесы М. Веллера что-то странно знакомое нашему слуху: "Честно признаем трудности. Смотрим в лицо. Улучшение зависит от нас. Не только — дисциплина, но — обаяны. Труд, дисциплина, единство. Консолидировать усилия. Под руководством твердо идти по намеченному пути. Решительно отметить. Свободно, по деловому обсудим..." и т. д.

Таким образом разрушается, наконец, и последнее наше, исконно-русское прибежище: вера в доброго царя (эраза Веры), которого-де наперебой обманывают корыстолюбцы-придворные.

В пьесе М. Веллера народ добирается-таки со своими болями до этого царя, то бишь Партбосса. "Воздухом нельзя дышать, — жалуется он царю, — воду нельзя пить, нельзя купаться — даже тараканы в ней дохнут, когда же будут фильтры, безотходная технология, ведь выйдем же!" — кричит он уже в голос, не в силах удерживаться. А в ответ слышит все то же, твердее на одной ноте: "Дополнительные очистные сооружения. Повышения штрафов предприятиям. Санитарные зоны. Строго наказывать злостных ответственных. Но выравниваться, улучшаться..." и проч., проч.

**Новомир.** Авторы новой антиутопии действительно знают и понимают очень многое. И то, что они проделывают с идеалами, изымая из них последнее содержание (которое все же пока еще можно найти в нынешнем мире), лишний раз обнаруживает крепкую интеллектуальную выучку. Ведь, разрушая идеалы, они тем самым разрушают иной, выдуманный мир, который долгое время был прибежищем литературных (и не только) героев прошлого, даря им надежду на обретение покоя или на крайний случай попросту разумного существования еще в этой, дозагробной жизни.

Вспомним, такая отдушина непременно была в каждой из старых антиутопий. Даже герой Е. Замятина обрел ее в предельно рационализированном мире, куда, уж наверное, казалось, поэзия просочиться не сумеет. И однако же это случилось, позволив герою, вдруг отстранившись от самого себя государственного, понять, что кроме привычного для него, математически расчисленного значения понятия "Мы", есть и другое, абсолютно недоступное до определенного момента, но совершенно необходимое в жизни, — половина, без которой он не человек.

"Тут я увидел, — расскажет он нам в своем дневнике, — у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни... полынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь..."

Иной мир, пусть даже выдуманный самим героем, пусть даже Божий мир — всегда был и остается необходимым элементом, без которого возвращение героя в человеческое состояние попросту невозможно. Этот мир дает человеку возможность освобождения и осознания собственного угнетенного состояния, без чего восстановление нормы немислимо. Это еще не выход, быть может, — только промельк све-

та в кромешной тьме, но промельк этот дорого стоит, ибо он обнаруживает тьму, а это уже в свою очередь — первый шаг к возможному спасению.

Авторы новой антиутопии, уничтожив иной мир, похоже, даже не заметили, что тем самым лишили героя не только надежды на спасение, но изъяли из его мира само спасение как таковое. Разрушая существующие представления о мире, обнаруживая перед нами их действительную пустотность, авторы не почувствовали, что одно из таких представлений, оказывается, и было сутью. Метод, как видим, сработал исправно, обеспечив нечувствительность к действительной реальности, к ее истинным ценностям.

Суть же, по-видимому, заключается в том, что любая сколь угодно мрачная антиутопия (а вместе с ней и наши представления о мире) всегда содержит в себе утопическое зерно, драгоценность которого она и призвана утвердить в конце концов, пусть иносказательно, но сообщив тем самым всему остальному миру, что "выход с другой стороны".

### III. Другая сторона.

Нечувствительность к этой истине — проблема не только литературы, но и нашей сегодняшней жизни. Мы, кажется, слишком охотно уничтожаем в себе всякие признаки бывлой иррациональности, взамен проповедуя трезвое отношение к действительности, и, конечно же, мало задумываемся при этом, что таким образом опять создаем модель мира, которая на самом деле уже отработана старой антиутопией и может обеспечить нам только еще более беспросветное существование.

Все это происходит оттого, что и сами понятия рациональности и иррациональности, во имя которых и против которых мы ведем ныне борьбу, сформированы в нас не сегодня и по сути своей являются такими же представлениями о мире как и многие, многие другие, привитые нам за последние десятилетия. Это ведь еще в начале века было подчеркнуто: "поколение людей живет обычно не той философией, которую оно породило, а той, которую создала предшествующая эпоха" (А. Швейцер).

Выход. Самый безнадежный, казалось бы, финал происходящего рисует в своей пьесе М. Веллер. Правительство там улачивает-таки минуточку и сбегает от своего народа в особо оборудованный бункер, но поскольку — ясно же! — что "особо оборудовал" его все тот же народ, то и оказывается в итоге, что лучше бы оно воздержалось от этого.

"... Там что, думаешь, кислород? — засмеется Работяга, гася всеобщее возмущение оставшихся.— Ага. Мы на станцию поехали вы-

грузать, открываем вагон, а там баллоны — с углекислотой для автоматов воды, понял? Ну, что делать? А старшина наш говорит: давай, закрасивай это все на хрен, и пиши — кислород. Ну и что — закрасили, написали..." Это и есть — метод в действии, правда, на материальном уровне.

Хотя финал пьесы М. Веллера, нужно сказать, вполне традиционен. Говоря так, я, конечно, прежде всего имею в виду традиции той части нашей литературы, которая больше предпочитала ставить вопросы (или как еще модно было говорить одно время: ставить диагноз), чем искать на них ответы.

Долгое время предполагалось, что после верно поставленного и оглашенного диагноза народ-то, уж наверное, спохватится, ужаснется содеянному и переделает все по уму.

Предполагалось, нужно сказать, еще в пушкинские времена, предполагается и теперь.

Финал такого рода, я думаю, самый неуязвимый из всех предложенных в новой антиутопии, но и самый бесполезный одновременно, ибо выходом не является. Это нарисованная дверь.

Совершенно иначе, похоже, мыслят себе выходы из сложившихся ситуаций А. Кабаков и Вяч. Рыбаков. Их варианты в известной степени полярны друг другу.

Герой А. Кабакова предпочитает противодействовать насилию и оттого, когда в будущем, куда он сбегит с супругой, ему навстречу медленно выедет из-за поворота разбитый "Жигуль" с представителями органов госбезопасности, прибывшими по его душу, он, не задумываясь, толкнет жену в какую-то нишу в стене и рухнет с ней рядом, "уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый", мысленно заметив для нас с вами: "Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле".

Герой же Вяч. Рыбакова, напротив, пытается поторгаться со сходными представителями тех же органов, проторговался, а когда те, усевшись в казенную "Волгу", оставили его, не выдержал и устроил совершенно недостойную сцену.

"— Стойте! — кричал я. — Ну стойте же! Я никуда не хочу!. Они же (семья. — Е. К.) пропадут без меня, пропадут!...(…) Вылечите меня!!!"

Однако все уже напрасно, ибо т е решения не изменят. "Раскачиваясь и скрежеща рессорами на песчаных ухабах проселка государство уехало от меня, — расскажет герой. — Само. Осела пыль. Задыхаясь я остановился. Цвела сирень".

Последнее, впрочем, по сюжету — еще отнюдь не знак возрождения человека, освобожденного от государственного гнета.

Оба финала, как видим, правдивы или — скажем пока осторожней — достоверны, и оба,

опять же, для собственного предвидения не требуют особой фантазии. А главное, ни тот, ни другой финалы по сути своей выходами тоже не являются. Авторы в них попросту отмечают предельно возможные формы взаимоотношений личности и государства, справедливо усматривая именно в таком противоположении (личность-государство) корень всех бед, однако при том не затрудняют себя хотя бы примерной проработкой возможных последствий предлагаемой развязки. Между тем как именно это и есть в данном случае основа основ — действительный разговор о будущем — тогда как все остальное — только работа по вторичному признаку, разговор о настоящем, о том, что мы у ж е имеем, благодаря всеобщей покорности методу и от чего вроде бы срочно нужно уходить, но как? и куда?

**Терапия или хирургия?** Личность неотделима от государства. Это заметил еще Платон, сказав: "Нет царя, что не произошел бы от раба, и нет раба не царского рода". Сенека, вслед за ним размышляя о природе вещей, обнаружил, что "... каждая состоит из того, что ее создало, и того, из чего она создана". Государство поэтому, будучи изначально лишь умозрительной схемой, как "вещь", состоит только из того, что его создало, то есть из нас с вами, читатель, и только из нас с вами.

Этого, кажется, и не понимают авторы новой антиутопии в отличие от классиков этого жанра. Заметим, что прежде главная задача героя в конечном счете сводилась к тому, чтобы "выдаться в человека" (Ф. М. Достоевский). Герой стремился переделать себя, а теперь он стремится переделать общество, чтобы зажить по-человечески. Чувствуете разницу? Это и есть работа метода, переставившего все с ног на голову.

Оттого и не устраивают героя медленные преобразования, что результаты их, весьма вероятно, не будут ему доступны, хотя сам он себе, конечно, не признается в этом. Но очень хочется, чтобы все, происходящее сегодня, миновало как можно скорее, и оттого терапия в лечении социальных недугов кажется совершенно неподходящим методом. Требуется революция, быстрые методы лечения и, стало быть, — хирургия.

Одно из основных внутренних противоречий повести А. Кабакова, на мой взгляд, как раз и состоит в том, что вкладывая в уста "экстраполятора с той стороны" (т.е. из будущего) монолог, полный горечи и раздражения, идущих от безнадежности перспектив процессов развернувшихся в обществе после хирургического вмешательства, сам автор последовательно пробует усилить это ощущение безысходности, педалируя непримиримость позиции, которую отстаивает герой повести, экстраполятор уже с "нашей" стороны.

Вот и получается, что с "той" стороны мы выслушиваем пламенный, чуть не чаадаевский по интонации, монолог "ночного барина", внушающего: "Да не нужна социальная хирургия, зарубите вы это на своем общероссийском носу картошкой! Черт вас раздерет, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас "воронки" по ночам ездят?.." и т.д.

А с "нашей" стороны, мы же, спокойно объясняем, сворачивая самокрутку при этом и пребывая в полной уверенности относительно собственной непогрешимости: "...Извольте: мы начали лечение. Длительный сложный курс терапии. Но последовательности не хватило. А в девяносто втором — метастаз: его превосходителство генерал Панаев. Это — верная смерть. Что же — прикажете ждать, пока этот рак страны сожрет? Или все же хирургия?"

А чтобы у любезных современников исчезли последние сомнения относительно происходящего с "нашей" стороны, в книжном варианте повести, сравнительно с только что процитированным журнальным, А. Кабаков еще более ужесточает позицию своего героя с "говорящим" отчеством: Юрий Ильич.

Внутренняя логика вроде бы доказывает последовательность в постановке авторской позиции, а выбор жанра (анти-утопия), кажется, однозначно подтверждает то, что позицию героя, благодаря которой и установилась соответствующая социальная обстановка, автор ни в коем случае не разделяет.

Но сила-то метода в том и состоит, что действует он бессознательно. Так и А. Кабаков, умом вроде бы понимая, что ничего хорошего в стране, подобной нашей, хирургия принести не может, устами героя декларирует преимущества терапии, но всем ходом сюжетного развития при этом неуклонно подтверждает все то же страстное желание "скорого подвига" (Ф. М. Достоевский). Ведь сам Юрий Ильич, герой-нрвозвращенец, опять-таки не слишком озабочен собственным совершенствованием, но способен живот положить на передку общества. И уж совершенно замечательно, что для исполнения своей миссии, он отправляется не в прошлое, не к истокам, как того требует элементарная логика, да и традиции путешествий во времени, которых, ой сколько уже состоялось в литературе, но в будущее, тоже полагая, по-видимому, что с плесенью бороться много проще, чем с сыростью.

Выход из... Схема построения рассмотренных нами произведений, в сущности, одна и та

же. Это разобранные матрешки, в их пустотелый мир помещен человек с полной душой, который вечно желает добра и вечно совершает зло, сколь бы, может быть, его авторам не хотелось обратного.

Старые люди, наверное бы, сказали, что в этих произведениях нет Бога, мы заметили чуть выше по тексту, что в них нет утопии, как выражения позитивного, созидющего начала. Но самое печальное, как выяснилось, то, что подобного начала, видимо, нет не только внутри героев этих произведений, но и у авторов. А при его отсутствии, естественно, ни о каком будущем речи вести нет смысла. Можно было бы говорить о настоящем, но ведь оно суть будущее, наплывающее на нас, и значит с ним, тоже получаются нелады: коль нет будущего, откуда взяться осмысленному настоящему?

Так обесмысливается ближайшее, а потом и более отдаленное прошлое, так подгнивают корни, так человек превращается в перекати-поле, то есть по существу расчеловечивается.

Это и есть следствия метода, взятые в натуральную величину. И выход из подобного круга только один — возвращение к идеалам. Сколь бы порочным нам не казался по нынешним временам и воззрениям этот путь — он все же единственно возможный.

Сегодня нами выведены до скорлупы и опорожены самые светлые идеалы, и мы теперь уже готовы отказаться от них, тогда как на самом-то деле собственно идеалы к нашей жизни уже давно не имеют ни малейшего отношения, а мы уже давно имеем дело не с ними, а с представлениями о них. Метод, как видим, функционирует, увы, по-прежнему исправно.

И, может быть, самая главная и самая страшная иллюзия, порожденная им, связана с мыслью о том, что спастись можно, пройдя через холодное пламя антиутопии, констатирующей полное разложение общества. Едва ли...

Истинный выход, похоже, расположен в диаметрально противоположной стороне. Что там? Конечно, утопия. Но не утопия состояния: каким прекрасным-де будет наш мир спустя сколько там еще десятилетий, веков или тысячелетий, — а утопия пути, идеальная (пусть и неосуществляемая в полной мере) модель целесообразного движения к восстановленному идеалу. Только такая утопия, кажется, способна сформировать достойное будущее и помочь обрести самих себя в человеческих границах.

... Мы даже представить себе пока не способны, как это трудно.

*Н. Старцева*

## ДУША — ЗАПОВЕДНИК СВОБОДЫ

Удивительное — рядом. Вот взять прозаика Наталью Суханову. Издает свои произведения не в одном-двух издательствах, где, придясь ко двору, закрепились бы, — а все разброс. То в "Молодой гвардии", то в "Советской России", то в Ростовском книгоиздате, то в "Современнике", а вот как-то и "Ардис" оповестил, что взяла в сборник ее рассказ в числе других. Так же и с журналами. Небывалое дело, чтобы писатель тиснул рассказ в "Нашем современнике", а потом был бы обласкан "Новым миром" и "Октябрем". Но факт.

Другой вопрос. В. Астафьев, предваряя сухановский рассказ "Целос" в "Новом мире", уважил то его достоинство, что он написан "не по-бабьи". Однако же не рискнул утверждать, скажем, что он написан "по-мужски". Куда же нам отнести прозаика Суханову по этой ненаучной, но живучей классификации?

Непонятно и третье. Во времена "застоя" Н. Суханова издавала книги в столице с интервалом в пять и восемь лет, однако и новая ее книга "Зал ожидания", выпущенная недавно "Современником", отделена от предыдущей шестью годами, а от "современниковской" же "Кадрили" четырнадцатью. Какой же, в таком случае, эпохи этот писатель, почему никто не стремится приписать его к своим стройным рядам?

И далее загадка. Во времена небывалой актуализации литературы три толстых московских журнала один за другим публикуют рассказы Сухановой о каких-то тихих вечных делах вроде рождения и смерти, по стилю скрупулезно "несовременные", по фону архаичные,

из времен 50-х и 60-х годов, да и это, собственно, не важно.

Есть ответ возвышенный и соблазнительный. Мол, так хорошо пишет Суханова, что над барьерами, над тенденциями, выше вкусовых пристрастий. А есть ответ грубый и будничнейший. При нашей литературной иерархии, когда творцы разделены по территориальному (столица — периферия), половому ("по-мужски" или "по-женски"), административному (секретарь — не секретарь), конъюнктурному (актуально — не актуально) и клановому ("наш" — "ихний"), признакам — Суханова набрала наименьшее число очков. Живет не в столице, а в Ростове-на-Дону. Родилась и выражает себя как женщина. Никогда не была в писательской администрации. В упор не видит злободневных тем. Имея и не скрывая свою политическую и мировоззренческую позицию, не встроена ни в одну писательскую "обойму".

Выпустила в общей сложности дюжину книг, и тем не менее каждая московская выходит будто случайно. С одной стороны, редакторы фильтруются за пятилетки между книгами, тихое провинциальное имя мало им говорит. С другой стороны, тексты таковы, что ясно: нравится или не нравится, актуально или не актуально, а не печатать — нельзя, это проза. Это есть проза.

"Наш современник" очень смешно обманулся с рассказом "Марьиная ночь" (он входит в книжку "Зал ожидания"). Он напечатал его под названием "Выездная сессия" в разделе очерка и публицистики, презрев то обстоятельство, что наличествуют все признаки и особенности жанра рассказа. Особая достоверность изображения, точнейшее воссоздание чувственной реакции на любое явление, вводимое в повествование, очевидно, при быстротечении создали иллюзию фотографической правды. Хотя, скорее, журнал таким перемещением "снял" остроту обобщения, перевел описанное в разряд частных случаев.

В "Марьиной ночи" героиня-рассказчица, молодой адвокат, вспоминает случай из практики, процесс в связи с деревенским криминальным абортom, причиной смерти трудяги Марии, матери пятерых детей. Во время нехитрого разбирательства ничего не утывает ни обвиняемая, ни муж умершей, ни свидетели. "Все виноваты, все потерпели", — что еще можно сказать о людях, обреченных жить в бедности и лишениях, в скупости духа. Винница смерти Марии, такая же трудяга, — тоже жертва в этой жизни. Будь в рассказе лишь этот план, он уже состоялся бы. Но сдержанное и точное повествование о простодушных виновных-жертвах сопрягается с лиричным



мироощущением рассказчицы, с нежным сюжетом луны и весенней ночи, и возникает неясная боль о вечном обмене жизни, которая манит обещанием счастья и не дает его.

Из-за того, что в произведениях Н. Сухановой всегда есть второй план, более высокая ступень обобщения, "социальное" как бы отодвигается, становится фоном, теми или иными, кем-то (жизнью?) изначально заданными временем, местом и обстоятельствами. Н. Суханова не подвергает их сомнению и не посягает судить. Они — есть. Социально-историческое, конечно, определяет поведение и характеры сухановских героев, но это далеко не главное для автора, в отличие от большинства современных писателей. Найди для себя этот масштаб отношений изображаемых явлений и событий, писательница вводит в литературу такие пласты жизни, куда либо вообще не вторгались, либо затрагивали их по касательной, поверхностно.

Она имеет смелость быть в прозе женщиной. Суханова смеет рассказывать о святая святых — зарождении и рождении человеческой жизни. Она с тонкостью и целомудрием воссоздает чувства и ощущения женщины, внутри которой зреет человеческий плод. Это в рассказе "Делос", открывающем сборник. Вместе с тем рассказ — развернутая метафора случайности и уникальности всей земной жизни, столь же ранимой, уязвимой и хрупкой, как каждая малая зарождающаяся жизнь. Какое-то всемирное материнство — атмосфера книги. Она связует и поиск того мига, когда между матерью и ее ребенком возникает не биологическая лишь, а подлинная, осознанная, духовная близость ("Превратности выбора"), и мастерское описание той мощной, неистребимой, яростной тоски по материнской ласке, которая мучает ребенка ("Острый серп луны"), и картину зарождения женственности в девочке, импульсом к которому становится стремительная детская влюбленность во взрослую девушку ("Синяя тень").

Пока гремят баталии, кто-то сидит и пишет, устремив ювелирный глаз в тайники психологии. И ему видны тонкие капилляры души, по которым еще струится неведомая душевная сила. Мне понятно, почему такие, как Суханова, стоят особняком, почему не встраиваются и не перестраиваются, не борются за те или иные общественные идеи. Им как-то изначально ясно, им не надо было делать открытия, что наиболее сложное и интересное в литературе — индивидуальное в человеке, что только душа — заповедник свободы, только в ней растет человеческое достоинство и самоуважение.

## Н. Выставкина

### "КАК МЕДЛИТЕЛЕН В ПОЛЕ

#### АПРЕЛЬ..."

Сегодня, когда пафос литературно-общественных страстей достиг такого накала, что от иных писателей так и ждешь, что они "к штыку приравняют перо", лирика Ивана Киуру привлекает именно своим миротворческим началом. Тем, что в раздорах и разногласиях социальных бурь и потрясений он ищет не напряженности, не конфликтов, а мира и лада. Тем, что утверждает мир, лад и согласие как единственный выход из тупика, в котором оказалась и душа человека, и общество, в котором он живет.

И. Киуру принадлежит к поколению, чье детство пришлось на военную пору. Да и потом судьба не особенно баловала поэта. Первый его сборник увидел свет, когда автору было уже за сорок. Между тем, еще в ранних, немногочисленных публикациях Самуил Маршак отметил "особую тонкость, северную сдержанность вместе с подлинной лиричностью". И. Киуру вообще предпочитает спокойные, мягкие краски и интонации, сокровенную философичность — отравленной публицистичности. Видимо поэтому философская, пейзажная лирика и составила основную часть его новой книги "Голос твой".

Мы много говорим о воспитании экологической культуры. Что ж, и эту культуру приходится возрождать из пепла, ведь для многих из нас любить природу значит не губить ее, а в словосочетании "человек и природа" соединительный союз "и" все еще кажется раздельным. И. Киуру более чуток к ощущению взаимосвязей, а не различий и к природе обращается именно потому, что здесь нет места для разлада — "негаданная гармония". Нет разлада и во взаимоотношениях его лирического героя и природы — "мне деревья друзья, и трава..." Чувство слитности с каждой былинкой в поле, с каждой птицей, цветком рождает ощущение единения со всем миром, космосом — "я сын древнейших информатик, плод солнца, неба и земли..." Утверждая гармонию и взаимосвязь всего сущего, поэт возвращает нас к осознанию мироздания, как единой системы, где всяк важен и ценен. Это нигде не декларируется "прямым текстом", но подтверждается каждым прожитым днем, каждой увиденной и пережитой, осмысленной картиной бытия, так называемой "пейзажной зарисовкой".

\* Иван Киуру. Голос твой. М., Мол. гвардия, 1990.

Не всегда объемность взгляда предполагает остроту зрения. Киуру умеет сфокусировать внимание читателя на детали, а в частном и многообразном старается уловить всеобщее. Поэт часто пользуется этой формой — неожиданным сопоставлением большого и малого, подчеркивая значимость малого, не доводя восторга перед большим до чрезмерности:

А воздух утра, —  
И светящ, и невесом,  
И свеж —  
Дарит надежды благостыню!  
Слоном  
По молоку воды  
Ленивый плюхнул сом,  
И солнца золотой обрез  
из белой вышел соли  
Ее сиянием пронизанных полей...

Обратите внимание и на последовательность, в которой расположены стихи сборника: "Старикашка-мороз", "Лен", "Глянь! — в гушу зелени уж вкрался красный лист..." Пристально глядя в лик природы, И.Киуру обстоятельно фиксирует малейшие ее изменения, переходы из одного состояния в другое, подчеркивая эффект гармонии природных перевоплощений взаимопроникновением поэтических форм.

Поэт ищет лад и созвучие не только в окружающем мире, но и в самом стихе — ритме, языке, образности, соотношении его содержания и формы. Интонация народной песни легко узнается в "В тумане светлом и теплом...", восточное красноречие — в "Движенье", рашным стихом восемнадцатого века пишет он "Восемнадцатый век"... Естественно и органично происходит в его лирике слияние литературного языка и разговорного.

Еще одна особенность поэтической речи И. Киуру — звучность и мелодичность, неда-

ром многие его стихи переложены на музыку. Ее материальность, плотность неотделимы от столь же насыщенной звукописи:

Как река,  
Как река,  
Лунная река,  
Просека течет из ельника ночного,  
из березника,  
И трубят над ней осин лосиные рога.  
Мчитса облако с крылатым видом вестника.  
Желт и зелен небосклон  
над текущей издали рекой,  
Желт и зелен, — обтекает черноту липовую,  
И снежины  
В новогодней ночи праздничный покой  
Падают прозрачную зеленою половию.

Не все в стихах И.Киуру могу принять безоговорочно. Мягко укоряя "пустынников в рясах убогих, дидактически перст возносящих", он и сам поддается соблазну: "против всемирного зла не слова так важны, как дела!", "ужель неясно, сколь обманчив злата звон..." Может кто-то иначе оценит признание: "гнал себя я (отнодь не коня, не машину!) сквозь топь, на большак. Так что требовать от меня "прозы жизни" — неможно никак". Мне же оно кажется нравоучительным и неловким, согласиться с ним никак не могу ("не можно никак").

Не всегда органична в его произведениях причудливость форм, претенциозность метафор. И в то же время именно непривычная ритмическая структура, разнообразие размеров и строф, изысканность метафор помогают автору, работающему в классических традициях романтической поэзии разрушить сложившиеся стереотипы, вернуть слову его многозначность.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Александр РЖЕШЕВСКИЙ*

(первый заместитель главного редактора),

*Светлана БУЧНЕВА,  
Святослав ПЕДЕНКО,  
Александр САМАРЦЕВ*



Цена 1руб. + 20коп.

## СПАСИБО

*Двадцать копеек благотворительной надбавки к цене нашего журнала превратятся в миллион рублей, необходимых для строительства интерната для одиноких престарелых людей в Талдомском районе, соединяющем Московскую и Тверскую области.*

*Финансирование ведете Вы, уважаемый читатель, и редакционно-издательский комплекс "Милосердие".*